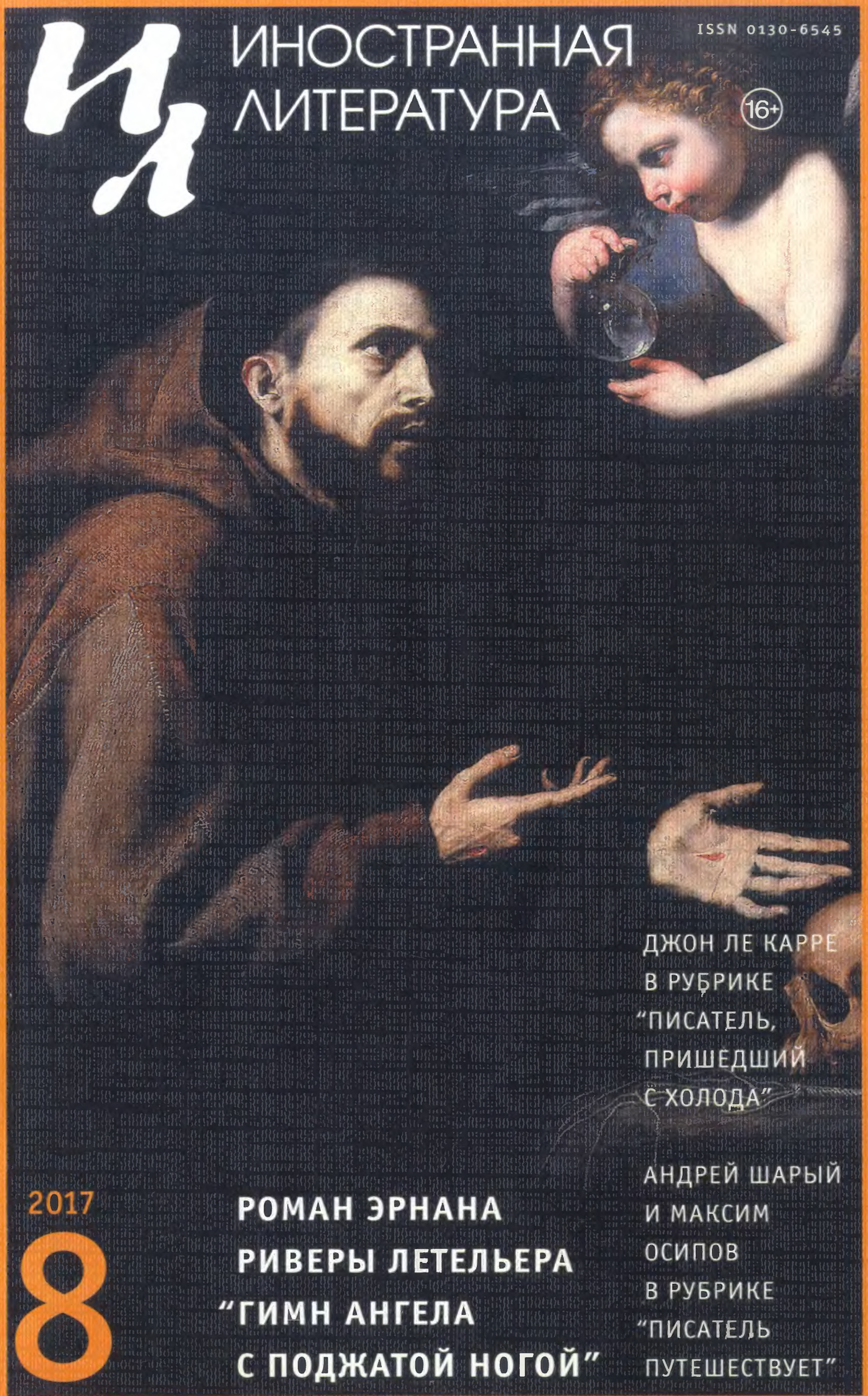
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+



ДЖОН ЛЕ КАРРЕ
В РУБРИКЕ
“ПИСАТЕЛЬ,
ПРИШЕДШИЙ
С ХОЛОДА”

АНДРЕЙ ШАРЫЙ
И МАКСИМ
ОСИПОВ
В РУБРИКЕ
“ПИСАТЕЛЬ
ПУТЕШЕСТВУЕТ”

РОМАН ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА “ГИМН АНГЕЛА С ПОДЖАТОЙ НОГОЙ”

2017
8

Основан в 1955 году

Поздравляем

Нину Николаевну Федорову

с присуждением ей премии Шведской академии

за перевод произведений шведской литературы.

[8]
2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Эрнан Ривера Летельер *Гимн ангела с поджатой ногой.* Роман. Перевод с испанского Дарьи Синицыной

115 Петр Мицнер *Стихи из разных книг.* Перевод с польского Игоря Белова

Писатель, пришедший с холода

129 Джон Ле Карре *Гвоздь в сердце, или Напоследок – о боли и были.* Перевод с английского и послесловие Т. Казавчинской

160 Марина Ефимова *"Восхитительная смесь откровенности и скрытности".* О книге Адама Сисмэна *Биография Джона Ле Карре*

Документальная проза

164 Илья Фальковский *Володя, Вася и другие. Истории старых китайских интеллигентов, рассказанные ими самими.* Отрывки из будущей книги

Из будущей книги

202 Александр Ливергант *Вирджиния Вулф. Моменты бытия.* Фрагменты биографии

Писатель путешествует

234 Андрей Шарый *Балканы. Очерки об окраинах империи.* Фрагменты книги

249 Максим Осипов *Свента*

Ничего смешного

258 Ада Леверсон *Полное собрание пародий на Оскара Уайльда.* Перевод с английского и вступление Михаила Матвеева

БиблиофИЛ

273 *Среди книг* с Булатом Вафиным, Жанной Перковской и Алиной Поповой

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

С. М. Гандлевский

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. А. Осипов

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Матей Вишнек

Януш Гловацкий

Милан Кундера

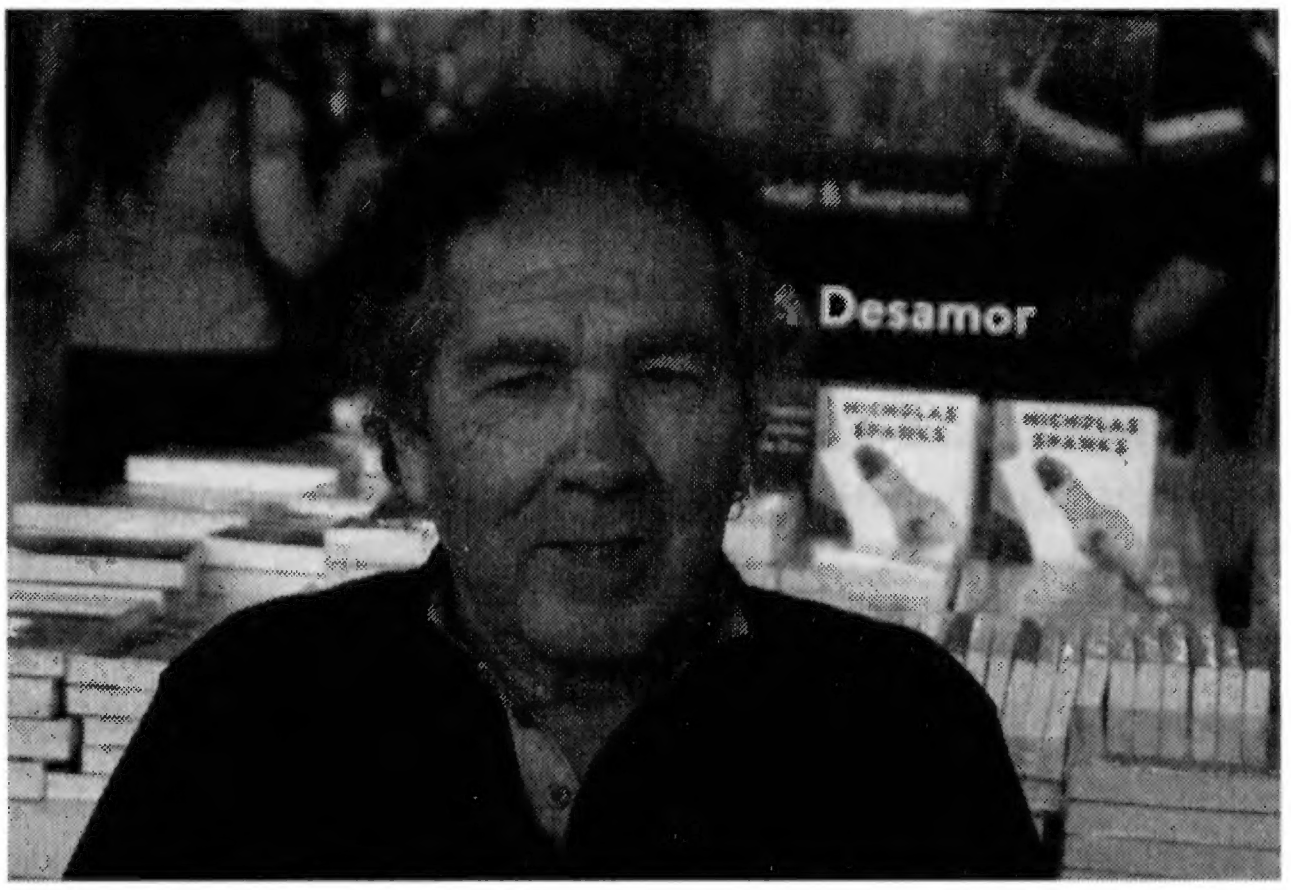
Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Ханс Магнус Энценсбергер

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Эрнан Ривера Летельер



Гимн ангела с поджатой ногой

Роман

Перевод с испанского Дарьи Синицыной

1

МЯГКО и привычно разворачивая руку, — то кольцом, то ногтями — человек стучится в дверь. Выжидает благоразумно, снимая покуда ниточку с рукава, а после снова стучит тем же манером. Устремляет взгляд вниз, на тусклую кожу своих покойницких ботинок, барабанит пальцами по ляжке, ждет еще немного и стучит в третий раз, уже только массивным кольцом. Над головой, почти под прямым углом, неходячее солнце нещадно калит его запыленный черный костюм родом из иных времен, прожигает изъеденную корку селитры под ногами. Человек рассеянно оглядывает пустынную улицу, ни на чем не задерживая взгляд, и вновь принимается за свое. Потом, помрачнев от ожидания, ударяет еще два раза, теперь костяшками пальцев, наперекор первоначальной своей повадке. Стараясь держаться с достоинством, не терять спокойствия, смиренно возведя очи к небу, замирает на миг, более краткий, чем предыдущие, и, сложив теперь кулак

© Hernán Rivera Letelier c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
© Дарья Синицына. Перевод, 2017

молотом, наносит двери ряд мощных, равномерных ударов. Раз, другой и третий, почти не прерываясь, — а сверху давит солнце. Склонив голову, приложив одну руку к дверному косяку, а второй опершись на костлявое бедро, некоторое время вроде бы силится уловить хоть какой-нибудь шум: слышно только тишину и треск раскаленных цинковых крыш. Дом, улица, весь мир, кажется, погружены в тысячелетний археологический сон. Ни один стервятник не марает черным пятном чудовищное сияние неба. Грубыми, быстрыми ударами, не надеясь на ответ, разочарованный, он упорно сотрясает дверь. Отмеряв еще одну вечность секундами, меняется в лице и начинает жадно рыться в карманах драного пиджака: извлекает, вместе с горячими песчинками, заржавленный перочинный ножик и пару каучуковых фишек (на одну можно купить сто литров воды, на другую — лопату угля). Обсыпает песок с пальцев, отправляет фишки обратно в карман и, превратив металлический предмет в дверной молоток, вновь берется за дело. Требовательно, забыв о всякой сдержанности, он колотит и колотит и не останавливается: колотит, пока не сползает на землю у самой двери, будто несчастный пьянчуга на рассвете. Передохнув, опять постукивает, вяло и дробно, оглядывая почву вокруг. Блуждающие глаза ни на миг не перестают обшаривать землю справа и слева в поисках чего-то.

После, простертый в бреду, умоляя сорванным голосом ради Бога впустить, пока замес из слез и песка стекает по щекам, человек подбирает круглый, словно стеклянный, камушек и выбивает новую дробь о дверь запустелого дома в старом, всеми покинутом селитряном поселке...

2

Проснувшись, Идельбрандо дель Кармен первым делом подумал, что сегодня в кинотеатре “Латорре” дают картину с Роситой Кинтаной[1]. Потом приподнялся в постели и стал вспоминать сон.

Вот уже две ночи подряд он спал ногами к изголовью. Огромная, обрюзгшая, мерцающая крыса соскользнула позавчера с церковной стены и плюхнулась прямо ему на лицо. Весу в ней было, по его ощущениям, как в хорошем коте. Поэтому сейчас, вытянув было руку в потемках, он замешкался, не зная, с какой стороны ночник. Сообразил, нащупал спички, чиркнул и зажег свечу.

1. Росита Кинтана (р. 1925) — легендарная мексиканская актриса аргентинского происхождения. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Раненный дрожащим светом, от которого в воздухе утлой комнатенки поселился сонм желтых ангелов, он на минуту замер, сидя на кровати. Сонно, словно тычась руками в липкие марлевые занавесы памяти, Идельбрандо дель Кармен постарался вспомнить, что ему приснилось. Кадрами старого фильма рассеянные сцены из сна стали долетать в коротких, беспорядочных сполохах. Ему привиделся отработанный селитряной прииск — тут ошибки быть не могло, — одно из многих селений-призраков, рассыпанных по лунным долинам пампы. Он смутно догадывался, что это снова Альгорта. И там, под окостенелым солнцем, в одиночестве, мыслимом лишь на необитаемой планете, кто-то отчаянно стучался в дверь.

Он вспомнил, как его мать говорила: “Кажется, стучатся...” — и вслух призывала Господа, всякий раз просыпаясь среди ночи от кошмаров.

Рядом с подсвечником, на страницах Библии, раскрытой на Псалтыри, посверкивали наручные часы брата Тенорио Лопеса. Он придвинул часы к себе. Было ровно пять утра. В тринадцать лет у Идельбрандо дель Кармена уже начинал срабатывать стариковский внутренний будильник. У его отца такой действовал со швейцарской точностью.

Спросонок, все еще в отупении, он вытянулся на шишковатом матрасе, неуклюже просунул ноги в джинсовые штанины и неохотно спустил их на пол. Его оранжевые — единственные — носки лежали свернутыми подле ботинок, как две увядшие хризантемы. Подперев голову руками, он уставился невидящим взглядом на яркое носочное пятно на полу. Ужаснее всего во сне был адский жар солнца и бесконечное отчаяние стучавшего в дверь. Ибо теперь он уверился, что приснились ему руины прииска Альгорта и что не кто иной, как он сам, — тот призрак в старомодном черном костюме, прилежно колотящий в дверь.

“Кажется, стучатся...” — повторил он про себя. И задумался о материном даре ясновидения. Вспомнил ночь в Альгорте, когда гром динамитного взрыва сотряс цинковые крыши и перебудил всех в доме. “Убились любовники”, — печально сказала мать. Юные любовники — он высокий и темноволосый, она маленькая и белокурая, — которые третьего дня объявились на прииске в поисках работы и, не имея крыши над головой, только молча бродили, обнявшись, по улицам, и впрямь свели счеты с жизнью. У железнодорожных путей юноша привязал к поясу динамитную шашку, последним окурком (так Идельбрандо дель Кармен много раз воображал эту сцену) запалил шнур, поклялся девушке в любви и обнял ее. В миг взрыва оба плакали.

Чтобы стряхнуть сон и спугнуть головокружительно нарастающую тревогу, готовую завладеть его духом, он резким сильным движением подхватил скомканные носки и стал энергично выбивать их о ножку кровати. На обеих пятках зияли большущие дыры. Идельбрандо дель Кармен невозмутимо надел носки; ему было все равно — пусть бы их и продавали уже дырявыми. Обулся в ботинки с пряжками, — холерные, по словам его приятелей, — взял подсвечник с тумбочки, установил его в углу туалетного столика и налил из банки воду в умывальный таз.

Идельбрандо дель Кармен жил в пользовавшемся дурной славой квартале Лаутаро, одном из самых дальних скоплений домишек, пригвожденных к северной окраине города, неприступном оплоте знаменитой банды семейства Роберта Тэйлора. Его дом находился во дворе евангелической пятидесятнической церкви[1]. Это была лачуга, притулившаяся у задней стены храма, выстроенная целиком из досок и листов жести и разделенная надвое перегородкой из мешковины. Изнутри все было оклеено страницами газеты “Меркурий”, кроме крутой церковной стены: клейстер не брал рыхлый цемент. Для обоев Идельбрандо дель Кармен не поленился отобрать исключительно листы раздела “Лучшие истории в картинках”. Теперь, если бы того пожелал, он мог передвигаться по дому, одновременно читая комиксы про Дона Фаусто, Утенка Дональда, Перечную Косточку, Пепиту, Рипа Кирби и Фантома.

В части дома, отведенной под столовую, имелся большой дощатый стол с двумя длинными скамьями по бокам. В углу, на ящике из-под чая помещалась парафиновая горелка, а рядом с дверью — буфет, набитый тарелками, сервизами и всяческой кухонной утварью. Старинный буфет орегонской сосны был неглубоко вкопан в утоптанный земляной пол. Иногда по ночам Идельбрандо дель Кармен в страхе просыпался, услыхав во мраке спальни, как эта махина опрокидывается на пол с душераздирающим грохотом лопающегося стекла и бьющейся вдребезги посуды; на следующее утро буфет оказывался невредим.

Единственным украшением комнаты служила классическая репродукция, изображавшая двух девочек на качелях в роще; у одной на коленях букет белых камелий, другая гладит котенка с голубым бантиком, обе загадочно босоноги (он видел такую же картинку в столовых почти всех домов на при-

1. Евангелическая пятидесятническая церковь Чили существует с 1933 г.

иске, когда по воскресеньям обходил его и продавал пирожки с мясом). Под репродукцией свисал с гвоздя прошлогодний религиозный календарь с иллюстрациями к библейским эпизодам, которые Идельбрандо дель Кармен знал почти наизусть.

Другая комната, чуть поменьше, была отведена под спальню, и мебель в ней тоже не отличалась пышностью. Вся обстановка состояла из двух узких кроватей кованого железа, трех резных деревянных чемоданов с металлическими уголками, сложенных друг на друга, маленькой тумбочки и туалетного столика с зеркалом. Спальню украшал свадебный портрет — старая раскрашенная фотография. Он ясно выдавал разницу в возрасте и характере родителей. Отец в строгом костюме из темного сукна и шляпе с тонкими полями сдвинул роскошные густые брови в вечную хмурую дугу — "переносица, как у танцора горького танго", заметил при первой встрече брат Тенорио Лопес. На матери, которой едва сровнялось четырнадцать (жених почти втрое превосходил ее годами), было платье в голубой цветочек с рукавами фонариком и робким декольте, окаймленным гипюром. Идельбрандо дель Кармен всегда подозревал, что голубые цветочки появились на портрете по воле художника. Черные кудри, расчесанные на прямой пробор, и выражение радостного удивления при виде непостижимого аппарата придавали матери наивный флер, как на совсем старинных фотокарточках. В портрете его больше всего привлекал взгляд матери, ясный, глубокий и с ангельской толикой замешательства, сбивавшей Идельбрандо дель Кармена с толку всякий раз, когда он подолгу в него всматривался. Кстати, о взгляде: смена координат в постели помогла ему, кроме всего прочего, не смотреть на сон грядущий в зеркало туалетного столика, помещавшегося ровно в изножье. По вечерам он обыкновенно представлял себе рядом с отражением свечи мать, посылающую ему глубокий взгляд со дна заржавленного желтоватого стекла.

И, быть может, отчасти поэтому — желая спугнуть страх — он примостил в круглой зеркальной раме фотографию Роситы Кинтаны: портрет роскошной мексиканской актрисы совершенно не вязался с аскетической обстановкой и резал глаз, словно верх непристойности. На черно-белой фотографии в полроста изображался эпизод из фильма; Идельбрандо дель Кармен свистнул ее со щита с афишами в кинотеатре "Латорре" и вынужден был прятать всякий раз, когда отец возвращался с рудника. То есть каждые две недели. Но в эти выходные его драгоценная Росита Кинтана могла спокойно улыбаться ему из зеркала.

Обильно смочив волосы и лицо, Идельбрандо дель Кармен зачерпнул бриллиантина, растер в ладонях и тщательно распределил по всей голове. Зачесал пряди назад, аккуратно, будто с помощью рейсшины, начертил пробор и небрежным, умелым, киношным взмахом завернул воздушный элвисовский кок. Прическу он сменил недавно. Когда он вымыл руки, вода в тазу замерцала от глазков бриллиантина.

Насвистывая тихонько мелодию корридо[1], он снял с гвоздя рубашку и шерстяную кофту и оделся, не сводя глаз с фотографии артистки. В жизни он никогда не встречал таких красавиц. Ни разу. Хотя вот сеньора в прозрачной сорочке, та тоже хорошенькая. Он снял волосинку с рукава кофты (кстати, о сеньоре в сорочке: сегодня ему предстоит схлестнуться с Ущипни-Луну), смочил пальцы слюной (уделает его этот купоросник длинновязый, как пить дать), осторожно, чуть ли не манерно, поправил кок и засвистел мексиканское корридо о Хуане-Сабельном, которое выучил совсем недавно: слова песни, по его разумению, не уступали в великолепии самому прекрасному церковному гимну. Потом он взял часы с тумбочки и вышел во двор. На улице было еще темно.

В уборной — домике на три отхожих места без крыши, — облегчаясь в дырку, прорезанную в деревянном ящике, и уставившись в дрожащее звездами небо, он вспомнил правдивый рассказ об исцелении, который услышал накануне в храме. Одна из сестер конгрегации Тавифы[2], тех, что время от времени прибывали в город с проповеднической миссией, самая дряхлая из всех, под возгласы “аллилуйя!” и радостный плач поведала, как Господь Бог наш Милосердный своею бесконечной любовью избавил ее от раковой опухоли, каковую земные врачеватели со всеми их техническими премудростями и никчемной ученостью объявили неизлечимой. Непостижимое чудо произошло в ночь молитв и бдения в ее родном городе. Пока церковные старейшины свершали над нею обряд елеосвящения во имя Господне, она духовным видением узрела Небесного Исцелителя в образе старца в белой тунике и с золотой бородой, словно бы окутанного сияющей дымкой, и Он сладчайшим голосом спросил ее: “Веруешь ли?”, а она, плача, ответила: “Верую, Господи”, и тогда старец

1. Корридо — мексиканский песенный жанр.
2. Конгрегация Тавифы — женская религиозная организация, существующая в рамках нескольких евангелических и пятидесятнических церквей в Чили и других странах. Названа по имени трудолюбивой праведницы Тавифы (иначе Доркас) из Иоппии, воскрешенной апостолом Петром (Деян. 9: 36–41).

кончиками пальцев коснулся ее раковой груди, и будто раскаленные щипцы впились в нее изнутри и вырвали дурное, и в то же время ее охватило приятнейшее чувство, что всю ее от макушки до подошв омывает струя горячей воды и теперь она свободна от всякого недуга и чиста от всякого греха. Благословен Господь! И до сегодняшнего дня — славословила сестра, заливаясь слезами, — в свои семьдесят три, то бишь двадцать пять лет спустя после божественного хирургического вмешательства, находясь в полном здравии, бодрая, будто агнец в стаде, она все еще живет, чтобы свидетельствовать и восславлять благое имя ее Спасителя.

Помочившись, Идельбрандо дель Кармен подошел к дому брата Тенорио Лопеса. Лачуга по соседству с их собственной, такая же маленькая и убогая, была выстроена из разломанных яблочных ящиков и картонок из-под овсяных хлопьев “Квакер”. Там проживали сам брат, его набожная супруга Орланда Пурисима дель Росарио, их семеро детей во всю их натуральную величину и Агнец, слепой пес, всегда жавшийся к колесам тележки, с которой брат бродил по улицам, торгуя стиральным порошком и пирожными с апельсиновым вареньем, какие делают в коммуне Пика. Вот и теперь пес, дряхлый и вялый, распростер свое поросшее пепельными космами туловище у тележки возле курятника. Заслышав шаги, он коротко гортанно гавкнул и вновь погрузился в сон.

Идельбрандо дель Кармен легонько постучал костяшками пальцев в стену спальни и просунул часы в щель между досками. Брат одалживал ему часы с того вечера, когда он рано отправился на боковую, а потом вскочил, как ошпаренный, думая, что проспал. Вылетев с коробкой для газет на улицу, он обнаружил, что все соседские ребятишки спокойно играют, будто еще и полночь не наступила; на самом деле и оказалось полдвенадцатого.

Ожидая, чтобы кто-нибудь изнутри спальни забрал часы, Идельбрандо дель Кармен увидел, как зажегся свет в третьем доме, в другом конце двора. На церковных землях помещалось три дома: их с отцом, брата Тенорио Лопеса и — у боковой стены двора, рядом с воротами — недавно обзаведшегося семьей евангелиста, по профессии авиатора, который тоже рано вставал, чтобы успеть на аэродром. Последний дом, вне всякого сомнения, был лучшим из трех. В нем одном имелись электричество и дощатый пол.

Идельбрандо дель Кармена, тем не менее, сильнее всего восхищали не яркие лампы и деревянные полы, а окно, в которое было вставлено выпуклое лобовое стекло со списанного военного самолета. В это самое окно он однажды усмотрел

в неглиже сестру Олимпию Паласиос, обворожительную супругу брата-авиатора. Ангельское видение неделю не давало ему покоя; семь нескончаемых дней и ночей он только и думал, что о великолепной белизне ее плоти, и мужественно пытался побороть чары, прибегая ко всему разнообразию ручных средств в многоместной уборной.

Сестра Олимпия Паласиос, новенькая на путях истинной веры, обладала юной цветущей красой, вносившей ощутимые разброд и шатание в мужскую часть паствы. У нее была умопомрачительная родинка на щеке, змеящаяся поступь самки некоего кошачьего племени и томный, приспущенный взгляд; длинные каштановые волосы сестры не собирались в суровую евангелическую косу, а чувственно спадали на одну сторону лица. Юбки, сильнее, чем следовало, льнули к крутым бедрам, вызывая возмущение и пересуды со стороны праведных пожилых прихожанок.

Передав часы, Идельбрандо дель Кармен вернулся домой. Он снова стал у зеркала и быстрым математическим взглядом оценил идеальную параболу кока. Во всех отношениях довольный собой, он на прощание послал воздушный поцелуй портрету своей обожаемой Роситы Кинтаны и весело шепнул: “До встречи в кино, невеличечка”.

На дощатом столе, рядом с кучей рисунков на белом картоне, стояла коробка для газет. Он пристроил ее под мышкой и долго, с разных углов рассматривал незаконченный рисунок ангела с каким-то неподобающе куриным выражением лица; что-то смущало и в столпе света, изливающегося из лучистого ангельского облака на ошарашенных вифлеемских пастухов — недоставало сияния. Огрызки цветных карандашей, разбросанные по столу, были уже такими куцыми, что и не ухватить в руку. Придется купить новый набор. Но не сейчас. Сейчас он намерен тратиться на кино. Страсть к Росите Кинтане затмевала весь сонм ангелов небесных заодно с архангелами.

Он взял бронзовый замок, лежавший на буфете (странно, вот уже несколько ночей кряду он не слышит, чтобы громадина падала), задул свечу и не стал убирать подсвечник со спичками. Затем, не преуспев в попытке бесшумно открыть оглушительно заскрежетавшую цинковую дверь, он навесил замок и был таков.

3

Идельбрандо дель Кармен всегда (с тех пор как увидел впервые) думал, что печальнее одинокого детского ботиночка,

свисающего с лобового стекла городского автобуса, — сейчас один такой раскачивается у него перед глазами, пока он покупает билет у водителя, — может быть только второй ботиночек, дожидающийся первого дома.

Устроившись по привычке на задних сидениях, Идельбрандо дель Кармен принялся изучать сонные лица пассажиров: вот дремлют, привалившись к окошкам, старые местные газетчики, вот запоздалые рыбаки — и с чего это рыболовы всегда смахивают на морских окуней?, вот спиртовой озноб пробивает двух-трех тощих каменщиков, направляющихся на какую-нибудь дальнюю стройку на другом конце города. Он удостоверился, что за вычетом двух сеньор, повязавших головы платками и занявших оба передних места, все пассажиры были завсегдатаями первого дневного автобуса, который выезжал в половине шестого. Совершив обычный обзор, Идельбрандо дель Кармен развалился на сидении, засунул руки между коленками, как ему нравилось, и начал созерцать через собственное отражение в стекле дымчатую пленку еще не тронутого рассветом города.

Ему никогда не наскучивало любоваться длинными улицами. Его приводили в восхищение бесконечно разные, раскрашенные во всевозможные цвета дома. Особенно высокие, с балконами и буйно цветущими палисадниками (ноготки с не сходящими с их орбиты жужжащими пчелами обворожили его с первого дня). В Альгорте и в помине не было деревьев, садов и цветов, не говоря уже о пчелах. В адском климате пампы не выживали даже муравьи — только вши и клопы. И ни одно здание не вырастало до двух этажей. Четыре ржавые земляные улицы, приколотые к причалу солнца, раскаленные и снулые, имели не более трех кварталов каждая. Белые, как соль, дома из дырявых цинковых листов и орегонских сосновых досок были до горечи похожи друг на дружку.

Он уже почти два года жил в Антофагасте, но еще не успел позабыть пампу: с нежностью вспоминал маленький прииск, где вырос здоровым и дичковатым, словно лис. В городе ему открылось множество восхитительных чудес, и все же не отпускала тоска по нескончаемым вечерам, когда он гонял по селитряной равнине за песчаными вихрями, будто за необъезженными жеребцами.

Больше всего в городе его поразило кино. Даже бывая не при деньгах, он умудрялся два или три раза в неделю проникать в какой-нибудь из пяти кинотеатров в центре. В особенности когда не нужно стало больше ходить в школу. Он предпочитал мексиканские картины за красоту пейзажей и песен, но и любой другой фильм не смел обидеть пренебрежением.

На прииске ему ни разу не удалось попасть в кино. Для родителей-евангелистов кинематограф представлял мирскую заразу, осуждаемую религией. Непотребством также считались танцульки, слушание радио и пластинок, игра на гитаре и чтение книг, не несших слова Божия. Однажды в декабре, во время дневного сеанса, который он запомнил на всю жизнь, ему, наконец, посчастливилось заглянуть в местный кинозал через дыру в боковой двери. Давали очередную серию "Тарзана". Правда, пришлось уплатить медный песо чокнутой старухе, обладавшей правами на глазок. Что ни сеанс, патлатая бабка, проживавшая поблизости от киношки, завладевала дырой, которая принадлежала ей — истошно голосила худосочная старушенция. И чтоб всякие мерзавцы малолетние не возомняли тут — вопила она, когда особо предприимчивые мальцы пытались дыру отбить, на том основании, что она самолично ее проделала загогулиной от своего собственного консервного ножа. И строго драла медную монету за жалкую мимолетную поглядку.

За кратчайший миг, предоставленный ему хромоногой ростовщицей, Идельбрандо дель Кармен, чье детское сердце от волнения билось, как птица, успел углядеть лишь маслянистый силуэт пантеры, крадущейся сквозь осененные ночью джунгли, да корчи дикарей, пляшущих почти что нагишом вокруг костра. Вдобавок угол зрения здорово искажал картинку. В тот раз он не увидел Тарзана, человека-обезьяну, но длинные тени, так непостижимо по-настоящему двигавшиеся по маленькому экрану, навсегда запечатлелись на сетчатке его глаз, будто он волшебным образом окунулся в один из неотступных снов своего детства.

Евангелическая пятидесятническая церковь, службы которой его родители отправляли прямо в своем доме, ревностнее многих прочих относилась к убережению верующих от соблазнов и обычаев мира. Братьям запрещалось курить и выпивать, а также заниматься спортом и играть в азартные игры. Юные сестры не должны были наряжаться сверх меры. Серьги, бусы, кольца и всяческие никчемные безделки, какими увешивались женщины мирские, строжайше возбранялись Господним дочерям. Они не смели тронуть кармином щеки, красить глаза и губы, мазать красным ногти, а также выбелять волосы, носить их распущенными или стричь слишком коротко. Тем паче завивать перманент. Прихорашивания сводились к умыванию водой из-под крана душистым мылом. Кроме того, пятидесятники стали одной из немногих евангелических сект, зашедших в пуританстве так далеко, что полностью отказались от музыкальных инструментов при вознесении хвалы Господу в песнопениях.

По причине последнего в одно прекрасное воскресенье, когда другая евангелическая миссия прибыла с проповедью на прииск и устроила целый концерт, он огреб подзатыльников за то, что увязался вслед за шумной процессией миссионеров. Зачарованный звуками мандолин, гитар, банджо, бубнов и треугольников (мать больше всего возмутило, что пилигримы весело прихлопывали — "это все равно что на куэку[1] подзуживать", — ворчала она) и почти мирским ритмом песнопений, так не похожих на глухие монотонные молебны у них дома, Идельбрандо дель Кармен и не заметил, как спустилась ночь.

Зато ему не выпало позабавиться, когда на пыльных улицах прииска впервые взревел мотоцикл, и рой расхристанных, ошеломленных и счастливых ребятишек неутомимо гонялся за ним по всему поселку, словно за диковинным металлическим насекомым, вот-вот готовым взлететь. Все местные дети отважились дотронуться до мотоцикла, а самые бесстрашные — даже взобраться на сиденье, и только он остался с носом. Мать не выпустила его на улицу бегать за сумасбродной машиной, ведь "это адское отродье, — сказала она, — наверняка новая уловка лукавого в извечной борьбе против добра; мало ли губительных выдумок насылает Сатана-Дьявол в последнее время — и все ради рассеяния помыслов богоизбранных".

Родители проявляли такую строгость и несгибаемость в соблюдении церковных канонов, что не позволяли детям даже ходить в цирк. Слово Евангелия служило им непреложным законом, и они чтили и исполняли его рьяно и жертвенно. Так что Идельбрандо дель Кармену в те непокорные вечера, когда он начал прогуливать школу, оставалось одно развлечение: бегать через пампу к железнодорожной станции. Его пленяли темные пассажирские составы, возникавшие, словно медленные миражи, из желтой пустыни, и звон блестящего колокола, возвещавший их прибытие на станцию. Громадные черные паровозы фыркали с устатку, как доходяги-мулы, мучимые самой страшной в мире жаждой. Из каждого окошка выглядывали сосредоточенные землистые лица похожих на призраки пассажиров; в вялых взглядах читалось бесконечное оцепенение от скучного пути через планету.

Когда поезд трогался, сердце разом радовалось и щемилось тоской; под долгим мечтательным взглядом состав по-

1. Куэка — старинный танец, распространенный в Южной Америке (в первую очередь, в Чили, но также в Перу, Боливии, Колумбии) с XVIII в.

немногу терялся вдали с хриплым свистом, уходил на другой конец дня, к чистой голубой кожуре горизонта пампы. Однажды девочка в платье из белого органди, излучавшая сияние всем своим существом, помахала ему на прощание из последнего вагона уже покатившего поезда; он изумленно и торопливо огляделся, а когда понял, что машут ему, сорвался с места и помчался за вагоном, отчаянно размахивая в ответ, пока девочка, красивая, будто школа в праздничный день, заливалась веселым смехом озорного ангела.

Из-за всего этого и еще множества других вещей было горько уезжать из Альгорты. К тому же в его памяти отъезд с прииска вязался с болью преждевременной утраты матери. Через две недели после того, как они окончательно обосновались в городе, она скоропостижно скончалась. Его юная, прекрасная мама. И подумать только: заплакал он по ней лишь семь месяцев и одиннадцать дней спустя. В школе, прямо на уроке испанского, в День матери. Его открытку выбрали лучшей в классе. Не зря же он прослыл самым искусным рисовальщиком в школе. Учителя других классов вызывали его с занятий, чтобы он изобразил на доске торжественный лик национального героя для урока истории или лиловые заросли кишок, когда на скучных естественных науках проходили пищеварительную систему.

Однако открытку отметили не только за рисунок, но и за надпись. То была поэтическая строфа о тоске по матери; когда учитель вызвал его прочесть открытку у доски, у Идельбрандо дель Кармена прорвало все шлюзы сдерживаемых слез, и он не мог успокоиться до конца урока. Он все еще безутешно плакал, когда Луис Гаона, один из самых его любимых учителей, в сопровождении нескольких старших ребят отвел его домой. И продолжал плакать один в комнате, теперь уже тихим очищающим плачем, пока не стемнело и он не уснул поперек отцовой кровати, крепко сжимая в руках поздравительную открытку с голубым сердечком и белой голубкой.

Его бедная мама-евангеличка. Не прошло и двух лет со дня ее смерти, как он начал с изумлением замечать, что ее мечтательно-печальное лицо, напоминавшее облатку, стало стираться у него из памяти, расползаться, все равно как синие лагуны в пампе, рисуемые мерцанием раскаленных песков. Не так уж много времени было отпущено им двоим. Не больше одиннадцати счастливых лет. Да и из промелькнувших одиннадцати следовало вычесть канувшее в туман раннее детство.

Самое первое воспоминание о матери сохранилось с тех пор, когда он одолевал рубеж пятилетия. Вечер; высокое небо

залито румянцем; он прибегает с улицы в страшной спешке (“собачья ты моя пяточка”, — улыбчиво журила мама, когда он возвращался домой чумазым). Он прибегает с улицы, и весь его детский ум переполняет небольшой гигантский вопрос. Мама сидит на кухне и напевает церковный гимн, заваривая себе очередной вечерний мате. Он врывается и, слегка опасаясь — вдруг она тоже не знает, и ей тогда будет неловко, — медленно задает вопрос: “Мама, сколько будет три да три?” А она быстро и весело, словно разноцветные счеты, отвечает: “Шесть, сынок, сколько же”. И тогда мама кажется ему выше и прекраснее всех на свете.

4

Смерть матери предрекли в миг большого духовного оживления в церкви, через двенадцать дней после приезда семьи в Антофагасту. Господь чудесным образом явил Себя в Святом Духе, завладевшем сестрой Сикстой Монтойей, и у той открылся дар прорицания, с помощью которого она передавала послания конгрегации.

В тот вечер молчаливая сестра Сикста Монтойя, угрюмая вдова, в обычном состоянии ни с кем не разговаривавшая, ощутила сошествие Святого Духа и принялась приплясывать по всей церкви, подскакивая по-воробьиному, воздевая руки и страшно закатывая глаза. Потом она пала на колени перед амвоном и разразилась речами. Речей было не понять, потому что сестра Сикста Монтойя изъяснялась на языке, не похожем ни на один из известных прихожанам, но напоминавшем, скорее, поэтический язык в чистом первозданном виде, вроде хитанхафор[1]. Потом Святой Дух ввел ее в исступление, и она начала прорицать. Ее устами Господь обратился к отцу Идельбрандо дель Кармена и велел готовиться, ибо небеса вскоре пошлют ему великое испытание. А также крепиться и мужаться, питать дух постом и молитвою и читать Иова. Через три дня его мать, молодая женщина с широким сердцем, отменным здоровьем и веселым характером, умерла от укуса крохотного притаившегося в углу паучка.

Сестры, не отходившие от нее, пока она не испустила последний вздох в общей больничной палате, рассказывали,

1. Хитанхафора — в испаноязычном литературоведении поэтическое высказывание, состоящее из выдуманных слов, чья смысловая ценность заключается в звучании. Термин введен мексиканским писателем Альфонсо Рейесом (1889–1959). Рейес заимствовал слово из звукописного стихотворения кубинского поэта Мариано Бруля (1891–1956).

что мать в минуту кончины тихонько мурлыкала свой любимый гимн. Тот самый, что на службах у них дома в Альгорте распевала во весь голос, будто бы в экстазе. В гимне пелось, что почившие в Бозе встретятся однажды на небесах, у берегов реки с хрустальными водами, текущими от престола Господня.

Его мама вечно вышивала платы и сворачивала бумажные розы для украшения амвона; его мама никогда не забывала молиться и за обсиженного мухами уродца Фелипильо Насарио, квартального дурачка, и за пышущих благополучием хозяев прииска; его мама так мило, радуясь душою, рассказывала на пятничных собраниях о своем спасении, признавалась, что вначале ее сердце упрямилось, не желая принимать благословенное имя Иисусово (закоренелое сердце, говорила она). Мол, не раз ее супруг, присутствующий здесь брат Олегарио Триго, был вынужден пинками выгонять ее на службы и пинками вводить во храм. Мол, она в те времена была падка на услады и баловство земного мира, а более всего — с улыбкой свидетельствовала она — ее влекли праздники и модные платья. Но в одну святую ночь милосердием Божием пламень Святого Духа опалил и ее, и она вняла славному зову Христа-Искупителя, коего она чествует и восхваляет за то, что спас ее и наставил на узкую, но чудесную тропу, ведущую к жизни вечной.

Бдение справили дома. Маленькие оклеенные газетами комнаты наполнились братьями и сестрами из двух конгрегаций, местной и центральной, распевавшими ангельские гимны до самой ночи. Кроме того, читали Писание и долго молились за упокой души матери.

Отупелый, будто погруженный в сон, он как бы со стороны видел себя бродящим среди старух с голубоватыми волосами, славящими Господа мелодичным, стройным пением, и молодых сестер с бархатистыми щечками и нежными улыбками, принадлежавших все как одна к конгрегации центральной церкви. И все кругом — особенно елейно старухи с метиленовыми косами — гладили его по головке и шептали на ушко нечто утешительное:

— Ее Господь призвал.

— Бог устроил перекличку, она и отозвалась.

— Маменька твоя уже блаженствует в Новом Иерусалиме.

Он смотрел на них и слушал вполуха. В своем оцепенении он видел их окруженными сверкающим ореолом, а голоса доносились словно из глубины стеклянного колокола. Его завораживала чистая красота самых юных сестер. Ему случалось видеть, как многие из них пляшут, одержимые Святым Духом:

лица освещены благодатью Божией, за спинами будто выросли невидимые крылья, вот они порхают по храму в ангельском танце, а он находит их просто ослепительными. По правде говоря, он почитал всех сестер из центральной конгрегации — светлоглазых, белокурых и белокожих, словно снег, — за высших существ. Их стройные тела, источающие тонкие ароматы духов, так не походили на телеса набожных, смахивающих на боливиек старух с волосатыми и выпуклыми родимыми пятнами, папскими зобами и затхлым дыханием, входивших в малочисленную конгрегацию прииска Альгорта.

Смущенный присутствием стольких людей, отвлеченный непрерывно возносимыми славословиями и молитвами, он пока не мог полностью осознать бесповоротную утрату матери. Внезапное появление его брата, боксера, а после и сестры, Королевы Весны, — так он всегда называл их мысленно — и вовсе рассеяло его печаль.

Он едва помнил старших брата и сестру. Они уехали из дому, когда он только учился ходить. Что касалось брата-боксера, то он сохранил в памяти его королевскую стать — ему представлялось, как тот входит пружинистым шагом и едва не задевает головой притолоку. Сестра, Королева Весны, появляется в его воображении жарким вечером у дверей дома: они с подружками соревнуются, кто лучше кружится в шелковом платье солнце-клеш. Сестра красивее всех, она лучится смехом, крутится в платье из синего шелка, ухватывает его за подол и превращает в огромный плиссированный веер.

Вначале уехал брат-боксер. Увидев, как тот, будто бешеный ягуар, дерется с четырьмя накачанными дешевым разливным вином забойщиками и, несмотря на свою юность и субтильное телосложение, отправляет в нокаут всех четверых, устроив из них кучу-малу, некто, родственник одного влиятельного типа на прииске, уговорил брата уехать с ним в Икике. Там, брызжа слюнявым цыганским красноречием, пообещал дальний шурин влиятельного типа, он найдет ему профессионального тренера, который научит его элементарным техникам и приемам бокса. Купит ему шелковый халат с золотым тигром на спине, настоящие перчатки, и, не успеет брат оглянуться, как уже увидит свое имя в программках звездных матчей. Сделает, короче, из него истинного чемпиона. А то! Нового чемпиона страны, побогаче да познаменитее самого Фернандито[1]. Зуб даю! И пусть брат не беспоко-

1. Фернандито (Антонио Фернандес, 1911–1976) — чилийский боксер испанского происхождения.

ится: самые смазливые крали со всего порта в очередь станут выстраиваться перед его шикарной гримеркой. Ну, так что скажешь, чемпион? И брат уехал.

Немного спустя его сестра, Королева Весны, сбежала с прииска с поэтом-лауреатом. Это случилось сразу же после ее шумной коронации. Вообще-то, всю историю с выдвижением сестры на титул Королевы Весны провернули за спиной у родителей. Всякий раз, когда праздничные шествия с радостными возгласами, дождями серпантина и дудением картонных рожков приближались к дому, свита помогала его сестре сойти с трона, обитого золотой фольгой, и сажала туда другую девушку. Мать узнала обо всем только в день коронации. И словом не обмолвившись отцу, чтобы новость ненароком не убила его — единственная дочка всегда была его любимицей, — она отправилась в кинотеатр, где проводили церемонию. Когда она подоспела, зал уже набился битком, и все двери позакрывали. Она осталась стоять снаружи, стараясь, чтобы ее не заметили в толпе зевак, не попавших в зал, и, как могла, следила за шутовским представлением, которое по репродукторам передавали на улицу. Слушала веселые испанские песни студенческих ватаг, про себя возмущалась двусмысленностям из комических сценок и внимательно впитала "Оду королеве", которую поэт-лауреат посвятил ее дочери (одну строчку из оды она запомнила на всю жизнь и повторяла иронически: "Пампа клад обрела в очах твоих"; "Это он, бесстыдник, клад обрел", — приговаривала она, пуская слезу). Когда она поздно вечером вернулась домой, муж на коленях молился, положив в изножье дочериной кровати раскрытую Библию и рыдая навзрыд. Он тоже обо всем узнал.

Сестра заявилась домой на следующее утро. Хотя подруги позаботились о том, чтобы спрятать королевское платье и затейливую жемчужную корону, в волосах у нее еще путались конфетти, а со щек не стерлись остатки румян. Ни отец, ни мать ничего ей не сказали; не упрекнули ни словом, ни жестом. Через пару дней сестра сбежала с поэтом-лауреатом, бледным выпивохой с кукольными руками, на голову ниже ее. Стихоплет славился сумасбродной манерой работать в будни в костюме-тройке и галстуке, а в воскресные дни нацеплять самые непотребные лохмотья. Он совсем недавно приехал с прииска Германия, и в доме знали только его имя и довольно загадочное прозвище: Америко Осорио, Поэт Пуль.

На бдении его брат, боксер, не отходил от отца; наклонив голову, словно в боксерской стойке, он почти ни на кого не смотрел и ни с кем не разговаривал. Сестра же, Королева

Весны, мяла в руках смоченный дешевыми духами платочек, поминутно поправляла лямки бюстгальтера и безутешно плакала в объятиях размякших и сочувственных церковных старух, которые старались утешить ее духовными подробностями предсказанной кончины ее матери, возлюбленной сестры Аиды Марии Таберны.

После похорон брат с сестрой исчезли так же тихо, как появились, и больше он их никогда не видел. С того раза у него сохранилось печальное ощущение, что состарившегося, пребывавшего в пучине отчаяния отца вовсе не радовало пребывание старших детей в доме. От брата-боксера в памяти остались только странная походка, — из-за которой казалось, будто он нарочно прячет голову в плечи, — сломанный нос, уши, похожие на цветную капусту, да резкий табачный смрад. Рассказывали, что после первых триумфов на ринге его стали выставлять против бойцов гораздо большего веса, и после череды кровавых нокаутов, заслуживших ему унизительную кличку Кид-Падучий, он ушел из бокса. И теперь в Икике, на родине чемпионов, служит дешевым вышибалой в непристойных заведениях и живет за счет женщин легкого поведения. Сестра, Королева Весны, запомнилась избытком красной краски на лице и залитой лаком, высоченной, словно башня, прической из крашеных волос. Ну и невероятным сходством с матерью в юности. У нее были те же черты и тот же сияющий взгляд (с такой же ангельской толикой меланхолии), что у матери на портрете в спальне. На бдении он услышал, что его бедняжка-сестра, Королева Весны, так и не вышла замуж за поэта-лауреата, и теперь поднимала двух “безотцовщин”, работая официанткой в каком-то баре в Каламе.

Если в памяти Идельбрандо дель Кармена скорбное событие связалось с невзгодами и неудачами старших, то в его детской душе оно отозвалось (под шуршание темных пядей земли, падавших на материнский гроб) смутным ощущением разочарования и недовольства самим Создателем. Он так и не смог понять, почему Господь решил воспользоваться таким банальным средством, как паук, чтобы исполнить пророчество о смерти мамы. Разве не мог Он в своем безграничном могуществе избрать более благородный, более духовный, более подобающий мистике прорицания способ? К примеру, смерть могла бы наступить во сне — он слыхал, что именно так Господь прибирал многих своих детей; лучше и не пожелаешь.

Тем не менее через три дня после похорон, светлым утром в воскресной школе, когда пасторша заставила его вме-

сте с остальными детьми наизусть пропеть заповеди блаженства, он внезапно примирился с Богом: вдохновленный то ли своим душевным состоянием, то ли песнопением для сбора пожертвований: "...Господь благословляет дающего с радостью...", он уронил в атласный лиловый мешочек все монеты, что заработал изготовлением и продажей воздушных змеев за две недели, проведенные в городе. И почувствовал себя легче ангела.

5

Все еще думая о покойной матери, Идельбрандо дель Кармен вышел из автобуса у здания редакции. Как почти всегда по субботам, тираж запаздывал, и газетчики разгоняли скуку, расчертив кусок дворика под крохотное футбольное поле — игроками служили бутылочные крышки; играли на мелкую монету.

Едва замешкавшаяся газета сошла со станка, цинковые ворота, через которые разносчики попадали на улицу, захлопнулись. Тем самым все оказались в равном положении. Пока тираж раздавали, мужчины, женщины и дети старались притереться поближе к запертым воротам, чтобы потом разом хлынуть на улицу.

Под небом, уже заливавшимся нежно-голубой краской (совсем как стенки в комнате у той сеньоры в сорочке), зажав под мышкой тридцать три номера, напрягшись, словно скаковой конь, готовый пуститься в галоп, едва дадут отмашку, Идельбрандо дель Кармен ждал и оглядывал странную толпу вокруг: маслянистых слепых с прозрачной кожей и грязными седыми космами; молчаливых мужчин с бегающим взглядом — у этих по большей части недоставало кисти или всей руки, и они старались упрятать бледные культи под неопрятные бедняцкие рукава; парализованных в инвалидных креслах — эти, кроме газет, торговали еще женскими журналами и лотерейными билетами; нечесаных баб в синих парусиновых тапочках, футбольных гетрах и трех надетых друг на друга драных кофтах; ораву оборванных ребятишек, матерящихся почище пьяных матросов.

Из всей разношерстной и причудливой компании Идельбрандо дель Кармена неизменно занимал самый шумный газетчик. Звали его Андрес Онесимо Пифагор Флорес Моросо, и каждое утро распределитель газет зычно и весело выкрикивал его полное имя, а под конец лукаво добавлял: "Также известный как Шнурок". Шнурок, приземистый пожилой мужичок, то и дело заходился каркающим беззубым

хохотом и любил размахивать руками, а остальные газетчики, особенно дети, без устали его донимали и тыкали. Ноги у него были кривые, нос — красный, словно перец, и походил он на карлика. “На высокого карлика”, — думал Идельбрандо дель Кармен, рассуждая, что такой вид, должно быть, имел мытарь Закхей, низкорослый библейский герой, взобравшийся, чтобы увидать Христа посреди толпы, на сикомору (как ему нравилось слово “сикомора”, как оно отзвякивало в ушах всякий раз, как его произносили на службе!). Однако Идельбрандо дель Кармену был любопытен вовсе не нелепый облик странного разносчика; просто он совершенно точно знал, что встречался с ним раньше, в Альгорте.

Девять десятых населения остановившегося селитряного прииска переехало жить в Антофагасту. Приисковый священник, человек с жесткими, как проволока, черными волосами, могучего телосложения и энергичных повадок, на уроках закона Божия лупивший учеников по ладоням деревянным распятием, — Идельбрандо дель Кармен как сын евангелистов был от этих занятий официально освобожден — выбил всем оставшимся без крова альгортцам участки у подножия Крестовой Горы. Родители Идельбрандо дель Кармена, разумеется, наотрез отказались прописываться у падре. Поэтому евангелический пастор разрешил им, покуда не обзаведутся нормальным жильем, поднять халупу на землях церкви. Так вот, Идельбрандо дель Кармен был уверен, что Шнурок тоже приехал из Альгорты. Он вроде бы вспоминал, как тот — да, сомнений нет, точно он — пьяный плясал во время стихийной попойки на приисковой баскетбольной площадке, куда Идельбрандо дель Кармен, как обычно, пробрался без разрешения матери. Красный нос у мужичонки от спирта разгорелся пуще прежнего, и народ животики надрывал, глядя, как он один наяривает на площадке модный в ту пору небыстрый — “а-ля Палм-Бич” — меренге[1] под аккомпанемент невнятного оркестра банок из-под смальца, завернутых в тряпку расчесок и пивных бутылок, по которым ритмично колотили длинными кривыми ключами от холостяцких комнат.

Только Идельбрандо дель Кармен не мог вспомнить: видел он Шнурка на пирушке, устроенной после матча между местной командой и командой порта Мехильонес, или на той,

1. Меренге — народный танец, зародившийся в Доминиканской Республике. Возникновение меренге “апамбичао” (“а-ля Палм-Бич”) — варианта с более спокойным ритмом, чем в традиционном меренге, — связывают с американской оккупацией Доминиканской Республики (1916–1924). Из ткани “Палм-Бич” была пошита военная форма американских солдат.

что состоялась при большом стечении народа после выступления кандидата в президенты доктора Сальвадора Альенде Госсенса во время его второй предвыборной кампании[1]. В тогдашнем столпотворении на стадионе он впервые лицезрел женщину, одетую в женские брюки. Брюки, помнится, были красные, без карманов, с застежкой на боку и суженные у щиколоток. И щеголяла ими не кто иная, как молодая и красивая супруга кандидата. Уж это-то он помнил яснее ясного: она выглядела такой веселой и воодушевленной, когда подначивала толпу скандировать: “С огоньком, с огоньком, за Альенде все пойдем!”.

Чувствительный тычок под ребра разом прервал его раздумья. Ущипни-Луну нарисовался. Грубо отпихнув Идельбрандо дель Кармена, он с вызывающим видом стал впереди. Сегодня Идельбрандо дель Кармену снова придется пядь за пядью отвоевывать территорию у нахального верзилы. Пару раз в прежних совместных забегах Ущипни-Луну едва не опрокидывал его, подставляя подножки. “Эх, не был бы он таким бугаем, кашалот паршивый”, — мрачно думал Идельбрандо дель Кармен, глядя на врага исподлобья и подавляя порыв накинуться на него.

Когда ворота распахнулись, Идельбрандо дель Кармен припустил к северу по улице Матта. Невзирая на угрожающее присутствие Ущипни-Луну, он намеревался совершить обычный путь: по Матта доберется до улицы Прат, там уйдет низом, после повернет на улицу Кондель, снова к северу, а затем на улицу Боливара, и по ней спустится к рыбацкой бухте, где маршрут и закончится. Если газеты останутся, он вернется в центр и станет выкрикивать их где-нибудь на автобусной остановке.

Долговязый хлыщ на длинных, как у цапли, ногах разом обогнал его, вопя, как резаный, о последних известиях. Идельбрандо дель Кармен, следовавший по пятам, перебежал на противоположный тротуар. Тактика его состояла в том, чтобы предоставить тощему дылде орать сколько влезет, пусть хоть весь на крик изойдет. Силы на это уходят немалые, а двоим выкликать совсем не обязательно, уж это он знает. Опасаясь, как бы здоровяк не умотал совсем далеко своим кенгуриным манером, Идельбрандо дель Кармен даже

1. Сальвадор Альенде Госсенс (1908—1973) — политик, президент Чили в 1970—1973 гг. Погиб во время государственного переворота, положившего начало диктатуре Аугусто Пиночета. Вторая президентская кампания Альенде, в ходе которой его сопровождала супруга Ортенсия Бусси (1914—2009), состоялась в 1958 г.

жертвовал возможностью продать газетку-иную, когда покупатель попадался чересчур медлительный или сдачи не находилось.

Как обычно, он позволил ему идти первым пять кварталов по Матта до клуба “Люцерна” плюс квартал по Прата до поворота на улицу Кондель. Там, завернув к северу, Идельбрандо дель Кармен поднажал. Обогнать надо было до того, как они выкатятся на улицу Боливара. Обогнать и любой ценой держать первенство следующие два квартала. Ведь интересовала его не рыбацкая бухта, как ошибочно предполагал соперник, а как раз сама улица Боливара. Точнее, один квартал между улицами Латорре и Сан-Мартин. Вот в чем заключалась его страшная тайна.

Ну улице Кондель, почти что на углу Сукре, тощего конкурента, вырвавшегося вперед метров на двадцать, свистнул таксист. И тут-то Идельбрандо дель Кармен, не обращая внимания на возникшего прямиком из прошедшей ночи пьянчугу, который вязким голосом подзывал его к дверям пивной “Слава”, рванул, не жалея ног, и обогнал Ущипни-Луну. Добежав до улицы Боливара, не оглядываясь, он помчался вниз, к морю, что есть мочи выкликая газету.

Когда в середине квартала, за старым отелем “Чили-Греция”, его позвали с балкона ветхого двухэтажного дома, Идельбрандо дель Кармен, упиваясь счастьем, замер у двустворчатой двери. Сделав вид, будто убирает камушек или гвоздь из ботинка, он присел на корточки у старого деревянного порога. Услышал, как отодвигается защелка на плотном шнурке, приводимая в движение со второго этажа. Одна из тяжелых створок приоткрылась на сантиметр. Он не двинулся с места. Так и нащупывал несуществующую колючку в ботинке и тихонько оглядывался. Мимо вихрем пронесся длинный, и Идельбрандо дель Кармен с ботинком в руке успел увернуться от плевка, едва задевшего его вихор и смачно влепившегося в дверь. Он надел ботинок, дождался, пока враг удалится, и тихонько, чтобы никто не видел, просочился в дом.

Старинный двухэтажный дом, траченный годами бывший отель, одним из первых вырос в знаменитом таможенном квартале, где было полно баров, забегаловок и прочих заведений для моряков. Все здешние роскошные особняки с высоченными потолками и просторными вестибюлями, остатки которых мало-помалу дожирала безжалостная моль, в печальную эпоху упадка белого золота постепенно превратились в захудалые пансионы, населенные довольно сомнительными субъектами.

Поднимаясь по широкой лестнице, оглушительно скрипевшей усталыми ступенями под его шагами, Идельбрандо дель Кармен с замиранием сердца думал, какого цвета окажется на сей раз сорочка — неглиже, как выражалась его мама, — черного, красного или розового? Лично ему больше всего нравился розовый цвет. Попав на просторную площадку верхнего этажа, он решительно направился к единственной приоткрытой двери с блестящей бронзовой ручкой, отполированной множеством пальцев. Толкнул дверь той рукой, в которой были зажаты свернутые в трубочку три всегдашние газеты, и выжидательно просунул в проем черноволосую напомаженную голову: есть! Сорочка розовая.

Женщина стояла у круглого изящного столика в центре комнаты в ореоле света, потоками лившегося в окна у нее за спиной, с горсткой монет, выуженных из черной лакированной сумочки, и сосредоточенно раскладывала их в кучки по десять. В зеркале большого темного гардероба отражался угол незаправленной постели, сладострастно сползшее на пол красное покрывало (один вид постели ввергал Идельбрандо дель Кармена в головокружительную пучину самозабвения и страха), и повторялась в полный рост нагота, просвечивающая сквозь розовые кружева сорочки. Женщина была высокая, непонятного возраста, с рыжими волосами, взбитыми в восхитительном беспорядке, как у Брижит Бардо, и непроницаемым угловатым лицом. Грудью она не вышла, зато Идельбрандо дель Кармен просто терял рассудок при виде ее длинных золотистых ног, выглядывавших из щедрого разреза сорочки. Эти прекрасные бронзовые ноги с тем же сомнамбулическим отливом, что у дверной ручки, могли, по его мнению, сравниться только с бесконечными ногами Роситы Кинтаны.

Когда эта женщина — силуэт, растушеванный жалюзи, — впервые окликнула его через верхнее окно старого дома, Идельбрандо дель Кармен потащился по лестнице нехотя, угрюмо, пеняя на потерянное драгоценное время. Но стоило ему мрачно заглянуть в комнату, полностью выкрашенную в сумеречно-голубой цвет, как он совершенно обалдел. Словно бы он по волшебству, околпачив билетера и капельдинера неведомого частного кинотеатра, не просто пробрался к экрану, а оказался прямо посреди эротической сцены цветного французского фильма, запрещенного для несовершеннолетних.

С тех пор он непременно включал старый дом в свой газетный маршрут. Иногда по утрам, когда вставать было неохота, одной ужасающей мысли о том, что сеньора в сорочке может окликнуть кого-то другого, хватало, чтобы бодро ски-

нуть одеяло и одним прыжком оказаться на ногах. Хотя за все разы, что побывал в благоухающем жилище одинокой дамы (если у греха есть запах, думал Идельбрандо дель Кармен, то это как раз запах ее комнаты), он всего-то и отважился, что однажды, запинаясь, спросить ее имя:

— Нимфа Мария, — отвечала она лаконично.

Голос, глухой и пришептывающий, долетел будто из глубины морской раковины — в такие перламутровые раковины трубили дикари в картинах, снятых на каком-нибудь острове в Полинезии. После он еще хотел спросить, почему она всегда покупает по три газеты за раз, но дар речи изменил ему.

Бывало, однако, что ставни в верхнем этаже не распахивались, и никто его не звал. Тогда Идельбрандо дель Кармен притормаживал, складывал ладони рупором и выкликал газету особенно рьяно. Жадный взгляд вперивался в окно, крики отдавали отчаянием. Предполагая, что обитательница дома после загульной ночи разоспалась, он оббегал квартал по кругу и вновь медленно проходил под окном, напрасно надрывая глотку. В такие дни ремесло газетчика блекло, становилось долгим и нудным, как фильмы, состоящие из одних сплошных разговоров.

Досчитав деньги, женщина, как всегда, легонько кивнула Идельбрандо дель Кармену. Тот, как всегда, вошел, будто ступая по воздуху, благоговейно и робко, как входят в храм посреди службы. Не дыша, положил свернутые газеты на столик с гнутыми ножками и принял во вспотевшую ладонь кучки монеток, которые сеньора опускала аккуратно, почти чувственно, одну за другой. Потом, тоже как всегда, не отрывая взгляда от женщины, пристально смотрящей ему в глаза, Идельбрандо дель Кармен стал пятиться к двери. Иногда она смотрела загадочно, бередила душу; иногда — жестко и насмешливо, как коварные блондинки из кинофильмов, а в иные дни ее глаза сочились пьянящей нежностью, от которой Идельбрандо дель Кармена всего бросало в дрожь (и он начинал думать, что сеньора в сорочке немного чокнутая). Отступив к дверному проему, избегая встречаться с ней взглядом (сегодня на него глядела коварная блондинка), Идельбрандо дель Кармен почти неслышно прошептал “спасибо” и шагнул наружу. Уже на лестнице он заметил, что взмок с головы до пят.

Старинная улица Боливара, уставленная сегодня гостиницами и пансионами, тогда отличалась от большинства прочих не только наличием исторического прошлого, но и заслуженной репутацией обиталища шлюх. “Улица Содома и Гоморры”, — говаривала его мать в Альгорте, имея в виду тамошний порочный променад, известный как Середка.

По дороге к рыбацкой бухте Идельбрандо дель Кармен, глубоко погруженный в свои мысли, перебегал улицы, уворачивался от машин и продавал газеты почти машинально. Вопреки собственным подозрениям он не находил ничего от проститутки в лице сеньоры с верхнего этажа. Вот Молочный Сахарок, первая продажная женщина, с которой ему довелось познакомиться, косая и со шрамом от ножевой раны во всю щеку, та действительно соответствовала профессии. На перекрестке с улицей Бальмеседа его мысли рассек надвое скрипучий поезд Антофагаста-Боливия.

Пока длинный состав тянулся в сторону порта, предупреждая о своем появлении бронзовым колоколом локомотива, Идельбрандо дель Кармен вдруг углядел, словно мерцающее видение, — и так и выхватывал взглядом в промежутках между вагонами — красивую девочку-альбиноску, с отсутствующим видом наблюдавшую за медленным ходом поезда. Безжизненное, как и положено в семь утра, солнце скользило по белой макушке, разделенной белоснежным пробором, и просвечивало насквозь бледную кожу. Девочка была одета в белое платье с кружевами, как для первого причастия, и держала в руке хрупкий бумажный сверток (с двумя “ушками”), который Идельбрандо дель Кармен тут же по непонятной причине мысленно наполнил килограммом белого сахара.

Когда нескончаемый товарняк все-таки прошел, он снова погрузился в размышления и продолжал путь к бухте. Молочный Сахарок определенно смахивала лицом на проститутку. По воскресеньям на прииске, когда мать посылала его продавать пирожки и горячий хлеб в корзинке, укрытой белейшим куском мешковины, первым делом он отправлялся на Середку, а на Середке первым делом наведывался к Молочному Сахарку. Один ее вид завораживал его. Он пялился на иссиня-бледный шов на ее щеке, и это было так же неприлично, как заглянуть ей между ног.

В одно пасмурное воскресенье (почему-то памятные события всегда выпадали на облачные дни) в комнате Молочного Сахарка Идельбрандо дель Кармен застал еще одну женщину, и та пела мексиканское корридо. С тех пор они больше не встречались, но ее голос (в отличие от лица) навсегда врезался ему в память. Сидя на краешке разворошенной постели, под гитару какого-то пьянчужки, загулявшего до утра, она выводила ранчеру[1] так же томно, как сестры-евангелички — религиоз-

1. Ранчера — род мексиканской песни, исполняется, в частности, оркестрами марьячи.

ные гимны. Песня, позже узнал он, называлась “Жаворонок”. И всякий раз, слыша ее вновь, он вспоминал смытые черты низкорослой певицы, которую другой пьянчужка, протягивая пирожок, назвал странным прозвищем Королева Елизавета.

6

В половине одиннадцатого утра небо над морем стало сереть. Линия горизонта, голубая и ясная на рассвете, словно по линейке проведенная, растушевывалась парами внезапного утреннего тумана. Идельбрандо дель Кармен по дороге из бухты направлялся в забегаловку Мириам, напротив Рыночной площади, где обыкновенно завтракал.

На улице Прат, у дверей выставочного зала “Эрсилья”, куда он заглянул узнать, не закрылась ли давешняя выставка скульптур, он продал последнюю газету. Выставка, к несчастью, уже закончилась. А он так хотел еще раз посмотреть на огромную, словно бычья, мужскую голову из неполированной бронзы. В первый раз голова его поразила. Несмотря на несхожесть физических черт, он определенно угадывал в ней голову отца. По аскетичному выражению лица и особой ауре ветхозаветного пророка, придаваемой бронзовой патиной, он узнавал своего старика, отчеканенного за безмолвной молитвой, когда тот, раскрыв Библию, просил у Господа разумения, чтобы постичь Слово. Страшная бронзовая голова не умела смеяться, и своего отца он почти никогда не видел смеющимся. Видимо, обнажать зубы в улыбке казалось тому предосудительным. Хотя сейчас как раз Идельбрандо дель Кармен припомнил, что совсем недавно, к его вящему удивлению, отец хохотал до упаду, до того, что из глаз, как у печального пса, выкатились две слезинки и тут же безвозвратно впитались в пергаментную кожу. При виде заходящегося хохотом отца, вечно такого торжественного, Идельбрандо дель Кармен растрогался, и его охватило дурацкое желание расплакаться. Удивителен был не столько сам неслыханный смех, сколько причина этого почти неподобающего взрыва веселости: простенький анекдот, который он рассказал отцу походя, даже невпопад, вечером за кружкой чая после долгого воскресного собрания в церкви.

Подходя к забегаловке Мириам, он досчитывал деньги. Чистой прибыли должно было оставаться ровно девяносто девять эскудо. Он отделил монеты от банкнот. Все точнехонько до последнего сентесимо. Взобравшись на высокий гладкий табурет перед стойкой, он передал коробку для газет самой молоденькой официантке и заказал обычный завтрак.

Официантка сунула коробку под стойку, к ящикам из-под пивных бутылок.

— Вижу, торговля удалась, — сказала она, и конец фразы потонул в шипении откупоренной ею бутылки "Бильца"[1]. Потом деловито удалилась за его хот-догом.

Идельбрандо дель Кармен покуда принялся отсчитывать монетки по одному сентесимо на музыкальный автомат.

— Когда уже ты мне расскажешь, почему всегда тридцать три? — спросила официантка, возвращаясь со стаканом, полным свернутых салфеток.

— Я же говорил, — отвечал он, улыбаясь, — по кочану.

— Не скажешь сейчас — не стану тебе больше коробку прятать, — притворно возмутилась она. И отправилась с мясным рулетом к другому клиенту. Но на полпути обернулась: — Да и пора уже сменить коробочку. Эта вся засалилась.

Он искоса глянул на нее и ничего не ответил, только улыбнулся.

Официантка напоминала ему медсестру с прииска Альгорта. Высокую нескладеху, которая в больничной кухне, на глазах у помиравших со смеху товарок, приподнимала белый халат и в вычурном реверансе танцовщицы дешевого танго и показывала ему костлявые журавлиные ноги. Так бывало каждый раз, когда мать отправляла его отнести еды немногочисленным пациентам маленькой местной больнички. "Из этого евангеленка тот еще бабник получится, — приговаривала безумная сестричка, — вы гляньте только, какие у него распутные глазки".

В новеньком музыкальном автомате, недавно установленном у входа в заведение, играло болеро "Господин адвокат" Лучо Барриоса[2]. Идельбрандо дель Кармен встал и подошел к аппарату (он неизменно приближался к нему с почти религиозным почтением; автомат, сиявший металлическими поверхностями и разноцветными огоньками, и вправду был внушительный и таинственный, как алтарь). Серьезно, как в мешочек для пожертвований во время службы, он опустил три монеты в щель автомата и, не сверяясь со списком, по памяти нажал клавиши F и 5. Когда Хавьер Солис[3] запел "Тогда я отвернусь", единственную мексиканскую песню в списке, он уже наполовину покончил с завтраком.

В забегаловке в этот час, да еще в субботу, уже было полно народу. Полуночники макали хлеб в соус из красного перца и

1. "Бильц" — чилийская марка лимонада. Названа в честь Фридриха Эдуарда Бильца (1842–1922), изобретателя аналогичного немецкого напитка.
2. Лучо Барриос (1935–2010) — перуанский певец, исполнитель болеро.
3. Хавьер Солис (1931–1966) — мексиканский певец.

вяло потягивали теплое пиво; рыночные дельцы в заляпанных фартуках и соломенных шляпах щеголяли разноцветной пачкой купюр в оттопыренном кармане синтетической рубашки; грузчики, оборванные и трясущиеся, без церемоний пропускали по первому утреннему стакану; шоферюги в клетчатых рубахах и с густыми усами хрипатостью напоминали собственные грузовики; а небогатые жители пригородов, приехавшие закупиться овощами на неделю, боязливо и чинно позволяли себе субботнюю роскошь — "принять чего-нибудь" за замусоленными столами у Мириам.

Снаружи, на улице Майпу, состоявшей на этом оживленном отрезке из бакалейных, овощных, галантерейных лавок, кулинарий и распивочных, беготня и толкотня с каждой минутой усиливались. Как и повсюду в окрестностях пованивающего здания Муниципального Рынка. Стихийный базар в узком проходе между зданием и площадью уже начинал заполняться на удивление горластыми покупателями. А гудки машин, хохот зевак-мальчишек, ругательства нищих и пронзительные крики торговцев, выкликавших апельсины из Пики, кукурузу из Каламы, картошку из Кокимбо, папайю из Ла-Серены, маслины из Асапы, арбузы из Пайне, яблоки из Курико, курчавый салат, бутылковидные авокадо, волосатые кокосы ("У меня кокосы волосатые, подходи, смотри, кто хочет!") и прочий сельскохозяйственный продукт со всей страны, превращали тесную улицу в оглушительный сумасшедший дом.

День Идельбрандо дель Кармена обещал стать нескучным. Утром он повидался с сеньорой в прозрачной сорочке, да еще и враз распродал тридцать три газеты. (Он все не решался признаться официантке, почему именно тридцать три, — наверняка дуреха посмеется над ним или просто не поверит. Но даже во время прошлогоднего чемпионата мира[1], когда чилийская футбольная сборная стала третьей, и газеты разлетались, как пирожки, прямо у редакции, он не продавал больше экземпляров.) Так что все шло как по маслу. К тому же в кинотеатре "Латорре" давали картину с его любимой артисткой. Еще бы для полного счастья в полдень повстречать на площади какого-нибудь фокусника из тех, что заклинают амазонских змей.

Две вещи в городе поразили Идельбрандо дель Кармена больше, чем море (море, в конце концов, было так же бесконечно и однообразно, как пампа, — это он заметил, еще впервые спустившись на пляж, когда кто-то сказал ему, что нужно

1. Имеется в виду чемпионат мира по футболу 1962 г., проходивший в Чили.

засунуть в рот гальку, чтобы море не разозлилось, и он весь вечер, как дурак, сосал камушек, терпкий и горьковатый на вкус и похожий на стеклянный шарик на ощупь). Во-первых, его, разумеется, ошеломило кино. Во-вторых — фокусники с Рыночной площади, ослепительные языкастые ангелы, на которых он мог смотреть до изнеможения, до судорог в ногах, не мигая.

Когда он позвал официантку заказать еще хот-дог, она вдруг вспомнила, что не спросила, какой прогноз выдал ей нынче "Колодец счастья".

— "Твое счастье прямо перед тобой", — серьезно отвечал Идельбрандо дель Кармен, глядя ей в глаза.

Она с сомнением уставилась на него, а после расплылась в лукавой улыбке.

— Полегче на поворотах, мальчик!

— Такой прогноз, — улыбнулся он в ответ с притворной невинностью.

— Сам придумал?

— Да нет, серьезно!

Официантку позвали с другого конца зала, и Идельбрандо дель Кармену некому стало сиять улыбкой. На самом деле он забыл посмотреть, что уготовила судьба на сегодня его приятельнице. "Колодцем счастья" назывался раздел предсказаний в "Меркурии". Выглядел он как таблица из букв и цифр; чтобы узнать будущее, следовало прибегнуть к простой арифметике, основывающейся на количестве букв в имени заинтересованного лица: если в имени было больше шести букв, от этого количества отнимали 4, если меньше шести — прибавляли 3 (официантку звали Мария, ее число, таким образом, составляло 8). Затем полагалось выписывать на бумажку — начиная с верхней строчки таблицы, продвигаясь слева направо — все буквы, соответствующие ключевому числу: получалась фраза с предсказанием. Самой большой цифрой в табличке была восьмерка, и Идельбрандо дель Кармену один раз подумалось, что бедолага царь Навуходоносор[1], выходило, вообще не имел права на будущее. Вследствие религиозного воспитания Идельбрандо дель Кармен не верил во всякие гадания, но неизменно припадал к "Колодцу счастья", чтобы выяснить, какую чушь обещают ему сегодня. Он прекрасно владел грамотой и потому мог обойтись без выписывания буковок на бумажку, составляя фразу в уме. Его числом

1. Навуходоносор II (ок. 634—562 до н.э.) — царь Вавилонский; упоминается в нескольких книгах Ветхого Завета.

была семерка. Сегодня выпало: “День неблагоприятен для полетов”.

Идельбрандо дель Кармен уже заканчивал завтракать, когда вошел Ущипни-Луну. Стойка в забегаловке имела форму подковы, и дылда, который тоже успел распродать все газеты, уселся на противоположном краю, прямо напротив него. Завидев конкурента, он показал нечто непристойное рукой и издевательски захохотал.

— Каланча, золотушник хренов, — мысленно припечатал его Идельбрандо дель Кармен.

Ущипни-Луну появился у здания редакции одним субботним утром, не больше трех месяцев назад, панибратски приветствуя всех и похлопывая по спине. Он превосходил ростом прочих газетчиков, “замурованных” за цинковыми воротами, но Идельбрандо дель Кармену запомнился, скорее, расхристанностью. Раньше он его никогда не видел. Когда все бросились наружу, Ущипни-Луну и он повернули на одну улицу. По пути не обменялись ни словом. Но уже в рыбацкой бухте, куда они прибыли одновременно, Ущипни-Луну ухватил его за рукав и, сплюнув сквозь зубы, сообщил, на тот случай, если сопляк не в курсе, что это его пятачок и что, хоть он на время отошел от дел, теперь-то вернулся и не потерпит, чтобы всякие тупые недоделки невесть откуда совались на его территорию. Идельбрандо дель Кармен не дал себя запугать, стряхнул руку противника и ответил, как обычно отвечал какой-нибудь сварливой соседке, гнавшей их играть в другое место: “Улицы общие”. Он совсем недавно познакомился с сеньорой с улицы Боливара и не собирался терять ее из-за выходок какого-то уродского дистрофика. И продолжал работать на своем маршруте.

Напряженными днями были только субботы и воскресенья; в будни, когда газета выходила раньше, проблем не возникало: Ущипни-Луну вечно опаздывал к редакции. И все же Идельбрандо дель Кармен старался улизнуть от него в любой день, поскольку успел распознать подлую фарисейскую душонку долговязого. Однажды он видел, как тот дружески похлопал по спине самого старого из слепых газетчиков, высокого и благообразного, всегда носившего костюм и белую шляпу, — ладонью, вымазанной в тыквенной мякоти. Идиот-переросток так выпачкал белый льняной пиджак старика, что казалось, будто кто-то подтерся тканью.

Словом, Идельбрандо дель Кармен постарался поскорее покончить с завтраком. Он подозвал официантку, попросил чек и пошел платить. На прощание он махнул ей рукой, а она рассеянно улыбнулась, занятая другими клиентами, и слегка

кивнула. В дверях Идельбрандо дель Кармен почувствовал, как в спину влепилась крышка от бутылки.

Петляя в ярмарочной толпе по дороге к углу рынка, где брат Тенорио Лопес располагался со свой ручной тележкой, он упивался злостью и обидой на Ущипни-Луну. В один прекрасный день ему неизбежно предстоит схлестнуться с золотушником, "фиговым фруктом", как выражался, лукаво подмигивая, брат Тенорио Лопес, когда видел или вспоминал какого-нибудь необращенного, задолжавшего за пару дюжин пирожных с начинкой или пачку-другую стирального порошка. В отличие от брата-боксера, который, судя по рассказам отца, с младых ногтей был не дурак подраться, он побывал в драке всего трижды за свою короткую жизнь: два раза на прииске Альгорта и один раз тут, в Антофагасте, прямо в дверях церкви.

Первый бой в возрасте девяти лет состоялся у него с белобрысым пареньком, который, не успев приехать на прииск, уже вознамерился отбить у Идельбрандо дель Кармена место вратаря в беспощадных уличных матчах. Во второй раз он вступил в рукопашную со своим лучшим другом Спичкой, всегда готовым позабавить его историями о невероятных дядюшках. Дядюшки Спички все сплошь оказывались хозяевами всемирно известных цирков, жокеями или золотоискателями. Но, не считая мании величия, Спичка был славным малым. Как и его отец, дон Бьенвенидо Сандалио, добродушный толстяк, работавший в пульперии — но не в баре, а в лавке. О доброте дона Бьенвенидо ходили даже следующие слухи: якобы по выходным он одалживал костюмы из лавки — с галстуком и нагрудным платочком в придачу — своим небогатым друзьям, чтобы те могли сходить на свадьбу или день рождения в спортивном клубе. При этом, словно в детской сказке, он брал с них обещание, что они вернут костюм сразу же по окончании попойки. Человеколюбие и простодушие Спичкиного папаши обнаружились, когда клиенты стали находить горсти конфетти, обрывки серпантина и этикетки от бутылок английского коньяка в карманах только что приобретенных костюмов.

Драка с другом Спичкой произошла однажды вечером, после обеда, за баскетбольной площадкой. Поводом послужило ленивое "Спорнем, ты этого за ухо не отгреплешь", брошенное жирным сержантом карабинеров, загибающимся в пекле селитряной сиесты, группе взмокших, как кони, мальчишек, которые отдыхали после безумного, проведенного тряпичным мячом под палящим солнцем футбольного матча. Ужаснее всего было то, что две недели спустя его дорогой друг Спичка внезапно умер от неизлечимой болезни. Он же несколько ночей пролежал без сна, уставившись в цин-

ковые листы на потолке и по-детски терзаясь сомнением — уж не ускорили ли преждевременную смерть друга удары, нанесенные тем вечером?

Третья драка случилась вскоре после переезда в Антофагасту. Тогда он впервые в жизни влюбился, само собой, по уши. Девочка была на год старше него и жила на противоположной стороне улицы. Звали ее Мирейя София, по прозвищу Блондинка Мирейя. У нее были сияющие, ярко-зеленые, как оперение попугая, глаза, и она приходилась любимой племянницей самому Роберту Тэйлору, главарю банды, наводившей ужас на весь квартал Лаутаро. Подрался он с ее кузеном. Они встретились у паперти и прямо там сцепились. В свирепом кулачном бою они повалились на землю и постепенно скатились на мостовую, застопорив на несколько минут уличное движение. Противник, один из младших членов банды, отделывал Идельбрандо дель Кармена за милую душу — тот уже наполовину потерял сознание и ничего не видел из-за шоколадного цвета жидкости, заливавшей глаза. Но тут провидение послало ему прекрасную сестру Олимпию Паласиос. Привлеченная бешеным гудением застрявших машин, она, новоиспеченная жена и домохозяйка, вооружилась метлой и бросилась их разнимать. "Дитя Господа не устраивает таких спектаклей на улице, — звонко отчитывала она его, заводя в дом. — Дитя Господа должно нести свет в этот мир", — продолжала, надувая губки, кокетливая сестра Олимпия Паласиос, пытаясь остановить густой поток крови, толчками изливавшийся из его носа. Драка произошла из-за Блондинки Мирейи.

7

Дом Блондинки Мирейи стоял точно напротив церкви. И по выходным в этом доме устраивали танцы с усилителями на всю улицу.

В эти шальные вечера голос Энрике Гусмана[1], зычно распевавшего "Тюремный рок", и вопли Бренды Ли[2], оседлавшей свою дьявольскую метлу, совсем заглушали неспешное чтение дряхлым пастором "Нагорной проповеди". Или сбивали с ритма набожные гимны, обращенные в эту минуту к Господу, схо-

1. Энрике Гусман (р. 1943) — мексиканский певец и музыкант, участник группы "Тин топс" (существует с 1958 г.), известной, прежде всего, испаноязычными кавер-версиями величайших хитов рок-н-ролла.
2. Бренда Ли (р. 1944) — американская певица, выступавшая в жанрах поп, кантри и рок-н-ролл.

дящему в огне Пятидесятницы[1]. Поэтому его благочестивый отец, немного спустя после смерти матери, на вторничном собрании запретил водиться с детьми "этих бесноватых по соседству". Но отцовское предписание запоздало: несколькими днями ранее Идельбрандо дель Кармен с первого взгляда безумно, отчаянно влюбился в единственную дочь бесноватых, очаровательного бесенка с искрящимися зелеными глазами и восхитительно бесстыжими девичьими гримасками.

Любовь настигла его в полыхающий закатом вечер, когда он в большой колонне братьев и сестер возвращался с проповеди. Было воскресенье. Евангелистов собралось гораздо больше, чем обычно. Группа миссионеров-велосипедистов, прибывшая сеять семя Евангелия из самого города Арики и преодолевшая всю протяженность пустыни одной лишь силой педалей и веры, по приезде в Антофагасту сразу присоединилась к воскресной проповеди. Вследствие большого стечения народа пастор велел разделиться на пять колонн, чтобы охватить как можно больше улиц. Главную колонну повел он сам, а остальные отдал под начало самых старых членов общины. Идельбрандо дель Кармен попал в ту, что вел его отец. Каждая колонна должна была обойти самое меньшее четыре улицы и затем направляться к месту сбора. Цель состояла в том, чтобы всем соединиться в трех кварталах от церкви, на улице, ведущей от моря к горам, и вместе грянуть ликующий гимн.

В тот вечер братьев и сестер переполняла благодать Божия. Они как никогда вдохновенно проповедовали Слово, раздали больше брошюр, чем за всю неделю, и слились на улице Пеньюэлас в широкую бесконечную процессию к храму. "Приидите, грешники, Иисус пошлет спасенье", марш проповедников разносился далеко, гордо и воинственно. Все пели, будто осененные Святым Духом, будто уже настал день Страшного Суда, долгожданный день величественного второго пришествия Господня. Веселый летний ветерок развевал длинные волосы юных сестер, а огромный, библейский, красный закат, отражавшийся на блестящих миссионерских велосипедах, напоминал над морем техниколорово-синемаскоповский апокалипсис[2], словно евангелисты маршировали прямиком в Царствие Небесное.

1. Огонь Пятидесятницы — Огонь Святого Духа, сошедший на апостолов в день Пятидесятницы (Троицы).
2. Техниколор — способ получения цветного кинематографического изображения, широко применявшийся в Голливуде 20—50-х гг.; синемаскоп — широкоэкранная кинематографическая система, использовавшаяся в 50—60-е гг.

Множество возбужденных ребятишек и несколько взрослых следовали за шумным шествием до самой паперти, где собралось еще больше любопытных. Так что евангелисты (он никогда так не драл глотку) входили под своды церкви в окружении толпы зевак, недоумевающих при виде такого скопища евангелюг, да еще и горлопанящих что есть мочи. И вот, когда стены храма уже дрожали от голосов шедших во главе колонны, он, еще шагая по улице, увидел ее. Его взгляд как магнитом притянуло к насмешливому блеску двух уставленных на него зеленых булавочек. Блондинка Мирейя в подетски вызывающей позе подпирала пилястру у небольшой паперти и смотрела на него.

Небрежно взбитые белокурые волосы, белая блузка, повязанная над невероятным пупком ("Пупок твой — круглая чаша, в которой не иссякает ароматное вино"[1]), и микроскопический красный лоскуток летящей юбки придавали ей вид самочки кошачьего племени, маленькой роковой женщины. Идельбрандо дель Кармен всю жизнь видел сверстниц из конгрегации в балахонистых длинных юбках и с непременными туго-натуго затянутыми кичками, поэтому явившаяся нимфа огорошила и пленила его, как божественное видение.

До того благословенного вечера он видел белокурую пантеру (похожую на Марию Мариолу, девочку с прииска Альгорта, тоже светловолосую, с которой он пережил мимолетный детский роман) только издалека, на противоположном тротуаре. Припав к деревянной решетке дворика, он часто смотрел, как она играет с братьями, и чувствовал, что внутри растет странное, тревожное щекочущее чувство. Но когда она оказалась совсем близко и нахально глянула на него, его бедный дух, дотоле пребывавший в благодати Божией, будто бы разом грянулся оземь, подпаленный дьявольским огнем зеленых глаз.

Она высунула язычок, что он в своем отупении расценил как жест очаровательного вожделения, и осталась у пилястры рассыпать кругом чертовски ангельский смех, а он проследовал в церковь, поперхнувшись собственным голосом, словно косточкой, и потея до корней волос. Он онемел, оцепенел и в тот вечер не слышал ни слова из толкования Писания.

С тех пор он практически жил у решетки дворика. По вечерам, на собраниях, как пень сидел подле отца и почти не пел и не молился, силясь расслышать ее неповторимый смех,

1. Цитата из Песни Песней Соломона (Песн. 7:3).

когда она придет играть к церкви. Не слыша этого смеха, он чах и куксился, даже самые радостные евангельские гимны не могли его развеселить. Обычно это случалось по выходным, когда у нее дома давали вечеринки. В эти злосчастные дни по окончании службы, пока в дверях храма отец обнимал на прощание братьев и сестер или поджидал, пока выйдет пастор, чтобы невозмутимо и пунктуально (как с первого дня обращения в евангелисты) вручить священный конверт с десятинами, он не отрывал взгляда от дома напротив, мечтая разглядеть Блондинку Мирейю среди пар, извивающихся под "Рок вокруг часов". Он просто не мог поверить, что именно в такие жаркие танцевальные вечера она с братьями укладывается спать раньше обычного. Тайна раскрылась только, когда отцу пришлось уехать работать на медный рудник за городом и оставить Идельбрандо дель Кармена жить одного. Оказалось, что дети по выходным устраивали собственную вечеринку, только не в гостиной, а в соседней комнате. Там они плясали под долетавшую от взрослых музыку и всерьез играли в ухаживания: мальчики умащались бриллиантином, девочки делали пышные начесы и красили губы в красное.

Оставшись в одиночестве (вверенный, больше на словах, заботам супруги брата Тенорио Лопеса, богобоязненной и хлопотливой сестры Орланды Пурисимы дель Росарио), он день ото дня все чаще оказывался на улице и, в конце концов, свел знакомство и стал играть с братьями и кузенами Блондинки Мирейи. Эти пацаны не играли в шарики, единственную игру, знакомую ему с прииска (кроме уличного футбола и известной потехи ребятишек пампы — охоты на ящериц в известняковых отвалах). Нет, они, великовозрастные и бесстрашные, брали напрокат рахитичные велики с ножным тормозом и устраивали рисковые соревнования с акробатикой и заездами на скорость вниз по улице. С наступлением ночи старшие сажали самых красивых девочек на раму и, нашептывая им что-то на ушко, катали по темным пустырям квартала. В жаркие летние вечера полуголой гурьбой спускались купаться на тошнотворный пляж, который обнаружили близ рыбоконсервного завода. Но на первом месте среди забав стояли, вне всякого сомнения, пресловутые субботние танцы.

Впервые попав на детскую пирушку, Идельбрандо дель Кармен окончательно удостоверился в своей чистой и бесповоротной любви к Блондинке Мирейе. Он спокойно сидел на службе, как вдруг услыхал ее неповторимый смех у дверей церкви и удивился, поскольку была пятница. В эту минуту

пастор с закрытой Библией в руках с амвона призывал молить Господа о ниспослании знака через Писание (стих, на который опустится большой палец его левой руки после молитвы и станет знаком). И, пока братья и сестры, закрыв глаза и воздев руки, молились о знаке на сегодняшний вечер, он улизнул на улицу.

Снаружи его ждали дети. Они пришли пригласить его на вечеринку. Ему только нужно вложиться на покупку лимонада и вафель. Он, не раздумывая, протянул им монеты, предназначенные для пожертвований.

Дом Блондинки Мирейи ослепил его. Большую гостиную освещали голубые флуоресцентные лампы (свет их был определенно небесным), кругом висели цветные гирлянды. На танцплощадке, заполненной неутомимыми парами, все было черно от кожаных курток и элвисовских коков. Конские хвосты и юбки-клеш умопомрачительно взлетали. От самого дома, от музыки, от украшений, от прыжков, поворотов и ужимок танцоров на Идельбрандо дель Кармена пахнуло чем-то цирковым.

В отдельной маленькой гостиной дети не оставались в долгу; все они здорово умели танцевать. Он же не знал куда себя девать. Всю вечеринку простоял, прижавшись к стенке и наблюдая, как Блондинка Мирейя кружится то с одним, то с другим. Ему казалось, что она королева этого бала, белокурая пантера, вольготно резвящаяся на своей территории, освященной клановой силой ее дядюшки. Он уже давно подружился с ее братьями, но с ней не перекинулся еще ни единым словом. Только взглядами, причем в ее взглядах сквозило высокомерие, а в его — нищенская мольба. Он чувствовал, что по-прежнему остается для Блондинки Мирейи евангеленком из дома напротив. Когда заиграла медленная музыка, и его любимая томно вплыла в объятия одного из старших мальчишек, он ушел.

В ту ночь в своей одинокой каморке он утвердился в уже давно возникшем подозрении: чтобы завоевать девочку из необращенных, нужно уметь делать три простые вещи: танцевать, плавать и кататься на велосипеде. Он не умел ни того, ни другого, ни третьего.

8

И все же тот вечер запомнился ему не только странным взглядом, которым одарила его Блондинка Мирейя, танцуя с очередным кузеном (от взгляда Идельбрандо дель Кармен весь обмер то ли в экстазе, то ли в ужасе), но и первой встре-

чей с Робертом Тэйлором. До тех пор он видел его два или три раза, но всегда мимолетно и немного не по-настоящему, как иногда жителям больших городов выпадает увидеть на улице знаменитого киноактера.

По правде говоря, главарь самого опасного преступного сообщества Антофагасты вовсе не выглядел грозным. Это был немногословный юноша, удививший Идельбрандо дель Кармена беззащитным видом. Никакой кожаной куртки, никаких брюк а-ля Пекос Билл[1], никаких остроносых ботинок с бронзовыми пряжками. Он даже не повязывал на шею носовой платок в качестве отличительного знака, как делали остальные члены банды. В рубашке и парусиновых штанах без ремня, едва державшихся под животом, он вошел и незаметно проскользнул за самый дальний столик. Единственное свидетельство заботы о себе составлял легкий отблеск бриллиантина, разгладившего курчавую шевелюру, рыхлая прядь которой падала на светлые глаза. Идельбрандо дель Кармен догадался, что это сам Роберт Тэйлор, а не один из его заправил, по тому, что за минуту до его появления дети зашептались, мол, идет дядя Роберто. Когда молодой молчаливый капитан бандитов вошел в гостиную, все мы, дети, сгрудились у дверей маленькой комнаты и уставились на него мечтательно и отрешенно, как на настоящего киногероя. Идельбрандо дель Кармен прикинул тогда, что ему лет двадцать, от силы двадцать два.

С того вечера, когда он изредка и нехотя заглядывал на службу, он только и просил Господа, что научить его плавать и кататься на велосипеде. О том же он молился перед сном, стоя на коленях в изножье кровати. Молитва сводилась к следующему: Господи, храни моего папу на работе, не забывай моего брата, боксера, и сестру, Королеву Весны, где бы они ни были. Дай мне сил и бодрости утром и, пожалуйста, Боже, научи меня плавать и кататься на велосипеде. О танцах нельзя было вспоминать ни под каким видом: он прекрасно знал, что танцы — занятие мирское, небогоугодное и церкви противное. Танцевать придется выучиться самостоятельно.

После утренней продажи газет и дневной школы он проводил время с братьями и кузенами Блондинки Мирейи, сколотившими вместе с другими ребятами квартала что-то вроде банды Роберта Тэйлора-младшего. Рассевшись на каком-нибудь углу или валяясь на плитах паперти, они хвастались и

1. Пекос Билл — персонаж североамериканского фольклора, идеал ковбоя.

мерялись последними бандитскими выходками и мечтали переплюнуть однажды легендарные подвиги дяди Роберто или кого-то из успевших прославиться однокашников. Ночью в каморке он лихорадочно рисовал при свете свечи. Срисовывал из религиозных календарей грандиозные библейские аллегории и потом неделями раскрашивал цветными карандашами. Иногда он приходил в такое возбуждение, так воодушевлялся, что порывисто работал до пяти утра, когда пора было идти за газетами. В те дни любовь подвигла его написать углем по памяти большой портрет Блондинки Мирейи: благодаря этому портрету одной славной ночью он воспарит телом и душой и сподобится присутствия Божия.

Это произошло в воскресенье; отец на неделе как раз вернулся с рудника. После обеда приятели Идельбрандо дель Кармена позвали его купаться. С ними, сказали они, пойдут Блондинка Мирейя и Мария дель Мар — последняя была для них вроде кинодивы: говоря о ней, замечал Идельбрандо дель Кармен, они просто шалели от восторга. По слухам, Мария дель Мар встречалась с Робертом Тэйлором.

Без особой надежды на успех он поплелся к отцу за разрешением и так быстро и легко получил его, что даже расстроился. Ему показалось, что старик, всегда суровый и непреклонный в подобных делах, начинает сдавать. Вероятно, он чувствовал вину за то, что сын растет один, отданный на съедение всем мирским соблазнам, забывает о церковных заветах и мужает как Бог на душу положит. Во время недолгих отцовских побывок Идельбрандо дель Кармен часто ощущал на себе его взгляд: на коленях раскрытая Библия, очки слабо зажаты в безжизненной руке, глаза цвета сырого песка смотрят будто бы на вернувшегося блудного сына — и увлажняются; каменное лицо трогательно лучится нежностью.

Тем вечером он вместе с двумя десятками ребятишек спустился на пляж, пройдя лабиринтом высоких стен вонючего промышленного района. Шумные и беспокойные, словно стая щенят, мальчишки скакали вокруг Марии дель Мар, бежали вперед по утоптанным тропинкам, били лампочки, пинали консервные банки и швырялись камнями в ящериц. Второй девушкой в компании была Блондинка Мирейя.

Когда они вышли к маленькой бухте, где дремали на волнах старые рыбачьи лодки, большинство сразу же бросилось в воду, некоторые, самые хулиганистые, — прямо в одежде. Пятеро или шестеро, в том числе Идельбрандо дель Кармен, просто разулись и развалились на песке. Мария дель Мар и Блондинка Мирейя, кокетливые и прелестные, прекрасно зная, что́ собираются выставить на показ, раздевались битый

час. Крупный песок обжигал, теплый воздух отдавал тухлой рыбой, грязная орущая туча чаек кружила над отходами с консервного завода.

Прежде чем войти в воду, невеста Роберта Тэйлора сняла часы, оглядела разлегшихся веером мальчишек и остановилась на нем. “Ты самый паинька с виду”, — сказала она, змеисто приблизилась к нему, взяла за запястье и застегнула на нем крохотные золотые часики. Потом потрепала его по подбородку и, сверкая белоснежными ровными зубами, улыбнулась с хорошо отрепетированной благодарностью. “Ты такой миляга”, — обронила она и пошла к морю, а он тем временем ошеломленно думал, что Мария дель Мар, обладательница роскошного и очень загорелого тела, могла потягаться с любой киноактрисой, мексиканской или все равно какой. Затем он отметил, что, демонстрируя на волнах разные стили плавания, Мария дель Мар точь-в-точь походила на русалок, если верить книжкам. У него в голове не укладывалось, что эта самая девушка, у которой к тому же, по рассказам пацанов, искры из-под ног летели, когда она отплясывала рок-н-ролл “Зараза”, способна совершать кражи со взломом и грабить груженные контрабандой грузовики из Арики у крутого склона в квартале Салар-дель-Кармен. Еще поговаривали, будто она виртуозно владеет ножичком с ручкой из розового перламутра, размером не больше пилки для ногтей, который прячет в бюстгальтере. И этим самым ножичком хладнокровно исполосовала физиономии двум полицейским в штатском, пытавшимся задержать ее на выходе с танцев в каком-то заведении в центре.

Между тем Блондинка Мирейя, лениво растянувшаяся на песке, не спешила идти в воду и не сводила с него глаз. Он сразу же понял, что внимание к нему дядиной красавицы-невесты (вначале смутившее его) произвело на нее впечатление. По дороге домой, на закате, Блондинка Мирейя, молчаливая и далекая, продолжала тихонько посматривать на него.

В тот же вечер службу с амвона вместо отсутствующего пастора вел отец Идельбрандо дель Кармена. Как всегда по воскресеньям, в день Божий, церковь полнилась верующими, которые молились и пели все истовее и истовее. Посреди службы Святой Дух внезапно снизошел на конгрегацию, и под славословия Предвечному Отцу и крики “аллилуйя!” пришлось срочно раздвигать скамьи, чтобы освободить место братьям и сестрам, которые, движимые божественной силой, плясали и говорили на иных языках. Обстановка духовного оживления и общего замешательства способствовала побегу Идельбрандо дель Кармена.

В доме Блондинки Мирейи тоже все ходило ходуном, особенно на побочной детской вечеринке в маленькой гостиной. Мальчишки и девчонки щеголяли самыми лучшими и яркими красками и ароматами, будто нарядившись на свадьбу, и с грацией зверенышей бились в припадочном ритме негритянского танца под названием твист, уж начинавшего завоевывать мир. Идельбрандо дель Кармен довольно долго торчал в углу и любовался тем, как невероятно свободно и изящно двигаются ребята под музыку. Вдруг он с горечью признался себе, что никогда в жизни не сумеет сделать и шагу на танцплощадке. И когда покорное осознание этого иглой вонзилось в сердце и он уже собирался вернуться в церковь, Блондинка Мирейя вдруг вытащила его на танец. "Я поведу", — сказала она. Голос прозвучал странно.

Играла медленная композиция Пола Анки[1]. Идельбрандо дель Кармен, дрожа, обнял Блондинку Мирейю. Восхитительное касание ее тела в такт музыке, — позже он узнал, что песня называлась "Crazy Love", "Безумная любовь", — аромат ее духов и белокурые локоны, головокружительным мягким дождем падавшие на его лицо, на короткий миг высшего наслаждения вознесли его на небеса — те самые прекрасные небеса, про которые говорилось в гимнах и которые он, расчувствовавшись на службе, бывало, различал вдалеке, когда сам пел эти гимны.

В тот вечер Блондинка Мирейя танцевала с ним под все баллады и болеро, перемежавшиеся музыкой поживее. Медленные песни как по волшебству включались после того, как она потихоньку наведывалась в большую гостиную, где стоял проигрыватель и громоздились кучи пластинок. Раскачиваясь под сонное болеро Хулио Харамильо[2], потея ладонями, неожиданно сам для себя Идельбрандо дель Кармен решил произвести впечатление и сказал ей на ушко, что он художник и сейчас как раз рисует ее портрет по памяти. Польщенная и даже вроде бы тронутая Блондинка Мирейя уставила на него зеленые глаза. А потом вкрадчиво, улыбаясь, как улыбаются одни ангелы, потребовала немедленно показать ей портрет.

Служба уже заканчивалась, когда они, взявшись за руки, перебежали улицу. Как обычно, дома все было темно. Отпирая цинковую дверь, он слышал, как она нетерпеливо ды-

1. Пол Анка (р. 1941) — американо-канадский певец, автор многочисленных рок-н-ролльных хитов.
2. Хулио Харамильо (1935–1978) — эквадорский певец и музыкант.

шит, почти прижавшись к нему. Дрожа от возбуждения с головы до ног, он нащупал спички и подсвечник на покрытом салфеткой буфете и зажег свечу. Пока он искал портрет в ворохе ангелов с куриными перьями и бородатых пророков, возносящихся на небо в огненных колесницах, она, принявшая в игре золота и тени от изменчивого пламени свечи немного призрачный вид, ошеломленно изучала обстановку: контраст между ее домом, полным света и музыки, и этим, темным и тихим, словно катакомбы, совершенно выбил ее из колеи.

Когда он протянул ей еще не завершенный портрет, она внезапно сорвалась с места, заключила его в объятия и одарила долгим, дрожащим поцелуем, его первым поцелуем любви. Если, обнимая ее на танцплощадке, он почувствовал себя, словно на небесах, то теперь, в полумраке каморки, пока она бесконечно целовала его, он воспарил и перенесся душой и телом в самые что ни на есть горние обители из гимнов. Стены оделись яшмой и хрусталем, ноги утонули в тонкой золотой пыли тамошних сияющих улиц, и на лугах, где пасутся друг подле друга лев и лань, на берегу реки, чьи хрустальные воды берут начало у самого престола Господня, рядом с херувимами и серафимами, перебирающими струны сладкозвучных лир и арф на вечном пиру любви, он пел и славословил во веки веков благословенное имя Агнца Божия.

На исходе этой мимолетной вечности Блондинка Мирейя отняла губы от его губ, вырвала у него из рук рисунок, на который едва бросила взгляд, и умчалась к себе домой. Идельбрандо дель Кармен еще немного постоял в полутьме, приходя в себя после поцелуя. Он чувствовал, что кости его вдруг стали просвечивать сквозь кожу и отливать священной бронзой. В церкви он еще ни разу не сподобился Крещения Святым Духом, но ни капельки не сомневался, что ощущения должны быть именно такие.

Чтобы не упасть в обморок, он опустился на скамейку, спиной к столу. Открытая дверь, словно дырявый флаг, мягко трепыхалась на ветру. Запах взрослых духов Блондинки Мирейи еще плавал в комнате (вероятно, так пахли сандал и мирра из Священного Писания).

Издалека — или из глубины души, он не мог точно утверждать — доносились в теплом ночном воздухе то заунывные голоса братьев и сестер, выводивших “Кровь Иисусова сильна”, то гортанные завывания коллектива “Рикардито и его котяры”, горланящих “Тутти-фрутти”.

И этот миг, обещавший стать началом первой любви, оказался не чем иным, как жалким концом. На следующий день,

возвращаясь после продажи газет, он узнал, что один из кузенов Блондинки Мирейи по прозвищу Водоропсих, разыскивает его и собирается набить морду. Он отчетливо помнил, что Водоропсих первым обозвал его попкой — раньше Идельбрандо дель Кармен такого оскорбления не слыхал, — когда, соблазнившись объявлением на воротах дворика, купил у него воздушного змея. Это было через два дня после приезда в Антофагасту.

Примерно в час дня они встретились у церкви. Водоропсих, который был на два года старше и гулял с Блондинкой Мирейей с незапамятных времен, бросил на него убийственный взгляд.

— Дорожку мне перейти захотел, евангеленыш сраный, — сказал он громко, чтобы слышали остальные пацаны.

Потом, угрожающе заведя руку в задний карман штанов, предложил:

— Выбирай, на ножичках или так.

Идельбрандо дель Кармен ощутил сухость во рту. Показал руки без оружия.

— Давай так, — сказал он.

И противник молча налетел на него.

9

Вот-вот должна была прогудеть полуденная сирена, а брат Тенорио Лопес так и не появлялся на Муниципальном Рынке со своей ручной тележкой. Идельбрандо дель Кармен уже час сидел на тротуаре и ждал его. По выходным брат Тенорио Лопес приходил в центр продавать стиральный порошок и пирожные с апельсиновым вареньем. Он отправлялся из Лаутаро в семь утра и к одиннадцати добирался до рынка. Располагался со своими выкрашенными белой краской корзинами у юго-восточного угла здания и принимался выкликать товар неутомимо и печально, как кричит птица овсянка в неволе. В родных краях он долго пел в дуэте, специализировавшемся на мексиканских песнях, и его, по его собственным рассказам, за мелодичный голос и нахохлившийся вид все, в том числе друзья, ласково называли Равнинным Овсянничком.

Ни для кого не было секретом, что пирожные из Пики, которыми торговал брат Тенорио Лопес происходили вовсе не из селения Пика, а с банальной кондитерской фабрики на улице Адамсон. Стиральный порошок, напротив, имел непромышленное происхождение: брат Тенорио Лопес добывал его в пещере в одном из холмов квартала Салар-дель-Кармен, и Идельбрандо дель Кармен даже много раз ходил туда вместе с

ним и его детьми, которые утверждали, что пещера — страшная тайна, и брали с него слово не открывать никому ее местонахождения. Они невероятно серьезно относились к секрету и вели разговоры таким тихим и таинственным тоном, будто обсуждали пещеру Али-Бабы. Белесый порошок, добытый из холма, обрабатывали во дворе церкви, рядом с курятником, всей семьей. Сначала грохотили, потом раскладывали в свертки по полкило и, наконец, чтобы придать фабричный вид, наклеивали этикетку цвета фуксии, на которой плачевного вида готическими буквами была выведена надпись, плод вдохновения брата Тенорио Лопеса: “Порошок грохоченный: стирай, крещеный и некрещеный”. Многие братья и сестры из конгрегации понимающе улыбались и находили текст симпатичным, хоть и слегка неподобающим. Другие, напротив, усматривали в лозунге кощунство и даже жаловались пастору.

Каждую субботу и каждое воскресенье, дожидаясь первого киносеанса, Идельбрандо дель Кармен составлял компанию брату Тенорио Лопесу на углу рынка и помогал с торговлей, а брат Тенорио Лопес, если бывал в духе, веселил его историями из прошлых времен, когда он еще был “мирянином”. Эти истории и анекдоты были смешнее злоключений Тин-Тана и гримас и кувырков Пружинки[1], самых, по мнению Идельбрандо дель Кармена, великих комиков мексиканского кино. После полудня дочь брата Тенорио Лопеса по имени Бытие приносила обед. Она являлась неизменно опрятной и гладко причесанной, поскольку перед отцом строила из себя монашку. Искрящаяся жизнерадостность брата Тенорио Лопеса обращалась пуританской суровостью при виде “отпрыска женского пола”, как он величал дочку: он никогда не улыбался ей и даже не разговаривал на “ты”, как с сыновьями. Забрав обеденный судок, он тут же отправлял Бытие домой, потому что не подобает юной христианке одной шляться по улицам.

Однажды брат Тенорио Лопес угостил его обедом. “Прошу разделить со мной мачитун[2] из лосося с луком, брат Идельбрандо”, — так он выразился. Когда судок наполовину опустел, брат Тенорио Лопес, отпив с удовольствием из флакона из-под микстуры, припрятанного между белыми корзинками с товаром, шутливо заметил, что для оживления мачитуна не хватает только болеро Лучо Барриоса. “И бутылочки

1. Тин-Тан (Герман Вальдес, 1915–1973) и Пружинка (Адальберто Мартинес, 1916–2003) — мексиканские актеры.
2. Мачитун — у чилийских индейцев мапуче церемония обращения к предкам, проводимая для исцеления больных.

красного", — отвечал Идельбрандо дель Кармен, желая удивить сотрапезника ранним знанием мирских обычаев.

"Ошибаетесь, брат Идельбрандо, — возразил брат Тенорио Лопес, потрясая загадочным флаконом из-под микстуры от кашля. — Болеро Лучо Барриоса — единственное, чего тут не хватает". Он снова отвинтил крышку, поднес флакон к носу, любовно вдохнул, словно дорогие духи, и с наслаждением припал к горлышку. "Молча попка орешки щелкает", — сказал он, оторвавшись от флакона, и ехидно подмигнул. Потом утер губы мешковиной с корзинки и шутливо пригрозил. "Молчи, попка, а не то брат Хосе Олегарио Триго узнает, что его сынуля день-деньской околачивается по мирским делам в центре".

Так Идельбрандо дель Кармен узнал, почему от брата Тенорио Лопеса всегда попахивает, почему так часто он бывает в приподнятом настроении и так обожает детские мятные конфетки. В карманах у брата Тенорио Лопеса всегда хрустели пастилки "Амбросоли". Даже в церкви, когда евангелисты коленопреклоненно с закрытыми глазами обращались к Господу, до Идельбрандо дель Кармена долетал безошибочно узнаваемый звук разворачивающейся конфетной обертки.

Брат Тенорио Лопес и сестра Орланда Пурисима дель Росарио, его благоверная, были родом из южного селения Путу близ города Курико ("Между Курико и мандами", — говаривал брат Тенорио Лопес, если его не слышали евангелисты. И тут же, лукаво улыбаясь, исправлялся: "Простите, Андами"). В Антофагасту они переехали меньше года назад. И хотя она исповедовала евангелистскую веру всю жизнь, а он — всего пятнадцать лет, брак их был скреплен телом и духом: муж не отличался набожностью, зато жена была набожна за двоих. Сестра Орланда Пурисима дель Росарио родилась в самой что ни на есть католической семье и в возрасте нескольких месяцев едва не скончалась от неведомого недуга. Отчаявшиеся родители, совершившие уже паломничество ко всем святым и богородицам в округе, перепробовавшие все лекарственные травы и прочие зелья местных знахарей, — так рассказывала она сама историю собственного спасения и исцеления — решили напоследок отнести ребенка в маленький деревянный храм евангелической пятидесятнической церкви. Там они преклонили колени пред амвоном и под громогласные славословия Господу предали тело и дух дочери в руки Божии, чтобы Он вершил над ней волю. И Бог в своей безмерной любви и милосердии в тот же вечер изъявил святую волю, исцелил девочку и спас ей жизнь. С тех пор родители обратились в евангелическую веру и пребывали в

ней до самой кончины, настигшей их почти одновременно. Перед смертью они взяли с дочери, к тому времени уже предприимчивой юной девицы, обещание никогда не сворачивать с пути истинного.

В истории брата Тенорио Лопеса, которую он не особо убедительно рассказывал на пятничной службе, не содержалось и трети духовности, отличавшей рассказ его супруги. Бродя в прежние времена широкими мирскими дорогами, он стяжал дурную славу неисправимого бабника, горького пропойцы и пропащего игрока. Но Господь святой своей кровью омыл его грехи и удалил от него скверну и соблазн земного мира, и вот теперь он может публично свидетельствовать об этом как вовсе новый человек, благодарный Спасителю, ибо Иисус благословил его с лихвой и даровал не только жизнь и здоровье, но и многочисленное семейство, лучший дар небес, по его мнению. У брата Тенорио Лопеса имелось и свидетельство исцеления, но он стеснялся делиться им с конгрегацией, считая, что болезнь, от которой он избавился божественным промыслом, не того свойства, о котором следует распространяться в присутствии стольких молодых сестер.

Преблагочестивая сестра Орланда Пурисима дель Росарио, недолюбливавшая свои два последних имени, слишком уж католические, весила в три раза больше своего худосочного мужа. Ее, статную, белокожую и гармонично полнотелую, словно оперная певица, очень любили в общине. Она носила косу до пояса, широкие юбки кофейного цвета, напоминавшие власяницы, и больше всех трудилась в вертограде Господнем: навещала больных, помогала чем могла нуждающимся, ласковым словом утешала горюющих, руководила церковным хором, учила сестер конгрегации Тавифы и на уличных службах так пламенно проповедовала слово Божие, излучала такую благодать, что даже самые жестокосердные слушатели, вдохновленные ее речами, отрывались на несколько сантиметров от земли. Господь наградил ее могучим сопрано, сотрясавшим на службе все пространство храма, а также ниспослал самый редкий и прекрасный дар, известный пятидесятникам: дар получать гимны, облеченные в слова и музыку, напрямую от Духа Святого. И все гимны и песни, которые она, впав в транс в разгар всеобщего оживления, вдруг заводила, полня храм руладами оперного ангела, включались в церковные сборники и пелись с почтением и радостным рвением во всех конгрегациях страны.

Брат Тенорио Лопес впервые увидал сестру Орланду Пурисиму дель Росарио, как раз когда та пела с евангелистами на улице в их родном селении, и пленился ее голосовыми

данными. Он воспылал идеей отвратить девушку от лона церкви и привлечь ее в качестве первого голоса в дуэт, специализировавшийся на мексиканской музыке и пришедший к тому времени, чего уж там, в полный упадок. С этой целью, а также с неблаговидными намерениями приволокнуться за сестрой Орландой Пурисимой дель Росарио и склонить ее к браку брат Тенорио Лопес начал посещать службы. Но ему пришлось присутствовать на стольких службах, чтобы убедить ее в "серьезности намерений", столько раз сопровождать на уличное проповедование, чтобы доказать свою любовь, так втянуться в неустанную молитву и духовное бдение, так часто преклонять колени рядом с любимой, разучить и распевать столько гимнов вместе с ней, что, когда ему удалось, наконец, вырвать согласие принять его руку и сердце, "брат" Тенорио Лопес (как его уже язвительно клеймили бывшие дружки) обнаружил, что сам отпал от мексиканского дуэта и влился в славный хор Христов. Когда они с сестрой Орландой Пурисимой дель Росарио стояли у одного аналоя и пели (он — словно птичка, она — словно небесная сирена), заслушивалась и восхищалась вся церковь.

Однако старый аккордеон, укрытый вышитой тряпицей, все еще стоял у брата Тенорио Лопеса в углу комнаты. На закате, когда жена и дочь хлопотали по церковным делам, а сыновья соскребали со стен пещеры стиральный порошок, бывшего музыканта, бывало, охватывала тоска по прежним временам, и он с замиранием сердца, как давно отошедший от дел преступник, решившийся достать старое оружие, сдувал пыль со своего обожаемого мирского инструмента. Он ласково гладил аккордеон, настраивал с превеликим тщанием, а потом, словно бы помимо воли, убедившись, что кругом никого, тихонько наигрывал какое-нибудь старое мексиканское корридо из тех, что все еще живо порхали у него в памяти. Любимой вещицей оставалась "Семь лиг", неподражаемое революционное корридо, прославлявшее знаменитого коня Панчо Вильи[1].

В счастливом браке родилось семеро детей: шесть мальчиков и девочка. Сестра Орланда Пурисима дель Росарио в отместку за католические имена, навешенные на нее родителями, окрестила каждого в честь какой-нибудь библейской книги. Мальчиков, таким образом, звали Неемия, Ездра, Иона, Михей, Иов и Иисус Навин; девочке, старшей, дали имя

1. Панчо Вилья (1878–1932) — легендарный герой Мексиканской революции.

Бытие. От смуглой четырнадцатилетней Бытие, у которой на забавном круглом личике три родинки образовывали равнобедренный треугольник, исходила мощная плотская чувственность — Идельбрандо дель Кармен мог подтвердить, поскольку был знаком с ней не понаслышке.

Когда прогудела полуденная сирена, Идельбрандо дель Кармен, все еще сидящий на тротуаре, смирился с мыслью, что брат Тенорио Лопес не придет. Либо ему крупно повезло, и он распродал весь товар еще по пути, либо подвело какое-нибудь колесо у тележки: правое давно норовило отвалиться. Так что Идельбрандо дель Кармен поднялся, размял ноги и, поскольку идти обедать на рынок было еще рано, решил прогуляться по площади в поисках своих любимых фокусников.

Нырнув в бурлящую народом ярмарку, он то и дело здоровался с мальчишками, которые лавировали между лотками и продавали пакетики с приправами. Почти каждый день он видел их на центральных улицах или в дверях кинотеатров. Некоторые, как и он, торговали газетами, а после на ярмарке работали по лимонам из Пики, крупному чесноку, южному тмину, красному жгучему и черному перцу, ядреный, хозяйка, берите — не пожалеете. Он же этим не промышлял никогда, довольствуясь прибылью от тридцати трех номеров газеты. Прибыли вполне хватало на завтрак в забегаловке Мириам, обед в верхнем этаже рынка (меню он менял через день: фасоль с перловкой либо говяжья похлебка с кукурузой и тыквой; сегодня была очередь фасоли с перловкой) и чай с хлебцами вечером в кафе у торговой галереи “Хардинг” напротив кинотеатра “Латорре”. Ужином он пренебрегал. Иногда, если рано возвращался, перед сном делал себе миску каши из жареной муки погуще — чтоб ложка стояла, — какую готовила мама на завтрак в Альгорте. Остальные деньги он откладывал на кино. Если не хватало, старался разжалобить билетеров, и его пускали за полцены.

С тех пор как в декабре он бросил школу после шестого класса, Идельбрандо дель Кармен полюбил дневные сеансы. Переход от яркого дня на улице к внезапной ночи в кинозале (и обратно) по мановению бархатных портьер казался ему чем-то волшебным. Если картина была хорошая, особенно мексиканская, он оставался на второй сеанс. По средам, когда за один билет разрешалось сидеть сколько угодно, заходил в кино в два часа дня и не выходил до часу ночи. Ближе к вечеру, в перерыве или на титрах отпрашивался у билетера и выскакивал за бутербродом с колбасой. Каждый из трех фильмов он просматривал по три раза, и никогда они ему не наскучивали.

Вдруг в толчее ярмарки, почти не желая того, машинально Идельбрандо дель Кармен выбросил в сторону руку, стремительную, словно кнут Зорро, ухватил яблоко и в мгновение ока вгрызся в него зубами. Набив рот яблоком и утирая липкий сладкий сок с подбородка, несказанно довольный жизнью, он петлял дальше по кипящим закоулкам площади. Воровать яблоки он навострился, как только стал оставаться на целый день в центре. Если бы его мать на небесах знала, чем промышляет ее любимый сыночек...

Наконец, на одном углу он столкнулся нос к носу с фокусником. Тот раскладывал свой скарб, присев на корточки так же, как Идельбрандо дель Кармен присаживался над деревянным ящиком в уборной. Лицом низкорослый фокусник походил на индейца; на нем были грубые сапожищи, как у погонщика скота, и темный потертый костюм; иссиня-черная женская шевелюра рассыпалась по плечам. В данный момент он устанавливал стеклянный стакан на раскладном столике. На земле, точнее на расстеленной газете, стоял крепенький красный чемоданчик и лежал таинственный коричневый кожаный мешок, где наверняка спала свернувшаяся в кольца змея.

Маленький индеец (Идельбрандо дель Кармен склонялся к мысли, что он перуанец) спокойно налил в стакан воды из бутылки из-под писко[1]. Потом принялся складывать из газеты большой кулек. Готовый кулек он положил на столик рядом с ножницами. Раскрыл красный чемоданчик, полный крестов и амулетов в оберточной бумаге, и тоже поставил на столик. Невозможно долгий ритуал приведения в порядок реквизита он свершал изумительно терпеливо. Затем извлек из кармана пиджака кусок белого мела и долгим движением, с той же невыносимой педантичностью старого индейца, начертил полукруг на асфальтовом тротуаре. Отпил глоток воды, утер губы, энергично хлопнул в ладоши и произнес: “А нука!”; вооружился деревянной указкой, снова сел на корточки и стал постукивать по загадочному кожаному мешку и дружелюбно приговаривать, обращаясь к предположительно пребывавшей внутри змее:

— Ну-ка, ну-ка, сеньорита Пресмыкающаяся Отилия Фиделиса! Просыпаемся, красотка, пора работать!

Услышав интонации фокусника, Идельбрандо дель Кармен понял, что не ошибся: перед ним действительно был перуанец.

1. Крепкий алкогольный напиток, разновидность виноградной водки. Производится в Перу и Чили из винограда сорта мускат.

10

Идельбрандо дель Кармен назубок знал весь репертуар нехитрых уловок, обманок и завлекалок, составлявших ремесло фокусников. Он мог точно предсказать, каким именно цыганским манером они сейчас будут дурить простодушных, и от начала до конца изучил всю их уличную литургию.

Собственно, он мог описать и каждого типичного представителя публики, внимавшей ярмарочным шарлатанам. К примеру, он совершенно безошибочно по чересчур наивному выражению лица вычислял бессовестных подставных; узнавал безработных, которым просто требовалось убить время и заглушить ненадолго пронзительное урчание пустого брюха, или тех, кто, обалдев при виде стольких диковин, непременно — этих легче всего было распознать — соблазнится покупкой талисманов, зелья от мужского бессилия или крохотных мешочков с лесными семенами и травами, верными средствами от всякого сглаза, порчи и прочего колдовства. И даже указать, кого из этих несчастных простофиль — у таких взгляд стекленел быстрее всего — умыкнут на сеанс гадания по руке или на картах в липкой комнатенке дешевого пансиона.

С тех пор как он впервые остановился и вслушался в сплошным потоком изливающуюся речь одного из этих субчиков (который эффектно появился в черной шелковой рубашке с вышитым на спине золотым кондором, но продавал, как и все, банальные амулеты — от приспособлений для удачи в делах и молитв для лечения неизлечимых хворей до надежных заговоров, с помощью которых можно заставить сбежавшего возлюбленного приползти обратно на коленях), с тех пор как он впервые жадно протолкался к очерченному мелом полукругу, уличные маги стали всякий раз (за неподражаемо добродушное и наивное выражение лица) брать его в ассистенты. Из всех ребят, стоявших в первом ряду, именно ему обматывали шею змеей и велели — "громче, громче, вас не слышно, секретарь!" — повторять абракадабру, специально выдуманную, чтобы подсластить пилюлю собравшимся лохам.

Выкроенный с рождения, как все застенчивые люди, по мерке трех "м" — миролюбивый, молчаливый, мечтательный — и, как все застенчивые люди, способный подчас на самые смелые безрассудства, Идельбрандо дель Кармен впервые согласился ассистировать фокуснику только из любопытства почувствовать, каково это, когда у тебя на шее вместо галстука болтается двухметровая змея. Спустя несколько дней, проведенных у рынка, и нескольких ползучих экземпляров, обмотанных вокруг шеи, он стал постепенно привыкать к липкой

ледяной коже рептилий и их магнетическим злокозненным сокращениям и извивам (неизбежно напоминавшим ему о Змее из Эдема). Но теперь, в свои полные тринадцать, он стал щепетильнее и заматерел и, хотя по-прежнему восхищался усыпляющим бдительность искусством продавцов чудес и удивлялся их непостижимым трюкам, больше не соглашался выступать у них аколитом.

Фокусник меж тем уже приготовился выступать. Его инкские черты и иссиня-черные волосы, спадавшие на темный костюм, собрали достаточно любопытствующих для первого сеанса. Он помпезно извлек из мешка устрашающую змею, размеры которой делали честь ее долгому имени. Сонно растягивая кольца, змея переливалась на чесоточной бархатной тряпице, разложенной на земле.

После обязательных вступительных ритуалов (некоторые делали пассы руками; этот вырезал какие-то фигурки из газетного кулька) и юмористического зачина для публики фокусник, смешно управляя своим несильным голосом, пенно плюясь свозь уголки рта, принялся разглагольствовать об ужасных бедах, которые люди по злому умыслу, из ревности или профессиональной зависти умеют причинить ближнему, просто смешав кладбищенскую землю со всякой гадостью; поистине ужасных бедах, драгоценные мои, способных приковать жертву к постели на всю оставшуюся жизнь или, того хуже, обречь на то, чтобы жертва покрылась чешуей и пресмыкалась по земле, как животное, дамы и господа, извивающееся сейчас у ваших ног, и это еще что, ведь упомянутые подлые мерзавцы, недостойные Божией милости, могут сделать так, чтобы неугодный им бедолага изрыгал ртом отвратительную зеленую пену и повсюду оставлял за собой зловонный след собственных испражнений, Богом вам клянусь, Боженька все видит, видит, что я правду толкую, братушки, — тут индеец общеловывал свои скрещенные пальцы и красноречиво утирал пот тщательно отглаженным белым платком, — и пусть маловеры, а таких всегда хватает, не усмехаются, пусть всегдашние циники не потешаются над ним, ибо прямо сейчас, сей секунд, у них на глазах он покажет, как обрабатывают своих жертв эти отвратительные типы, эти испорченные, порочные субъекты, а ведь, послушай меня хорошенько, брат, один такой может оказаться твоим соседом или лучшим другом, а потому никому нельзя доверять, даже, брат, собственной тени, серьезно тебе говорю! А теперь пусть все обратят внимание, пусть очень внимательно отнесутся к тому, что произойдет с водой в этом стакане, с водой, которая, как все могут наблюдать невооруженным глазом, чиста и прозрачна, словно мате-

ринские чувства, имеющие уши да слышат, имеющие глаза да смотрят и видят, как эта чистая, прозрачная вода сейчас преобразуется в отвратительную жидкость кровавого оттенка, стоит мне только насыпать в стакан этого порошка, внимательно смотрим, братья. Или, может, они не знают, что это за безобидный с виду порошок? Ах, не знают? Так он им скажет. С должным уважением к присутствующим дамам и детям он скажет, что этот порошок, который он только что насыпал в стакан, есть не что иное, как земля с погоста, благословенная кладбищенская земелька, брат, каковую погрязшие в пороке личности смешивают с нечистотами, нечистотами, описать которые перед собравшимися достойными представителями рода человеческого у него не подымается рука (тут Идельбрандо дель Кармен в связи в кладбищенской землей вспомнил о супружеской паре старичков-евангелистов, которые жили в квартале, выстроенном над старым кладбищем, известном как Кладбище Зачумленных, по соседству с бывшим легочным санаторием. Квартал возник в результате стихийного захвата земель всего пару лет назад, и его жители потрудились убрать только те гробы, что стали поперек во время закладки фундаментов. Прочие, находившиеся почти у поверхности земли, так и остались под напольными досками. Старички с большой непосредственностью рассказывали, что их дом стоит в аккурат над братской могилой).

И в тот миг, когда инка, погруженный в странный экстаз, потея как конь, обегал полукруг публики, демонстрировал стакан, полный омерзительной субстанции, напоминавшей смесь крови с мозгами, и просил присутствующих дам и господ не бояться, ибо сейчас он явит им силу чудесного противоядия, и, не успеют они оглянуться, зараженная вода вновь обретет чистоту и прозрачность, какими обладала, родившись на белоснежных горных вершинах, в тот миг, когда отвратный стакан проплывал у него перед глазами, Идельбрандо дель Кармену громко рыгнули в ухо. Ему не пришлось оборачиваться, чтобы узнать обидчика.

Это был Ущипни-Луну.

И когда фокусник взялся искать среди собравшихся мальчика, который подержал бы стакан с отравой, секретаря, которому можно доверить настоящую мужскую работу, храбреца, который не убоялся бы и самого дьявола, наряженного тещей, помощника, который взял бы на руки Пресмыкающуюся Отилию Фиделису, Ущипни-Луну пихнул его вперед и проорал:

— Вот он хочет!

Идельбрандо дель Кармен чуть не упал. Но уцепился за стоявшую рядом толстую сеньору и удержал равновесие. Ос-

лепленный парами ярости, слишком долго утопавшей в глубинах детского сердца, видя все вокруг словно бы в лиловом мерцании, он с силой сжал кулаки и сказал себе, сейчас или никогда, хватит терпеть дебила, говнюк долговязый, сучий хвост... Он резко развернулся, сгреб длинного за загривок и что есть мочи толкнул вперед, одновременно ставя подножку. В падении изумленный Ущипни-Луну успел утянуть его за рукав шерстяной кофты вниз, и оба, вопя, покатились прямо в круг. Опрокинули складной столик, разбили стакан с отравленной водой и сверкающим шлейфом разметали по всему тротуары крестики и амулеты.

В последнем кувырке Ущипни-Луну не повезло, и он оказался снизу. Он яростно отбивался, пытаясь вернуть себе более выгодное положение, и громко поносил противника, а Идельбрандо дель Кармен в неистовстве, в бешенстве, закусив губу, не отвечая на оскорбления и вообще не произнося ни слова, колотил его по лицу что было сил. Народ тем временем оттер в сторону потрясенного потомка инков, напрочь забыл об очищении воды, с радостными криками расчистил место для драки и принялся горячо болеть, как водится, за меньшего из двух соперников.

Внезапным отчаянным тычком Ущипни-Луну сумел, наконец, стряхнуть Идельбрандо дель Кармена и, отфыркиваясь по-звериному, сам уселся на него верхом. Ухмыляясь ухмылкой убийцы, он приступил к ожесточенному расквашиванию физиономии врага. Изо рта у него стекала слюна, как у идиота, и он методично наносил удары то справа, то слева, отчего голова Идельбрандо дель Кармена болталась, словно у набитого опилками чучела.

Когда Идельбрандо дель Кармен уже думал, что совсем пропал, и кровь рекой текла у него из носа, он, словно по божественному наитию, стремительно отбросил руки назад, схватил безмятежно нежившуюся у его головы змею и быстро накинул ее на шею растерявшемуся Ущипни-Луну.

До этой минуты опешивший несчастный индеец ничего не предпринимал и только с ужасом наблюдал за дракой, вцепившись в свои жесткие космы, пока зрители пользовались случаем и растаскивали свинцовые крестики и обереги. Но теперь его каменное лицо побагровело от гнева, и он перешел к действиям. Изрыгая проклятия в адрес “чертовых сопляков, которые человеку спокойно поработать не дадут”, он принялся пинать дерущихся начищенными сапожищами на толстой подошве.

Идельбрандо дель Кармен на четвереньках метнулся сквозь густой лес ног, расступившийся перед ним, как Черм-

ное море перед народом Моисеевым. Ущипни-Луну с искаженным от ужаса лицом катался по земле, стонал и беспорядочно махал руками, тщетно пытаясь стряхнуть флегматичную Пресмыкающуюся Отилию Фиделису, которая невозмутимо расслабила позвонки и кокетливо обвернулась вокруг его шеи.

Стычка длилась не больше трех минут.

11

Тяжело и шумно сглатывая воздух, как загнанный зверек, Идельбрандо дель Кармен двумя прыжками преодолел лестницу, ведшую в подвальные уборные Муниципального Рынка. Он стремился не столько отмыть шоколадного цвета корку крови, покрывавшую все лицо, сколько затеряться в запутанном лабиринте общественных писсуаров на тот случай, если враг вздумает пуститься в погоню.

Некоторое время он просто стоял в полумраке и ждал, пока уймется дыхание и суставы в коленках перестанут быть похожими на старые тряпки, а потом занялся осмотром полученных ранений: на одном локте кровоточила содранная кожа, на обеих коленках зияли ссадины, мизинец и безымянный палец правой руки были слегка оцарапаны. В облупленном зеркале над рукомойником он разглядел фингал, за которым полностью терялся левый глаз. Но больше всего Идельбрандо дель Кармена огорчило плачевное состояние зеленой кофты из чесаной шерсти, которую отец купил ему чуть больше месяца назад к рождественской трапезе. В кофте образовалась безобразная дыра в форме буквы “Г” на локте, и не хватало двух пуговиц. Пеняя на эти повреждения куда горше, чем на собственные травмы, Идельбрандо дель Кармен снял кофту, внимательно осмотрел и, убедившись, что она больше нигде не порвана, аккуратно повязал на пояс.

Отмывая кровь, он подумал, что, в конечном итоге, ему повезло, и, несмотря на синяк и прочие увечья, он еще легко отделался. И если бы не спасительная идея прибегнуть к скользкой Пресмыкающейся Отилии Фиделисе, ему бы пришлось гораздо хуже. “Самсон бился ослиной челюстью, а я — заклинательской змеюкой”, — сказал он себе не без гордости. А потом ему на ум пришла библейская история про Давида и Голиафа.

Еще раз сполоснув ссадины водой из-под крана, он, просто чтобы убить время, закрылся в кабинке. Не спуская штанов, присел отдохнуть на замшелый унитаз. Посидел немного, размышляя. Вскоре всепроникающая вонь оказала

действие на его кишечник, и пришлось спустить-таки штаны и вскарабкаться на унитаз. Оправиться — мать с детства приучила его так говорить. И после двух лет в городе он еще не приучился оправляться сидя. Не потому что брезговал замызганными общественными уборными, а потому что привык всегда делать это на корточках посреди голой пампы. И даром что на прииске он, как и все дети, подтирался камушком, ему казалось, что оправляться на просторе пампы, где весь воздух планеты очищает легкие, куда лучше для здоровья, чем запираться в тесной липкой будке с непременной черной вонючей лужей на полу.

Идельбрандо дель Кармен задумался о сеньоре, которая мыла уборные и брала плату за вход. Словно бессонная больная рептилия, она дневала и ночевала в глубине этой темной грязной норы. Он вспомнил, как однажды в школе, только ради того, чтобы вывести учителя из себя, заявил, что, когда вырастет, хочет стать мусорщиком. И теперь сказал себе, что такая работа на свежем воздухе в тысячу раз лучше, чем занятие, доставшееся сеньоре. Балагуры-мусорщики из их квартала часто напевали или насвистывали веселые песенки, сноровисто выполняя свои обязанности, но, как ни старался, он не мог себе представить, чтобы сеньора, погребенная в подвальном туалете, мурлыкала модную песню.

Из всех общественных уборных, что ему приходилось посещать в течение дня в центре, эти, при Муниципальном Рынке, безусловно держали пальму первенства по антисанитарии. На втором месте находились уборные на площади Колумба. Бывало время, когда уборные на площади Колумба, главном месте прогулок горожан, являли собой худшую мерзость запустения, чем туалет в баре “Джонни” — а это уже о многом говорит. Что касается пресловутых туалетов в кинотеатрах, то самыми отвратными признавались те, что в “Империи”, тесные и темные. Их тошнотворный испорченный дух делал практически невозможным просмотр кинокартины на балконе. Туалеты “Националя” не отставали. А уж нужники скабрезного кинотеатра “Латорре” били конкурентов по всем статьям — и по застарелому запаху мочи, и, в особенности, по вопиющей непристойности рисунков и надписей на стенах. Плюс отягчающее обстоятельство сального свойства: на каждом сеансе, вне зависимости от времени суток, уборные кишели скрытыми педерастами, которые в перерывах не давали спокойно пописать даже мальчикам помладше Идельбрандо дель Кармена.

Прежде чем покинуть подвал, Идельбрандо дель Кармен подумал об уборной у них дома, скромной деревянной по-

стройке в глубине церковного дворика. Ею пользовались три семьи, а в дни служб — еще многие братья и сестры, и все же на стенах ни разу не появилось ни единой надписи. В смысле, ни единой неприличной. Потому что других как раз было хоть отбавляй. Совсем недавно, к примеру, кто-то известил при помощи простого карандаша и цветистого шрифта: "Бог есть любовь". Через несколько дней добавилось написанное более мелким, но и более твердым почерком: "И огонь поядающий". А однажды брат Тенорио Лопес, помирая со смеху, рассказал ему про надпись, которую пришлось замыть водой с порошком, прежде чем ее заметила сестра Олимпия Паласиос ("сестричка-губки-куриной-гузкой" тут же побежала бы пастору жаловаться). По словам брата Тенорио Лопеса, надпись гласила примерно следующее: "Юной сестре, что зачать не смогла и мечтает нянчить дитятю: меня кличут Духом Святым". Но брату Тенорио Лопесу большой веры не было: скорее всего, он сам надпись и выдумал.

Вынырнув на свет Божий из мрачной бездны уборных, Идельбрандо дель Кармен направился прямиком к рыночным кафешкам. На засаленных ступенях лестницы на второй этаж он обнаружил, что ободранный локоть все еще сильно кровит.

Наверху, как обычно в субботу после полудня, все места, где можно было отобедать, уже ломились от голодных клиентов. Одинокие мужчины орудовали ложками споро и шумно; плохо одетые женщины выскребывали тарелки почти с благоговением, ни за что не поднимая глаз; пары с одной вилкой и одним ножом на двоих жевали молча и дружно смотрели в одну и ту же точку в пустоте; большие семьи производили невероятный гвалт — дедушки, не сняв шляп, втягивали губами суп, дети визжали и кидались хлебными крошками через стол. Запахи свежей стряпни и резкие ароматы приправ — лавровый лист в лапше, чеснок в жарком, шкварки в фасоли, петрушка в похлебках, перечно-луковый соус к рыбе, томатный к жареному мясу — превращали воздух в закрытом помещении в теплый и густой душистый суп.

Стараясь остаться незамеченным, Идельбрандо дель Кармен пробрался к кафешке, где всегда обедал. Не смотря никому в лицо, сел спиной к стенке за столик, задвинутый в самый угол у входа на кухню. Сеньора, принимавшая заказы, принесла ему прибор и нарезанный ломтями пышный белый хлеб, и сочувственно поинтересовалась, что стряслось с глазом. Идельбрандо дель Кармен улыбнулся с деланым безразличием и отвечал, что упал, пока бегал с газетами.

— Фасоль с перловкой? — скорее утвердительно, чем вопросительно, произнесла сеньора.

Идельбрандо дель Кармен кивнул.

Кафешкой заправляли четыре человека. Матрона с пронзительным голосом готовила; высокая, очень заботливая сеньора обслуживала столики; неспешный мужичок с опечаленным лицом тоже обслуживал столики, но разносил чаще напитки, чем еду; учтивая старушка, маленькая и толстенькая, с желтыми волосами и веснушчатым двойным подбородком, сидела за столиком у входа, поминутно вздыхала и исполняла обязанности кассира. Кассовым аппаратом служил жестяной сундучок из-под английских карамелек с пасторально-замковым пейзажем на крышке. Старушка томно складывала на этой крышке ручки, как у фарфоровой куклы, с продолговатыми розовыми ноготками.

Идельбрандо дель Кармену всегда чудилось нечто евангелическое во всех этих людях. Может, потому он сразу и выбрал эту кафешку, как только поднялся сюда впервые. Впрочем, название заведения тоже сыграло роль: “Кафе Росита”. Уже потом он заметил, что только здесь столы накрывали не клеенкой, а белоснежными скатертями, скроенными из мучных мешков. В точности такие скатерти его мама шила и вышивала в Альгорте желтыми грушами и красными яблоками (у груши — непременно два зеленых листочка, у яблока — один; хотя ему до сих пор не доводилось видеть настоящих яблок и груш с листочками на черенке).

Что-то в выражении лиц работниц кафешки (аура христианского простодушия, печать благодати), их скромные платья и длинные седые косы делали их похожими на самых старых сестер из конгрегации. От евангеличек их отличала одна-единственная деталь: траур. Пятидесятники никогда не носили траур по ушедшим близким. “Траур — в сердце”, — говорила его мама соседкам в Альгорте всякий раз, когда они сопровождали ее на похороны очередного ангелочка. За десять лет на прииске Альгорта Господь призвал семерых маминых младенчиков, не доживших до года.

Работницы “Роситы” носили длинные темные юбки, а также круглые броши из черной ткани и черные же головные платки. Их траур, некогда свидетельствовавший о полной безутешности, вкрадчивые годы обратили в мягкое спокойствие. Кто-то, безумно любимый ими, скончался очень-очень давно, и они навсегда позабыли снять избитые атрибуты скорби. Однажды Идельбрандо дель Кармен поведал сеньоре, приносившей ему обед, что он сын евангелистов, а она, ласково улыбаясь, потрепала его по подбородку и отвечала, что это заметно по его открытому взгляду примерного мальчика. И да простит он ее, она, конечно, уважает все

верования и религии, но не может себе представить церковь без креста и колокольни. Особенно, без колокольни. Колокола чудотворны; если их должным образом освятить, у них появляются сверхъестественные свойства. И рассказала историю, которую в детстве слышала от матери: про страшный пожар в их родном селении, случившийся во время засухи. Воды для тушения неоткуда было взять, и огонь мог запросто сожрать все дома, как вдруг престарелый падре, внезапно вразумленный божественным провидением, повис на колоколах и забил в набат что было сил, так, чтобы сами ангелы небесные услыхали. И чудесным образом от громкого звона блаженных колоколов прожорливое пламя стало истощаться и, в конце концов, угасло тихо и мирно, словно свечка, накрытая стаканом, без единой капли воды.

Медлительный мужичок с мученическим выражением лица также соблюдал траур: к карману рубашки у него была пришита черная лента, а на шее — повязан черный платок. Он был дико похож на одного брата из конгрегации, обладавшего даром исцеления. Брат этот, по имени Наталио Агисньядо, вместе с прочими старцами каждое воскресенье помазывал и благословлял в церкви всех болящих. На расстоянии также помазывались больные, простертые у себя в домах или на больничной койке; стоило только попросить и назвать имя. Для помазания и ниспослания божественного исцеления больных в церкви приглашали пройти вперед и во имя Иисуса Назарянина накладывали на них, коленопреклоненных, руки. Однажды Идельбрандо дель Кармен попросил о помазании по причине банальной головной боли. Брат Наталио Агисньядо возложил ладони ему на макушку и принялся взывать к Господу и бранить злого духа, внушая, что тот не имеет никакой власти над телом невинного отрока. “Ты тут чужой, — яро и громогласно убеждал брат беса, — а потому велю тебе, нечистый, священным именем Иисуса Назарянина, немедленно покинуть естество этого малого чада Божия, ибо святая кровь Господня омыла нас, очистила от всякого греха и победила тебя. Аминь”. Идельбрандо дель Кармен почувствовал, как душа его электризуется, как он становится невесомым и прямо на коленях взмывает на несколько миллиметров над деревянным полом. И только поздним вечером, укладываясь спать в каморке, он понял, что голова совершенно перестала болеть еще с момента помазания.

О маме в кафе “Росита” ему напоминали не только белые скатерти, но и вкус и запах здешней еды. Особенно фасоли с красным перцем — в которую он уже запустил ложку. Он улавливал в этой фасоли незабываемый дух и смак той, другой,

что он ел, сидя в Альгорте за большим столом вместе с постояльцами пансиона. До сих пор, даром что был совсем малышом тогда, он с тоской вспоминает, как дрожали стены из цинковых листов, когда в дом шумно вваливались сорок постояльцев пансиона, шахтеров, которых кормила его мать. И как волшебными вечерами самые старые из них засиживались за столом и в колеблющемся свете свечей рассказывали страшные истории про неупокоенные души, про младенцев с золотыми зубами, про привидения без головы и вдов в густых черных вуалях, нападавших на зазевавшихся полуночников. Тараща глаза, Идельбрандо дель Кармен сидел на длинной скамье из неоструганных досок, едва доставая до стола и остекленев от страха (спихни его кто со скамьи — разлетелся бы на осколки, как фарфоровый котик) и с жадностью впитывал каждое слово бобылей-забойщиков. Маленькое сердце фантазера стучало в груди, словно в такт барабанной дроби.

12

Но дело с постояльцами протянуло недолго — точнее, до того дня, как сестра Идельбрандо дель Кармена, Королева Весны, помешалась от любви и не нашла ничего лучшего, чем сбежать с поэтом-лауреатом как была — в королевском платье и жемчужной короне. Брат-боксер уехал еще раньше, а одной матери было не справиться.

Примерно в это же время, после трагической гибели старца, руководившего местной конгрегацией, отца назначили на его место, и службы переместились к ним домой. Старец, глухой, как кусок пемзы, попал под пассажирский поезд, когда, истончившись от благодати и ослабев до комплекции ангела, возвращался на прииск после строгого праведного уединения — время от времени он удалялся в близлежащие холмы умерщвлять плоть и молиться. Он жил один, и, кроме скудной церковной утвари, от него остались только Библия Сиприано де Валеры[1], матрас на ножках да маленькая проволочная клетка, где еще до глухоты почтенного старца обитала канарейка, умершая впоследствии от истощения — в блаженном забытьи он заставлял птичку поститься вместе с ним.

1. Сиприано де Валера (1532–1602) — испанский религиозный деятель и гуманист, ученик и переводчик Кальвина. Библия Сиприано де Валеры (иначе Библия Рейны-Валеры, или Библия Медведя) — один из первых испанских переводов Библии, выполненный Касиодоро де Рейной (1520–1594) в 1569-м и исправленный Валерой в 1602 г. Этот перевод чаще всего используется в испаноязычных протестантских общинах.

Храм переносили не далеко — с улицы на улицу — и не хлопотно: перетащили амвон, в два заезда на телеге транспортировали семь деревянных скамей и повесили табличку “Евангелическая Пятидесятническая Церковь” на тот же гвоздь, где раньше помещалось объявление об обедах и ужинах для постояльцев пансиона. Один необращенный сосед под мухой, околачивавшийся в майке у дверей своего дома, завидев среди вазонов и покровов для амвона пустую птичью клетку, громко предположил, что евангелюги переносят в ней Дух Святый.

Жесткий матрас на ножках отдали молодому брату, который в своей холостяцкой комнатенке спал на полу; в клетку мать Идельбрандо дель Кармена стала прятать мясо, чтобы не добрался кот, а Библию, напечатанную крупнее его собственной, отец оставил себе для ведения служб. На последней странице старец оставил следующую надпись: “Нигде в Библии не нашел я написанным слова ‘Библия’”.

Воспоминания тех лет уже яснее проступали сквозь время. Например, он прекрасно помнил, что зимой, когда плутонический мороз пампы подрывал веру даже самых истовых братьев и сестер, отец часто проводил собрания для двух человек — их с матерью. Однажды Идельбрандо дель Кармен захворал, и мать осталась сидеть с ним и поить травяными отварами. Отцу пришлось начать службу при вопиюще пустых скамьях. Он вверился Господней воле, помолился с всегдашним рвением, вознес все полагающиеся славословия, испросил знак, прочел и истолковал Слово Божие как никогда вдохновенно, с мешочком для пожертвований обошел пустые скамьи, напевая соответствующий гимн, и после конечной молитвы, которой они с матерью вторили через цинковую стену, появился в спальне с сомнамбулическим выражением на лице, залитом слезами: “На службе было полно ангелов”, — сказал он.

За этими, отчетливыми воспоминаниями, если Идельбрандо дель Кармен углублялся дальше в прошлое, всплывали смутные образы его самого, еще не умевшего ходить. Он счастливо улыбнулся, мысленно увидев, как сидит на прямоугольном куске красной парусины и играет с рулеткой без стрелки и двумя фигурками котов из детского тира.

Красная парусина с нарисованными большими черными цифрами представляла собой известную азартную игру, называемую “Большая и Малая”, и вместе с рулеткой и потрепанными котами осталась от маленького парка аттракционов, которым его родители управляли недолгой порой процветания в городе Вальенар. Парк совершенно обанкро-

тился приблизительно в одно время с рождением Идельбрандо дель Кармена.

Подбирая подливку ломтем хлеба, Идельбрандо дель Кармен улыбался себе под нос. Интересно, куда потом подевались эти коты. Как бы ему хотелось застать хоть излет тех прекрасных лет: озорно шнырять в толпе между аттракционами, украшенными гирляндами и разноцветными лампочками, под оглушительную музыку из проигрывателя — так ему описал отец работу парка однажды в выходные, когда после сильного землетрясения они не смыкали глаз всю ночь и проговорили до рассвета, как двое едва встретившихся незнакомцев.

Отец, обычно не слишком любивший распространяться о своей жизни, рассказал и про то, как они лишились парка. Всему виной была проклятая золотая лихорадка. Когда холмы Вальенара превратились в нечто вроде крохотной чилийской Калифорнии, он и его старший сын — боксер, которому в ту пору сровнялось пятнадцать, — почти полтора года дырявили эти холмы, как помешанные. Полтора года псу под хвост. Чтобы выжить, пришлось продать все до последней винтовки из тира, а на костры во время старательских вылазок пошли вывески аттракционов, тряпичные мячи, которые метали в котов, таблички лото, пробковые бочонки с номерами от 1 до 90 и даже продолговатые голубые, красные и желтые рыбки из сырого дерева, использовавшиеся в игре “Чудесная рыбалка”. “Бывало, на восемь метров под землю уходили, а то и больше, и из всей этой уймы земли намывали жалкий грамм золота”, — говорил его старик со слезами на глазах.

Потеряв все, отец решил, что выход только один — вернуться в пампу. В юности он уже попытал счастье в тамошнем “лысом пекле”, как он выражался. Гонял вагонетки в селитряных шахтах прииска Санта-Лаура в кантоне Тарапака, откуда и утек одной безлунной ночью, зарекшись от окаянной пампы до конца дней. Из-за любовных шашней он чуть не подорвался на динамитной шашке. Рогоносец-муж, такой же шахтер, как и он, вызвал его сыграть в шахтерскую рулетку, и отказаться было немыслимо.

Шахтерская рулетка представляла собой занятие позаковыристей рулетки русской. Сперва требовалось приготовить динамитную шашку со шнуром вдвое короче обычного. Затем на песке рисовали круг не больше четырех метров в диаметре — если рассчитывали на двоих человек, — и игравшие с готовой шашкой входили в него. В смертельном поле круга они вдвоем молча поджигали фитиль, а после принимались

перекидывать шашку друг другу, словно в зловещем волейбольном матче. Чем короче становился шнур, тем быстрее кружили и перебрасывались соперники, пока один из двоих в ужасе не выскакивал за круг и не падал не землю. И тогда второй зашвыривал шашку как можно дальше, тоже бросался ничком и дьявольски хохотал, радуясь победе. Иногда из чистого мужского бахвальства в смертоносную рулетку играли даже вчетвером, и не одного шахтера разорвало в этой игре на куски. Остальные по молчаливому согласию выдавали их гибель за несчастный случай на работе.

И в тот раз, когда ему предстояла ужасная дуэль посреди одинокой пустыни, его отец понял, что не должен струсить. Он догадывался, что если выбежит из круга первым, то все равно погибнет, потому что ославленный муж не забросит шашку вдаль, а метнет прямиком в него и убьет на месте, не побрезгует. "Держись, Хосе Олегарио Триго, — сказал ему соперник, отрезая куда больше половины от шнура, чтобы ускорить расправу. — Сегодня ты мне за все заплатишь".

Так что отец, готовый ко всему, вступил в круг, который сам и помог начертить заскорузлым носком башмака. И пока, почти прижавшись лбами друг к другу, они подпаляли фитиль, ни разу не отвел взгляда от вызывающего взгляда противника; тот с уже зажженной шашкой в недрогнувших руках, прежде чем начать жуткое кружение, мрачно перекрестился.

Поначалу, стараясь не оставаться долго против солнца, они перебрасывали шашку, словно хрустальный бокал или священный грааль, с превеликой осторожностью, почти нежно, изучая нервы, руку и сердцебиение врага. Солнце исходило серой; полуденный ветер вихрил по всей пампе и застил глаза мелким горячим песком. От обоих не укрывалось ни одного мельчайшего движения соперника. Пока они двигались по часовой стрелке, отец с изумлением заметил, что воспоминания всей его жизни скручиваются в головокружительный смертельный смерч, движимый странной центростремительной силой. Все прожитые годы складывались в спираль, оканчивавшуюся огоньком фитиля. Огонь выжрал половину шнура, и шашку стали перебрасывать быстрее, как будто обжигаясь. Отец отвел взгляд от горящих жаждой убийства глаз врага и сосредоточился на том, сколько сантиметров жизни оставалось в фитиле; когда осталось не больше мизинца, он поймал шашку и вместо того, чтобы вернуть ее ожидавшему этого сопернику, внезапно замер как вкопанный спиной к солнцу. Один бесконечный миг он продержал шашку в поднятой руке — огонек уже шипел у самого капсюля — и, сделав вид, будто запускает ею в соперника (тот в ужасе рухнул на-

земь, но не выскочил за круг), изо всех сил метнул в отвал отработанной породы и тоже повалился ничком. Они лежали в круге, зарывшись лицом в песок, и тут динамит рванул в нескольких метрах от них. В облаке пыли, после того, как ливень из земли и камней пролился на их спины, враг, уже было записавшийся в покойники, уставился на отца широко распахнутыми жуткими глазами.

Это было часов в пять — на шахте как раз закончилась смена; а в одиннадцать вечера, не забрав получки, отец в чем был ушел с прииска, чтобы как можно скорее добраться до порта Икике и сесть на первый пароход, идущий на юг. Никогда в жизни он не собирался возвращаться в эту Богом проклятую пустыню. И вот, тридцать лет спустя после той истории ему ничего не оставалось, как вновь обосноваться в пампе. Правда, теперь он ехал, как полагается, — женатым и с тремя детьми. Да к тому же в новом качестве рядового Христова воинства.

Они погрузились в легендарный поезд "Юг-Север" и совершили героическое путешествие, служившее ритуалом посвящения отправлявшимся работать на селитре. В этой бесконечной поездке мужикам приходилось по нескольку раз бриться, заунывные дни и ночи сменяли друг друга, за окном тянулась самая лунная пустыня на свете, деревянные сидения монотонно постукивали, устраивались невиданные обжираловки, праздники и попойки с гитарами и аккордеонами, отмечались помолвки, назначались свадьбы, при свете луны совершались прелюбодеяния и преступления на почве ревности, крали кур и золотые цепочки для часов, зачинали детей, рожали детей, делали аборты, справляли поминки по младенчикам, умершим от горячки, а когда поезд в час по чайной ложке переваливал холмы с самыми крутыми склонами и жалобно пыхтел при каждом обороте колес, особо ушлые, прежде всего самогонщики, успевали сойти и размять кости в дружеском поединке на кулаках посреди пампы.

Однажды вечером, когда закат отливал алым, а путешествию, казалось, не будет конца, поезд на минуту остановился на маленькой станции. По билетам они должны были ехать дальше на север, но, следуя одному из внезапных материных наитий, на сей раз связанному с именем полустанка, сошли с поезда со всеми пожитками. Станция называлась Желанная. Метрах в пятистах, словно гроздья свечек, начинали загораться огоньки селитряного поселка.

Это был прииск Альгорта.

В ту ночь они спали вповалку на чисто вымытом полу маленького приискового храма. Старейшина местных еванге-

листов принял их ласково, радуясь, что целое семейство пополнит ряды немногочисленной конгрегации. Но не следовало чрезмерно печалиться из-за скромного числа обращенных, добавил старец, ибо Священное Писание гласит: много званых, а мало избранных. Выпив со старцем мате, обменявшись свидетельствами спасения и узнав, какие чудеса явил Господь на прииске Альгорта, вся семья растянулась на полу, головами к амвону. На следующий день отца взяли вольнонаемным на шахту, и не прошло и недели, как им выделили дом на улице Чакабуко, последней из трех в поселке, выходящей на голую пампу.

Едва они обустроились, предприимчивая мама, полностью полагаясь на Божью волю и надеясь "пособить бедному старику", придумала — дело в пампе не оригинальное, но всегда приносящее хорошую прибыль — кормить постояльцев пансиона. Им и самим-то пока было не на что сесть и нечего съесть. Но мама составила список всего, что требовалось, и без единого медного песо в кошельке отправилась в пульперию. Задержалась у входа и про себя попросила у Господа помощи в новом начинании. "Во имя Твое, Боже, — прошептала она, — омой меня святой кровью Твоей", — и решительно вступила в лавку.

Выходя, она уже до ушей улыбалась и возносила благодарственную молитву за то, что Господь тронул сердце лавочника и тот выдал ей в кредит стопку глубоких тарелок, стопку мелких, дюжину чашек с блюдцами, четыре коробки со столовыми приборами, две бутыли для воды, дюжину стаканов для компота, две большие эмалированные кастрюли, словом, всю утварь, необходимую, чтобы накормить для начала человек двадцать рабочих. Потом она заказала четыре скамьи и два стола, огромных, словно корабли. И повесила на двери объявление, написанное куском угля на крышке обувной картонки:

ГАТОВЫЕ ОБЕДЫ

Дом представлял собой цинковый барак, разделенный вдоль на три части: столовую, спальню и кухню. Пол везде был земляной. Входная дверь вела прямо в столовую, посредине находилась спальня, а последнее помещение в глубине использовалось под кухню. Именно там Идельбрандо дель Кармен сидел на парусине от "Большой и Малой", забавляясь рулеткой и двумя котами.

А еще в той кухне, вспоминает он, прямо у угла большой кирпичной, замазанной глиной плиты была дверка, выходив-

шая в пампу. Удивленно, почти обгорая под солнцем воспоминания, он отворяет цинковую дверку, и на него внезапно обрушивается вся желтая неизмеримость пустыни, служащей задним двором.

13

Когда Идельбрандо дель Кармен заканчивал обедать, в кафешку вошла пара старичков и с ними рыжая веснушчатая девочка. Они расположились за столиком напротив. Садясь, девочка, на вид лет четырнадцати, вперила в него взгляд больших живых глаз, отчего он совсем смешался, аж заиндевел. Тарелка уже опустела, ложка мертво валялась на столе, и Идельбрандо дель Кармен не знал куда девать руки и глаза.

Сеньора, обслуживавшая столики, подарила ему на десерт апельсин (без черенка и зеленых листиков) и настояла на том, чтобы заклеить ему локоть пластырем. “А то пачкаешь все”, — сказала она с улыбкой, указывая на кровяные пятна на белой скатерти. Идельбрандо дель Кармен ощутил, что неуклюже краснеет. Он знал, что девочка с пляшущими глазами все видит и слышит.

Пока сеньора долго мазала ссадину йодом с усердием и заботой несостоявшейся матери, он беспокойно поглядывал исподтишка на соседний столик и воображал, как бы подошел к рыжухе и заговорил, если бы она оказалась одна:

— Привет, тебя как зовут?

— Мария.

(Их всегда звали Мария.)

— Часто сюда ходишь?

— Иногда.

— У тебя глаза, как у ангела. Ты знала?

— Спасибо.

— Любишь кино?

— Да.

— Приглашаю тебя в “Латорре”.

— Я мексиканские фильмы не люблю.

(Они всегда так говорили.)

— В этом играет Росита Кинтана.

— Что за Росита Кинтана?

— Ангел, как ты (ответил бы парень из фильма).

— Как, говоришь, называется?

— “Ковбой и дама”.

— Ну, может, и схожу...

Когда боевая рана на локте была должным образом перебинтована, он поднялся и пошел к выходу. Рыжая подняла

глаза, улыбнулась ему поверх склоненных голов бабушки и дедушки и легонько помахала рукой с зажатым ломтем белого хлеба. Он только и смог, что бросить ответный взгляд.

Вихрем слетая по лестнице на улицу Майпу, Идельбрандо дель Кармен сиял как медный грош (скачет, аки телок в стаде, говорил пастор с амвона). Он чистил апельсин зубами и смеялся от удовольствия, вспоминая, как мама говорила, что веснушки на девчоночьих щеках появляются, если их целовали ангелы ("скорее уж, обсидели ангелы", — ввернул бы тут развеселый брат Тенорио Лопес). Почему так получается, что любая девочка, которой он понравился, — всегда под присмотром родителей (или дедушки с бабушкой, как сейчас) или злющей уродливой тетки. Или хуже того, в окружении выводка мелких братьев и сестер. Ни одна не улыбалась ему и не строила глазки, когда была одна. А если и строила, плутовка, то в последнюю минуту, скажем, заходя в дом и запирая непреодолимую дверь или из окна уезжающего автобуса, куда Идельбрандо дель Кармену было уже не запрыгнуть. Или поезда, как в тот раз, когда он встретил самую красивую девочку в мире.

Здание рынка Идельбрандо дель Кармен покинул уже влюбленным по уши. Он представлял себе, как в полумраке кинозала целует одну за другой все веснушки из ангельского созвездия. Вот вечно так с красивыми девочками: стоит только их увидеть — и уже втрескался, как дурачок. И с мексиканскими фильмами то же: взглянув разок на афишу в фойе кинотеатра, он уже умирает как хочет немедленно его посмотреть.

Снаружи, на улице Майпу и на площади, суматоха заметно улеглась. Посвежело. Невесть откуда налетел холодный сырой ветерок, и узкая полоска неба над Антофагастой начала затягиваться серыми тучами.

Довольный Идельбрандо дель Кармен зашагал по улице Хосе Сантоса Оссы на север. В такие минуты он любил воображать, будто бы у его сестры, Королевы Весны, и брата, боксера, имелось по магическому хрустальному шару, в котором они, поколдовав чуток, могли видеть его на расстоянии, где бы он ни находился. Представив, что в эту минуту они откуда-то взволнованно наблюдают за ним, он припустил веселее, пружинистыми большими шагами и навесил на лицо выражение ничем не замутненного счастья, почти благодати. Происшествие с хорошенькой посетительницей кафешки и прохлада на улице привели его в приподнятое расположение духа. Он обожал пасмурные дни. Чувствовал себя бесшабашным и легким, словно парусник, и паруса его духа свободно вздувались на ветру.

Вечно ясные небеса пампы изнуряли непомерным жаром. Солнце, огромное, дурацкое и красноро́жее, зловеще потрескивало в плавящихся мозгах тамошних обитателей, будто провода под напряжением. И любую отару тучек, заплутавшую в небесных полях, принимали в тех огненных широтах как Божий дар. Идельбрандо дель Кармен мог целыми вечерами наблюдать за бегом белых облаков; ему казалось, что это стаи пушистых ангелов летят на похороны одинокой слепой девочки-евангелички.

Снова пампа. Он улыбнулся себе под нос. Из любого пустяка выскакивала незабываемая пампа. Как когда он босиком шлялся по селитряным равнинам, задубелые пятки дымились, земля обжигала, и вдруг он замечал — что-то юлит рядом, сначала невидимое, легкое, шустрое, словно дух воздуха или озорной бесенок; что-то, сперва тонкое и прозрачное, принималось плясать и расти, порывисто, сбивчиво, и вымахивало до размеров высоченного шахтера, пьяного песком и пылью. И бесенок все скакал и делался все сильнее, все мощнее, все стихийнее, пока не превращался в гигантский смерч, из тех, что пересекают пампу из конца в конец, утягивая в свое нутро вечер и скуку. Ребята называли эти колоссальные песчаные столбы “чертов хвост”, а наиболее отважные гонялись за ними по равнинам и, попав в самую сердцевину вихря, пока мелкий песок стегал кожу, обрывал пуговицы, лез в уши и нос, испуганно раскрывали глаза, чтобы заглянуть в лицо Лукавому.

Вот так и воспоминания о пампе выскакивали ему навстречу. Они появлялись ниоткуда, сперва как шаловливый ласковый ветерок, а потом накрывали ураганом неудержимой тоски. То же происходило и со снами. С тех пор как он услышал от отца, что прииск Альгорта (при котором остался один-единственный сторож) стоит целый и невредимый (в конторе сохранилась мебель, в пульперии — прилавки, в ремонтной мастерской — наковальни, в больнице — кислородные трубки, в церкви — орган, на теннисной площадке — сетка и мячи из овечьей кожи, в школе — доски, в кинотеатре — проектор, экран и кресла, в профсоюзе — бильярдные столы, кии, голубые мелки и три сонных шара, выложенных треугольником), с тех пор как он узнал, что испанец-хозяин прииска летом ездит туда на каникулы с друзьями, и тогда фонари зажигают, и открывают двери баров, и запускают станки на заводе, и свистят в паровозные свистки, и в какое попало время заводят пятичасовой гудок, и извлекают литургические аккорды из органа, и чуть что — звонят в школьный звонок на переменку, и вновь собирают оркестр, чтобы играл на

эстраде на площади, и все это — на потеху и отраду приезжим, которые веселятся, будто малые дети, словно им и впрямь досталась удивительная гигантская игрушка; с тех пор как он узнал о таких невероятных фактах (подумать только, целый поселок, с которым можно играть), ему много раз снилось, что он вернулся на прииск. В одном неотступном сне он сворачивал с улицы Чили-Испания, главной артерии поселка, дрожа от волнения, ступая будто не ногами, а сердцем, отыскивал свой дом, номер 68 по улице Чакабуко, и, попав внутрь, отправлялся прямиком в угол кухни и начинал раскапывать руками земляной пол. В тайнике обнаруживалась завернутая в синюю тряпицу проржавевшая банка из-под какао "Рафф", а в ней переливались стеклянные шарики. Сон к его досаде всегда резко обрывался, стоило ему только жадно потянуть руку к шарикам.

Как всегда, когда Идельбрандо дель Кармена увлекал за собой ангел воспоминаний, он очнулся от резкого автомобильного гудка. Он почти дошел до перекрестка Оссы и Сукре. Ошеломленно посмотрел назад и задался вопросом: как, черт побери, ему удалось отмахать столько улиц, увернуться от всех машин и ни разу не вывалиться на мостовую на красный свет? Спросил у мужчины в дверях какого-то дома:

— Извините, сеньор, не подскажете, который час?

До дневного сеанса оставалось еще много времени, и он решил, вместо того чтобы направиться прямо к "Латорре", сначала прошвырнуться и посмотреть афиши в "Национале" и в "Империи". На углу Сукре девочка-альбиноска, несшая кило рафинада в молочно-белой руке, одетая в призрачный наряд для первого причастия, вдруг вновь оказалась у него на пути, и они чуть не столкнулись лбами. Больше всего его поразил не снежный каскад ее волос и не прозрачные, будто не всамделишные, ушки, а краткий отблеск розовой радужки, который он успел ясно разглядеть за белыми ресницами. Цвет и прозрачность глаз напоминали о шариках из сна. Внезапно его поразила мысль: если бы кто-то сказал ему, что сны не бывают цветными, он удивился бы не меньше, чем, когда узнал, что фильмы с Чарли Чаплином или Лорелом и Харди[1] — "немое" кино. Раньше он просто не замечал, что актеры в них не разговаривают. Эпизоды были такими подвижными, ловкими и занятными, а лица и жесты незадачливых человеч-

1. Лорел и Харди — комический дуэт американских актеров Стэна Лорела (1890—1965) и Оливера Харди (1892—1957). В испаноязычных странах принято называть их дуэт "Толстый и Тонкий".

ков и их милых подруг в шляпках — такими выразительными и красноречивыми, что он никогда не находил различий между немым кинò и звуковым. В этом он мог поклясться, как и в том, что радужка девочки, с которой они только что чуть не сшиблись на углу, — странного розового цвета. Однажды дочка брата Тенорио Лопеса показала ему белого кролика, у которого глаза были точь-в-точь, как у незнакомки.

Впрочем, виной столкновению послужила не белокипенная отроковица в кружевах (где-то он видел ее раньше), а его дурная привычка бродить, глядя себе под ноги. Кроме лихорадочной любви к кино (скорее всего, следствия постоянного одиночества) и склонности часами слушать болтовню очередного фокусника, Идельбрандо дель Кармен действительно отличался застарелой манерой обходить центральные улицы, сосредоточенно пялясь в асфальт. Истоки этой манеры крылись не в болезненной робости или неправильном понятии о скромности, а в счастливом дне, когда он нашел на тротуаре крупную купюру, на которую две недели кряду шиковал в целых пяти кинотеатрах.

Он всегда будет помнить тот день. Чудо произошло утром. Он возвращался из бухты. Распродал все тридцать три газеты и медленно и рассеянно брел по улице Боливара. У отеля "Чили-Греция" он увидал ее. Новенькая, чистенькая, без единой складочки; казалось, она появилась не из какого-то там банка, а слетела с дерева или обнаружилась в цилиндре фокусника. Он быстренько наклонился, а то вдруг еще пропадет, сгинет — недаром едоки у них дома в Альгорте рассказывали: клад норовит сгинуть. Уже зажатая в кулаке, купюра выглядела почти бесстыдно, напоминая кричащими цветами одеяние епископа или медальку с изображением святого. Ему даже пришлось присесть на тротуар. Он трясся от страха, парил в облаках и сверлил взглядом купюру, не в силах поверить в случившееся. Да нет же, черт побери, вот цифра, а за нею — нули, вот серийный номер, а вот портрет национального героя. А если посмотреть на свет, проступает, словно голод в сваренном вкрутую яйце, водяной знак. Никаких сомнений: как ни крути — деньга, настоящая банкнота, откуда ни глянь. И хотя больше он никогда ничего не находил, кроме просроченных выброшенных лотерейных билетов, которые, как и положено неисправимому мечтателю, тщательно сверял с новыми таблицами выигрышей, Идельбрандо дель Кармен навсегда приобрел сиротливую привычку смотреть в землю на ходу.

В фойе "Националя" он убедился, что ничего нового не идет; все фильмы крутят уже несколько недель подряд, а все афиши он уже основательно изучил. Руководствуясь только

картинкой и рекламным лозунгом на афише да парой фотографий со сценами из фильма, приколотыми к стендам, Идельбрандо дель Кармен мог запросто состряпать полноценный сюжет. Потом, как правило, оказывалось, что его история не имеет ничего общего с настоящим сюжетом фильма. Те, что он выдумывал, были куда интереснее настоящих.

В "Национале" сегодня давали картину под названием "Зловещий особняк". "Кровь застынет у вас в жилах", — обещала реклама. У касс уже толпился народ. Но Идельбрандо дель Кармен предпочитал мексиканское кино.

Он покинул "Националь" и прошел по улице Сукре до "Империи". Бродяжничая ежедневно в центре, он чаще всего оказывался на Сукре. Эта улица была все равно что обратная сторона Луны по сравнению с соседней улицей Прат. Прат могла похвастаться самыми элегантными магазинами и самым лучшим освещением во всем центре вследствие великого множества неоновых вывесок. Кроме того, именно по ней обязательно прогуливались люди, желавшие послушать в воскресенье оркестр на площади Колумба. По вонявшим мочой тротуарам Сукре, лишенной блестящих вывесок и витрин, плохо освещенной и полной захудалых распивочных, напротив, бродили одни только подозрительные типы. Например, в эту минуту навстречу ему шел голубой по имени Росита. Он качал бедрами и, как всегда, прижимал к груди кипу женских журналов.

Росита со своей нелепой фигурой трансвестита-неудачника и стопкой засаленных журналов "Росита" (Идельбрандо дель Кармен часто задавался вопросом, удалось ли бедняге хоть раз в жизни продать хоть один журнал) был неотъемлемой составляющей улицы Сукре, сентиментальной частью пейзажа, как Малышка, шустрая старушенция, щеголявшая в мини-юбке, из-под которой торчали голые ноги, на улице Хосе Сантоса Оссы. Или скрюченная проститутка по прозвищу Мисс Чили, всеми признаваемая самой уродливой шлюхой в мире, на улице Адмирала Латорре.

Чокнутый педераст облизал Идельбрандо дель Кармена похотливым взглядом, когда они поравнялись друг с другом у лавки, торгующей лекарственными травами. Идельбрандо дель Кармен, как обычно, искоса осмотрел его: Росита всегда вызывал у него искреннюю жалость. Он напоминал одного мальчишку из его пятого класса. За деликатность движений и круглое, словно абрикос, лицо того прозвали Дамочкой; он был косой, как и Росита, и остальные дети в школе просто не давали ему житья. Каждый божий день придумывали новый способ поизмываться. На всех уроках бедняга тихо плакал.

В “Империи” шел “Бен Гур”[1]. Двери в зал еще не отворили, а народу уже собралась прорва. Почти весь верх фасада занимал огромный рекламный щит, в красках изображавший захватывающий бег римских колесниц и очень точно скопированный с официальной афиши. Гигантские цветные полотнища всегда приводили Идельбрандо дель Кармена в восторг. Какой Микеланджело писал эти шедевры? Приставив ладонь козырьком ко лбу, он принялся скрупулезно изучать картину, силясь разгадать технику неизвестного художника, особенно, в изображении игры света и тени. Перешел на противоположный тротуар для лучшего обзора. Ну, разумеется, теперь все прояснилось: желтому снопу света от ангела, которого он рисовал дома, для ослепительности не хватало белой полосы. Вот оно в чем дело. Он зашагал дальше вниз по улице, и преображенное лицо его лучилось. Это было как откровение: однажды и он станет знаменитым художником.

В “Латорре” он почти никого не застал. Дожидаясь открытия касс, Идельбрандо дель Кармен принялся в очередной раз изучать афиши, по большей части, мексиканских фильмов. Внимательно осмотрев все, застыл перед “Ковбоем и дамой”. Кроме Роситы Кинтаны и Педро Армендариса[2], там играл неподражаемый Фернандо Сото[3] по прозвищу Масло. Когда открылось билетное окошечко, желающих набралось не больше полдюжины. С билетом в кулаке, не забыв купить упаковку мятной жвачки в уличном лотке, Идельбрандо дель Кармен поднялся на балкон.

В зал он вошел одним из первых.

14

Повесив зеленую кофту на плечо, Идельбрандо дель Кармен обозрел все пространство пустого зала, и душа его исполнилась блаженства, более холодящего и взрывного, чем от мятной жвачки. Он обожал входить в зал первым: словно в грот, многажды исследованный, но оттого не менее загадочный. Или в языческое святилище, где он, любострастец, мог располагаться у любого жертвенника и поклоняться Золотому Тель-

1. “Бен Гур” (1959) – фильм американского кинорежиссера, продюсера и сценариста Уильяма Уайлера (1902–1981), один из самых зрелищных, дорогих и премированных в истории кино.
2. Педро Армендарис (1912–1963) – мексиканский актер.
3. Фернандо Сото (1911–1980) – один из самых популярных комедийных актеров “золотого века” мексиканского кинематографа, мастер эпизода.

цу сколько влезет. В глубине мерцал белый, безмятежный, завораживающий экран, верховный алтарь этого культа.

Но холодок в животе происходил не только от вскипающего восторга, но и от хорошо знакомого Идельбрандо дель Кармену чувства тревоги, неизменно охватывавшего его в кино. За почти полных два года он так и не избавился от тяжкого груза вины, легшего ему на плечи, когда он впервые переступил порог кинотеатра. Дело было в "Империи", и давали картину про Тарзана (наконец-то он познакомился с Тарзаном, человеком-обезьяной, о котором столько толковали его приятели в Альгорте и которого сам он ни разу не видел, только слышал его клич, прижавшись ухом к боковой дверке поселковой киношки). Дожидаясь начала фильма, всеми взъерошенными пятью чувствами впитывая каждую деталь обстановки, он не переставал слышать голос покойной матери, отдававшийся внутри черепа и говоривший то же, что она говорила в пампе всякий раз, когда он прибегал с улицы и, захлебываясь, пересказывал сюжеты фильмов, пересказанные друзьями: "Фильмы, сынок, — это упакованные сны самого Сатаны-Дьявола". Но напряжение и беспокойство, гнетущие и словно загонявшие его дух в угол заднего двора, мгновенно испарялись в ту волшебную минуту, когда свет гас, двери за портьерами закрывались, музыка умолкала и бессонная белизна экрана наполнялась жизнью и движением.

Насладившись сполна сто раз виденным залом, сладострастно перекатывая во рту жевательную резинку, Идельбрандо дель Кармен уселся в первом ряду полукруглого балкона. Никто пока не спешил в зал, и он чувствовал себя полноправным хозяином положения. Лег подбородком на балюстраду, выдувал пузыри и изучал идеальную геометрию кресел в пустом партере. Вдруг появилась молодая пара, державшаяся за руки: он — близорукий очкарик в зеленом клетчатом пиджаке; она — в темно-синем платье и с пышной, залитой лаком прической. Медленно и довольно они дошли по центральному проходу до третьего ряда; там, не спрашивая капельдинера, парень сверился с билетами, галантно пропустил девушку вперед, и они заняли шестое и седьмое места справа. Сев, юноша гордо обхватил длинной рукой обнаженные плечи подруги.

Идельбрандо дель Кармен много раз говорил себе, что, даже будь у него достаточно денег, он не взял бы билет в партер ни в одном кинотеатре мира. Тем более в женской компании. С высот балкона внизу все выглядело чересчур упорядоченным, чересчур застывшим, напряженным, накрахмаленным; ему казалось, что зрители, садясь, коченели, так что даже не могли повернуть головы. Там царила строгая обстановка уро-

ка по Закону Божию, и вряд ли Идельбрандо дель Кармен выдержал бы ее дольше, чем шел киножурнал. Балкон, напротив, был оплотом свободы.

Кроме того, сидящие в партере подвергали себя неминуемой опасности стать мишенями всяческой мерзости, которую — полагал он — сбрасывают с балконов во всех кинотеатрах на свете. От безобидных упаковок из-под пастилок и арахисовых скорлупок до плевков отвратных пьяниц и таких вопиющих гадостей, как воздушные шарики, наполненные мочой, и недавно использованные презервативы (однажды в этом самом кинотеатре — он видел это собственными глазами — с балкона швырнули живую собаку). И, наконец, самый ужасный недостаток партера — устраивавшиеся там снобки в жизни не позволили бы положить им руку на коленку (не говоря уже о груди). И вполне способны были поднять грандиозный хай с прерыванием фильма, включением света и прочим из-за простого щипка за "антифонарий", как изобретательно величал зад брат Тенорио Лопес.

Когда из усилителей полилась музыка, на балконе сидело уже несколько человек. На долгоиграющей пластинке мексиканская группа "Тин топс" пела по-испански рок-н-ролльные хиты, к примеру, "Кто подложил бомп", "Тайну средней школы", "Первоклассную штучку", "Тюремный рок" и многие другие. Сейчас играла песня под названием "Голубые замшевые ботинки". Все эти темы Идельбрандо дель Кармен знал наизусть лучше, чем евангелические гимны. Пластинку "Тин топс" чаще всего гоняли на танцах у Блондинки Мирейи в те времена, когда он водился с хулиганами.

Интересно, что сталось с Блондинкой Мирейей. Вот уже год он не видел ее и ничего не знал о ее судьбе. А ведь это первая девочка, в которую он по-настоящему влюбился. Ходили слухи, будто родители отослали ее жить к родственникам в Мехильонес. В последний раз он повстречался с Блондинкой Мирейей в день, когда приключилась история со шкафом. Он поспешно возвращался домой после продажи газет. Дело шло к двум часам дня, и ему нужно было в школу. Почти у дверей церкви он услышал свист и крики с угла. Четверо местных приятелей звали его, и среди них — два брата Блондинки Мирейи, которая в этот момент сидела на пороге своего дома и делала ему отчаянные знаки, чтобы он не обращал внимания на мальчишек. Он не понял. Пацаны звали его помочь оттащить громадный платяной шкаф, который несли вверх по улице, шатаясь и слепя прохожих отблесками большого круглого зеркала. Он бросился им пособить. Когда рядом затормозила полицейская машина и остальные прыснули врассыпную, он,

чуть не загнувшись под навалившимся весом, думая, что пацаны хотят сделать перекур, закричал, чтобы не роняли шкаф так резко, чего доброго, зеркало разобьется. Шкаф оказался краденый, и повязали одного Идельбрандо дель Кармена.

Вечером сестра Олимпия Паласиос, которой все рассказала Блондинка Мирейя, связалась с пастором, и они вдвоем пришли за ним в участок. Он век не забудет, в какое умопомрачение привела весь офицерский состав сестра Олимпия Паласиос с ее губками бантиком и вздернутой ангельской попкой. (Идельбрандо дель Кармен, любивший сравнивать живых людей с библейскими персонажами, уже давно, с тех самых пор как прочел соответствующую историю в церкви, наделял сестру Олимпию Паласиос чертами жены какого-то военачальника, которого царь Давид — или Соломон? — послал на войну, чтобы похитить красавицу. Военачальником выступал очень кстати военнослужащий муж сестры Олимпии Паласиос, а царем — пастор.) Все неприятности свелись к тому, что отец, повредивший руку на руднике и приехавший на выходные домой, прочел ему нотацию, выбранил "окаянным мальчишкой" — самое грубое ругательство, какое был способен произнести в приступе гнева, — и всерьез пригрозил отправить в исправительный интернат, если он не прекратит якшаться с кем попало. С того самого дня он и не видал Блондинки Мирейи. Вдруг ему пришло в голову, что здорово было бы сидеть с ней в кинозале и томно держаться за руки.

Когда заиграл марш, возвещавший о начале сеанса, на балконе уже яблоку негде было упасть. Гул разговоров и детские взвизги почти заглушали музыку из усилителей. Под звуки марша, громко топая и спотыкаясь, вошли последние опоздавшие. С металлическим звоном съехались кольца портьер, и свет стал медленно меркнуть. Для Идельбрандо дель Кармена это был самый потрясающий миг, высшая степень колдовского действия, которое на его душу оказывало кино. Вселенная экрана загоралась образами, и он будто обретал дар духовного видения, драгоценный христианский дар, которым в их церкви обладала сестра Ховита Эсперанса. На вечерних службах сестра Ховита Эсперанса видела Дух Святой в образе голубя, вольготно порхавшего вокруг амвона. Видела шестикрылых серафимов о мечах огненных, прохаживавшихся по церкви и ревностно охранявших рабов Божиих. Видела, как из уст истово молившихся поднимался прямо к небу белый дымок, а изо рта у тех, кто молился рассеянно, думая о не имеющих отношения к божественному делах, шел черный дымок и, не в силах воспарить, вылетал в двери и печально терялся в нелепом хаосе мира.

Идельбрандо дель Кармена приводил в восхищение луч, тянувшийся через весь зал от проектора к экрану. Часто он даже отвлекался от фильма и завороженно смотрел на волшебную струю сияющей пыли. Ему казалось сущим чудом, что такой хрупкий сноп света способен нести в себе целые стада диких бизонов, поезда, преследуемые индейцами на конях, бушующие моря, в которых гибли эскадрами военные корабли, семиглавых огнедышащих зеленых драконов и, разумеется, таких невообразимых красавиц, как Росита Кинтана.

В настоящий момент струя света под издевательские возгласы публики переносила на экран рекламу местных заведений на диапозитивах. Последней шла реклама магазина "Припортовый", "к дешевизне будь готовый". Потом, в кромешной тьме, на экране появился классический кинообъектив и тут же превратился в земной шар, и одновременно с возникновением букв голос диктора произнес: "Мир за минуту".

Двух явлений, связанных с кино, Идельбрандо дель Кармен никак не мог понять: как это люди засыпают во время фильма и как это находятся такие, кто не интересуется журналом. Хотя новости, как правило, были стародавние и приходили с другого конца света, он слушал их с замиранием сердца. И больше сводок с фронтов и спортивных подвигов на последних Олимпийских играх его занимали, точнее, доводили до самозабвения, кадры, на которых всякие знаменитости — непременно в черных очках — спускались по трапам огромных самолетов (после невесть каких фантастических путешествий) и махали восторженно аплодировавшим толпам. Словно современные Ионы, они целыми и невредимыми выныривали из брюха рычащего стального кита.

Сон в кино Идельбрандо дель Кармен находил таким же неподобающим, как сон в церкви. Он ни разу в жизни не впал во грех и не клюнул носом — ни здесь, ни в Доме Божием. Правда, бывало, что иногда по вечерам огонь Духа Святого остужался, и тогда у Идельбрандо дель Кармена вырывался зевок, но никогда он не позволял себе кощунственно дремать на церковных скамьях. Тем более, с того вечера, когда сестра Ховита Эсперанса углядела голого бесенка, сидящего на голове у уснувшего брата; бесенок с лукавой мордочкой упирался мягкими пятками аккурат в сомкнутые веки спящего. При виде сестры Ховиты Эсперансы, похожей на тихую пташку с дрожащим голосочком и уже ангельскими от стольких благодатных видений повадками, Идельбрандо дель Кармена всегда охватывала нежность, граничащая с жалостью. И совсем наоборот — при виде суровой сестры Сиксты Монтойи, обладавшей даром пророчества (той самой, что предсказала кончину

его матери). Черный проницательный взгляд пророчицы и ее желтовато-седая коса, смахивавшая на связку чеснока, внушали ему священный ужас. Однажды вечером, когда все делились свидетельствами спасения, он услышал не лишенный доли хвастовства рассказ сестры Сиксты Монтойи о том, какой великой грешницей она была до вступления на пути Господни. Мол, в те времена она была так люта и злокозненна сердцем, что всякий раз, когда евангелисты проповедовали возле ее дома, включала радиоприемник на полную громкость. А если это их не прогоняло, то она, богохульствуя и честя трекляных евангелюг, которым делать больше нечего, кроме как выть у нее под дверью, выплескивала на них из окна ведра грязной воды. И не обращала ни малейшего внимания на своего святого супруга — упокой Господи его душу, — который с инвалидного кресла мотал ей головой в знак беспомощного неодобрения. Да, в пору ее долгого служения в воинстве дьявольском, вспоминала ужасная сестра Сикста Монтойя, она искупала в помоях многих рабов Божиих, не устрашившихся и вновь и вновь приходивших к ее жилищу, дабы проповедовать ей о спасении души. До тех пор, пока Господь Милосердный не совершил чудо и не умягчил ее сердце и не превратил ее в совершенно новую женщину. Новую-не новую, думал Идельбрандо дель Кармен, а злобная искорка в темных глазах нет-нет да и проглянет. Кроме того, костлявое лицо и длинные седые волосы сестры Сиксты Монтойи, рассыпавшиеся по спине, напоминали ему о Кудлатой, самом страшном привидении — овце с женской головой, — про которое вечерами рассказывали мальчишки в пампе.

В кино же, если фильм попадался плохой или с непонятным сюжетом (редко, но случалось), Идельбрандо дель Кармен никогда не засыпал и не бежал, словно крыса с корабля. В таких случаях он присоединялся к негласному плотскому сафари, которое бесстыдным образом, при попустительстве неверного полумрака в зале, совершалось во всех кинотеатрах города. Он выработал собственную технику охоты. Сперва находил взглядом одинокий силуэт женщины (сеньоры или сеньориты — неважно; ровесниц он вообще не рассматривал в качестве добычи) и, воспользовавшись какой-нибудь сумятицей или затемнением на экране, как ни в чем не бывало подходил и садился рядом. Если женщина не обращала на него внимания, он благоразумно выжидал и после начинал придвигать предплечье, пока не касался волосками ее обнаженного предплечья — от этого первого касания его словно током ударяло. И, наконец, если она не отодвигалась, избегая тонкой осязательной разведки, он как бы мимоходом ронял руку вдоль ее

бока. Не отрываясь от экрана, но мысленно следя за малейшим движением добычи, он мягко опускал мизинец ей на бедро. Легкие, эфирные, почти ангельские пальцы вспотевшей ладони один за другим ложились на чувственный изгиб бедра (в такие минуты он желал бы иметь шесть пальцев, как у Шестипалой Марии, неухоженной девочки, с которой был знаком в пампе). После бедра, если женщина по-прежнему спокойно смотрела фильм и никак не проявляла недовольства — многие проявляли, — он решался на самую дерзкую ласку, какую его обескураженное тринадцатилетнее тело успело познать в кино: медленно и деликатно, будто собирался подхватить спящую голубку, запускал дрожащую пятерню под блузку.

Но ничего этого не происходило, если в фильме играла Росита Кинтана. В таком случае никто и ничто, как сейчас, не могло помешать его самозабвенному любованию актрисой. Любовь Идельбрандо дель Кармена к экранному образу Роситы Кинтаны — идеальное, лирическое, первозданное чувство — не терпела вмешательств.

Это было все равно что любить ангела.

15

Когда Идельбрандо дель Кармен вышел с дневного сеанса, небо уже окончательно нахмурилось. Низкие непролазные тучи цветом напоминали недавно застывший цемент.

Люди торопливо шагали по улицам, засунув руки в карманы и подняв воротники пиджаков или нахохлившись в толстых шерстяных свитерах. И все из-за природного явления, бичевавшего иногда север и в пампе известного как “боливийская зима”: холод и моросящий дождь в разгар лета. Он вспомнил, как одним сияющим утром на прииске, в середине февраля, как сейчас, небо вдруг покрылось черными тучами, и, не успели поселковые оглянуться, как сверху посыпались градины величиной с шишечку на кованой кроватной решетке. Внезапная темень и апокалиптический стук снарядов о цинковую крышу выгнали на улицу даже самых стойких духом шахтеров. Дети громко ревели, женщины крестились, били себя в грудь и испускали жалобные крики, словно наступил конец света. Идельбрандо дель Кармена прошиб озноб, и он вспомнил, что так и не научился креститься — у евангелистов это было не принято. Он поскорее натянул шерстяную кофту. Несмотря на холод, закатал рукава, чтобы не было видно дыры на локте.

Он стоял у кинотеатра, рядом с корзинками и тележками продавцов пастилок, берлинских пончиков, ирисок, попкор-

на, булочек и рогаликов, и смотрел, как стремительно разбегаются выходящие с сеанса. Одиночество приучило его вглядываться в лица незнакомцев. Иногда, распродав газеты, он садился где-нибудь у рынка и просто́ глазел на людей. По внешности и одежде он придумывал каждому либо печальную, либо веселую биографию. Читал по выражению лица, приписывая человеку какое-нибудь приключение, достойное самой заковыристой киноленты: помещал одних в детективную интригу, других — в любовную историю, третьих в леденящую душу таинственную передрягу или прямиком в область научной фантастики с нашествием марсиан и всем прочим.

Последний зритель спустился с балкона, вытряхивая сигарету из мятой пачки "Либерти". На нижней ступеньке остановился, закурил, медленно выдохнул и двинулся к выходу. В дверях огляделся, поежился и размашисто зашагал на север.

Идельбрандо дель Кармен прикинул, что пора бы перекусить. Он хотел было, как всегда, перейти улицу к галерее "Хардинг" и выпить чаю с хлебцами, но вдруг передумал и остался на месте. Одним тощеньким хлебцем с маслом сыт не будешь; вечно он остается голодным. Поразмыслил и решил, что лучше купит пару слоек в Центральной булочной, вернется и закажет просто кружку чаю. И щелкнул пальцами, чтобы скрепить решение.

Он бодро припустил по улице Сукре вправо, в сторону булочной, но на первом же углу увидел Ущипни-Луну, ошивавшегося у кинотеатра "Империя". Длинный хвастливо махал руками и давал пять двум другим великовозрастным обалдуям. Идельбрандо дель Кармена сдуло с угла. Вроде тощий псих его не заметил. Он повернул к северу. Лучше пройти по улице Боливара. Улыбаясь себе под нос, он думал, что Давид, угоразди его повстречать во второй раз Голиафа — если бы, конечно, филистимлянин выжил после их первой встречи, — поступил бы в точности, как он сейчас.

Уже на улице Боливара, поднимаясь от моря к горам, он, как обычно, всматривался в трущобы, ненадежно нависавшие над городом прямо впереди. Неприглядные бедные лачуги, похожие на печальных и грязных серых чаек, с каждым годом все выше вскарабкивались по плешивым холмам, окружающим город. Вершины высоких и крутых, будто вылитых из бетона, холмов скрывались сейчас за толстым одеялом туч.

С тех пор как он впервые увидал в небе над Альгортой самолет, ему всегда было интересно — каково это, летать выше облаков? Что при этом чувствуешь? Хозяин булочной, куда он теперь направлял стопы, один из самых богатых горожан, выстроил себе дом на верхотуре, за Крестовой Горой. "Особ-

няк сплошь из стекла и алюминия", — восхищенно говорили люди, а потом, понижая голос почти до шепота, принимались рассказывать про тамошние тайные вечеринки. Идельбрандо дель Кармен не в силах был представить, как можно обитать в стеклянном доме. И немудрено — ведь ему не довелось за всю жизнь пожить даже в доме с застекленным окном. Как уж тут вообразить подобное. Но слухи, видимо, не врали, потому что солнечными вечерами из церковного дворика можно было ясно разглядеть сияние на вершине холма, в пасмурную погоду, напротив, почти полностью скрытого тучами. Повезло миллионеру жить над облаками. Или прямо в облаках.

Хотя к чему обманываться? Всего пару месяцев назад он страшно разочаровался, узнав, что низкие тучи, венчающие холмы Антофагасты, ничем не отличаются от стелющегося густого тумана, от которого зимой отсыревали тротуары и крыши в пампе. Это случилось в такой же хмурый день, как сегодня. Во время очередного похода с двумя сыновьями брата Тенорио Лопеса за стиральным порошком он решил взобраться на один из самых обрывистых холмов и "потрогать облако". С большим трудом, иногда на четвереньках, ему удалось преодолеть только половину подъема; выше склон делался совсем уж отвесным. В паре метров над его кружащейся головой проносились дымчатые ошметки таинственных туч его детства, и он с грустью убедился, что перед ним — такой же туман, как тот, что покрывает пампу в июле и августе. "Та же хмарь, только повыше", — сообщил он сыновьям брата Тенорио Лопеса, спустившись. Куда интереснее оказалась ржавая геология шершавых морщинистых холмов.

"Отсюда они — как слоновья кожа", — сказал себе Идельбрандо дель Кармен почти на углу Боливара и Матта. Сравнение показалось ему удачным. Недавно он впервые увидел слона в цирке "Крылатые Люди". Он не пропускал ни одного представления, когда зимой шапито бежали от южных дождей и добирались до Антофагасты. Ему, конечно, нравились проделки дрессированных зверей и нелепые драки клоунов, но больше всего он надеялся еще раз повстречать зеленую танцовщицу, которую однажды видел издалека под куполом единственного цирка, посетившего на его памяти прииск. Раньше Идельбрандо дель Кармен не знал, что на свете бывают цирки. Он чуть с ума не сошел при виде парада кувыркавшихся карликов и разноцветных клоунов, шествовавшего по улицам в сопровождении шумного духового оркестра. Во главе парада усатый сеньор Коралес в громкоговоритель приглашал детишек и публику всех возрастов на единственное и не-

повторимое представление величайшего цирка. Вечером, пока родители вели службу у них дома, он удрал через заднюю дверь. Он хотел взглянуть на цирк хотя бы снаружи. Было полнолуние. Когда он прибежал на площадь, представление уже началось. Музыка и смех зрителей, чьи силуэты просвечивали сквозь парусину, привели его в невероятное возбуждение. Он беспокойно обежал шатер. Убедился, что никто не видит, набрался смелости, стал на четвереньки и приподнял парусину. Его распахнутым, словно полные луны, глазам явился сказочный мир, полный огней, красок и музыки. В вышине шатра, летучая, как ангел, зеленая танцовщица рассыпала улыбки и поклоны. На небесах, надо думать, все в точности, как в цирке. Сторож пнул его в зад, а он почти не заметил. Вернулся домой, охваченный благодатным восторгом, и уснул поверх одеяла. С того далекого туманного вечера грациозная зеленая танцовщица навсегда поселилась в его памяти как одно из самых ослепительных воспоминаний детства.

Когда он уже возвращался из булочной с пакетиком слоек с пылу с жару под мышкой, стая серых голубей, заполошно перелетевшая с дома на дом, заставила его поднять голову и стряхнуть морок воспоминаний. На улице все холодало. Того и гляди заморосит. Замедлив шаг, но не останавливаясь, он принялся изучать затянутое тучами небо. Тучи были того же цвета, что холмы; холмы — того же цвета, что цемент, а цемент — того же цвета сажи, что голуби, нахохлившиеся на карнизах; весь вечер сливался в заунывную и безобразную серость. Серая хмурая туча, серый облезлый пес, серый шершавый цемент, серый голубиный помет. Точно. Вечер окрасился в цвет помета, сочившегося из-под рассевшихся на карнизах городских голубей.

Подумать только, еще недавно он смотрел на этих неуклюжих муниципальных птиц как на ангелов, а ведь чистое слово “ангел”, столько раз слышанное и выпеваемое в церковных гимнах, искрилось благодатью. Ангелы всегда занимали и беспокоили его. Пока мама была еще жива, он часто хотел у нее спросить, какие они — ангелы. Но догадывался, что о таких вещах не спрашивают. Что взрослых это поставит в тупик. И тогда он сам воображал самых разных и непохожих ангелов. Капелька сока из апельсиновой кожуры, отскочившая в глаз, несомненно, была ангелом — кислым ангелом зуда. Прозрачный кусочек инея, деликатно пристроившийся на водопроводном кране зимним утром, был нежным ангелом холода. Кулек из газетной бумаги, весело летящий по тротуару, мгновенно превращался в безусловного ангела — легкого ангела ветра. Долгое время он больше всех осталь-

ных ангелов любил красивое цветное перышко внутри стеклянных шариков — застывшего в собственной ауре волшебного ангела игры.

Евангелисты не поклонялись и не молились священным образам (у него дома никогда не водилось гипсовых святых и богородиц), и он не видал ангелов до семи лет, когда в школе один мальчик показал ему картинку, какие раздавал священник на Законе Божием, и сказал, что на ней — ангел Гавриил. Хотя теперь он припоминал, что его последнего скончавшегося братика для бдения нарядили ангелом. Ему приладили крылышки из фольги и усадили на маленький соломенный стульчик, поставленный на стол у стены (на этом же стульчике Идельбрандо дель Кармен сидел в свой первый день рождения, запечатленный на одной из немногих детских фотографий, но после поминок по брату отказался от него). Он все прекрасно помнит: ангелочек сидит очень прямо и похож на восковую фигурку; открытые глазки обесцветились, лицо щедро набелено рисовой пудрой; в безжизненных, связанных воедино ручках зажата небесного цвета бумажная гвоздика. Сонный силуэт вырисовывается на фоне белой простыни, расшитой серебристыми звездами и месяцами. И еще он помнит — и стыдится тогдашних чувств, — как его распирало от гордости, когда именно ему, как брату усопшего ангелочка, доверили идти во главе маленькой похоронной процессии по раскаленным улицам поселка. Подняв над головой белый деревянный крест, словно знамя на пышном школьном параде, он, не оборачиваясь, шел до самого кладбища за щебневым отвалом, огороженного на манер загона.

Позже на кладбище Антофагасты, на похоронах матери, он увидел на крышах склепов статуи ангелов, перебирающих струны лир и трубящих в трубы, и подумал, что эта гипсовая мешанина не имеет ничего общего с ангелами, представлявшимися его воображению. И все же со временем возрожденческий образ ангела, одетого в белую тунику, со вскинутыми тонкими крыльями, сияющим ореолом и цветущим юношеско-девичьим ликом мало-помалу заполнил его ум, — как постепенно заполняется копилка картинками кондора с монеток, — и некогда волшебное слово “ангел” перестало связываться с детскими сказочными видениями. А теперь он почему-то ставил ангелов ближе к животному миру, чем к человечьему.

Сперва ангелы виделись ему в насекомых. Золотой мотылек, сгорающий в свете лампочки, — слепой ангел, предвестник письма. Стрекоза, если поймать ее живой, привязать к хвосту катушку (нитки марки “Цепь”), отпустить в полет и управлять на расстоянии, несомненно, превращалась в жало-

стного ангела-раба. Бабочки всегда казались ему чересчур необыкновенными для роли ангелов. Как и лебеди из фильмов (после насекомых наступила очередь птиц). Этих тварей он находил слишком сладострастными, слишком роковыми в их балетных позах. Или взять, к примеру, домашних уток, неповоротливых созданий Божиих. Гнусавые, переваливающиеся с ноги на ногу и вечно какающие лапчатые решительно нигде и никогда не могли сойти за ангелов. Зато ласточки и воробьи, единственные встретившиеся ему в пампе птицы, входили в его частный ангельский зоопарк: воробьи работали бедными и оборванными ангелами, а ласточки — свободолюбивыми и стремительными.

В городе на втором месте по ангельской сущности после голубей стояли попугаи. Долго эти невозмутимые пернатые казались ему забавными ангелами, перемазавшимися в акварели. Пока однажды дома у Блондинки Мирейи он не услышал, как попка ругается последними словами. Не то чтобы он думал, будто ангелы не могут изредка уснастить речь бранью, — просто совершенно невозможно было представить Божьего посланника, несущего благую весть таким жутким скрипучим голосом.

Но в последнее время его любимыми ангелами были курицы.

16

Именно в образе куриц ангелы становились Идельбрандо дель Кармену ближе всего. Эти благообразные домашние ангелы, неподражаемо простые и смирные, не потрясали мечами и не играли на трубах, а только и делали, что провозглашали истины, незатейливые, как яйцо. Ангелы-земледельцы, днем они прилежно рылись в земле, а ночью на насестах, почтительно обгаживаемые с верхних насестов, занимались тем, что умели лучше всего: спали ангельским сном. Их, учтивых оперенных ангелов, метлой гнали из всех земных эдемов, обрекали на вековечный задний двор и позорно привязывали к столбу, где им ничего не оставалось — только кружить и кружить вокруг собственного безумия. Им, паратифозным ангелам, подрезали крылья и не давали подняться в небо, и их грустная летательная пантомима ограничивалась стоянием на одной ноге.

Часто в окрестностях рынка он видел их, дюжинами запертых в средневековых дощатых коробках, поверх которых жалко торчали их лысые монашеские загривки. А сколько их в праздничные дни тащили куда-то по улице за лапы, так что го-

лова болезненно кривилась, а стыдливые подкрылья выставлялись на всеобщее поругание (замешательство несчастных птиц отражалось в наливавшихся кровью и стекленевших безумных глазах). И хоть гибли они пошлой куриной смертью — не от библейского меча, а от жирного кухонного ножа, хоть в их тощих зобах никогда не находили ничего священного, а только цветные камушки и зерно-другое кукурузы, хоть они исходили желчью, все равно он мог торжественно поклясться на кучках их перьев, что всякий раз видел смерть ангела.

Всего пару недель назад, воскресным полднем в церковном дворике они толковали об ангелах с братом Тенорио Лопесом. Разговор зашел как раз потому, что брат Тенорио Лопес резал курицу, когда Идельбрандо дель Кармен вернулся с работы.

— Вы только что убили ангела, брат Тенорио, — так и выразился Идельбрандо дель Кармен при виде мертвой птицы.

Брат Тенорио Лопес ничего не ответил. Он был слегка в грустях.

— А почему зарезали эту, а не ту, что потолще? — заинтригованно продолжал Идельбрандо дель Кармен, всматриваясь в курятник, где не хватало самой дряхлой, рыжей и облезлой обитательницы.

— Орланда Пурисима бережет жирненьких для пастора, — сказал брат Тенорио Лопес, ошпаривая тушку.

— Это ведь была самая ангельская курочка из всех, — посетовал Идельбрандо дель Кармен.

— А ты веришь в ангелов?

— Верю, только представляю их по-другому.

— Как простых куриц?

— Некоторых — да.

— А как же твой ангел-хранитель?

— Я всегда думал, что он уже старенький. Свет у него исходит из одного только глаза, а во рту дымится папироска, — разулыбался Идельбрандо дель Кармен.

— В наши времена никто уж не принимает всерьез этих пернатых, — сказал брат Тенорио Лопес и принялся ощипывать курицу. И пояснил, что божественная фигура ангела, некогда уважаемая и почитаемая, нынче годится разве только на невинный сюжет для гобелена. Ремесло ангела-хранителя давно устарело. “Нынешние ангелы-хранители, — разглагольствовал он, сопровождая каждое слово соответственным выражением лица, — носят темные очки, под мышкой — пистолет и владеют карате”.

— А вдруг они все же есть, — настаивал Идельбрандо дель Кармен, чтобы брат Тенорио Лопес не прерывал рассказа.

— Времена и нравы теперь таковы, зарубите себе на носу, брат Идельбрандо дель Кармен Триго Таберна, что, кабы ангелы-хранители встречались, люди занимали бы их самой обыкновенной и уничижительной работой вроде остужения супа для ребятишек. Или сажали бы их на пол, чтобы те держали руки повыше и помогали бабушке Матильде перематывать шерсть.

— Я бы своего, — задумчиво проговорил Идельбрандо дель Кармен, — просто попросил дружить со мной.

— "Ангел-хранитель, верный товарищ..." — начал брат Тенорио Лопес, не переставая ощипывать курицу.

— "...ни днем, ни ночью меня не оставишь", — с улыбкой закончил Идельбрандо дель Кармен.

— Эти звездные птахи, если, как говорится в Библии, и были когда-то, давно уже все повывелись, брат Идельбрандо. И не надоедайте мне больше.

— Как динозавры?

— Да, как динозавры. Или как повыведутся курицы в этом курятнике, если стиральный порошок и дальше станет так плохо продаваться, — пожаловался напоследок брат Тенорио Лопес.

Ощипав курицу, он смял в ком пару газетных листов, бросил на пол и вошел в дом за спичками. Слышно было, как он громко ворчит, мол, Орланда Пурисима дель Росарио и дети вот-вот выйдут с занятия в воскресной школе, а обедом еще и не пахнет, и коробок, чтоб его совсем, куда-то запропастился. Когда он смирился с потерей и вышел попросить спичек у Идельбрандо дель Кармена, тот, опередив его, уже с улыбкой протягивал ему свой коробок.

И пока брат Тенорио Лопес опалял тушку, а из церкви, где все еще шел урок воскресной школы, долетали строки 119 псалма: "...желал бы я быть ангелом и пребывать с ангелами..."[1] — он, сидя на банке из-под смальца, ушел в себя; воображение разыгралось, ум лихорадило: он думал о своем ангеле-хранителе.

Ангел был очень дряхлый и почти совсем без перьев — этого он не сказал брату Тенорио Лопесу, — и его суровый лик, хоть и несколько смягченный небесной сущностью, напоминал Идельбрандо дель Кармену лицо отца. Вследствие старости и неухоженности ангела, скорее всего, уже подводили умственные способности (иногда он вдруг застывал,

1. "...желал бы я быть ангелом и пребывать с ангелами..." — в действительности, не цитата из Псалтыри.

поджав ногу, будто печальный больной журавль), но с Идельбрандо дель Карменом они наверняка понимали бы друг дружку с полуслова. Он был совершенно уверен, что отлично поладил бы со своим ангелом. И даже прощал бы ему старческие привычки и капризы и позволял бы засыпать на работе (он представлял себе, как застает ангела спящим с ногами на столе; тогда он подходит, медленно вынимает окурок у него из пальцев и, поразмыслив, рассердиться или сыграть с ним шутку, в конце концов кладет его голову к себе на колени и вычесывает блох, словно у милого озорного котенка).

И хотя оба прекрасно знали бы, что бедолага-ангел не спасет Идельбрандо дель Кармена от какой-нибудь смертельной опасности (даже от банального падения), его присутствие очень пригодилось бы для других случаев. К примеру, хотя память тоже временами изменяла бы старику (подчас он не мог бы вспомнить, что он — ангел) и некоторые слова давались бы ему, как и отцу Идельбрандо дель Кармена, с трудом (вместо "аэропорт" он говорил бы "ареопорт"), он был бы замечательным собеседником, особенно во время обеда. Они постоянно вели бы долгие беседы на такие темы, как — тут Идельбрандо дель Кармен припоминал предметы некоторых разговоров с братом Тенорио Лопесом — старинный обычай крестьянок хранить монеты и желчные камни в уголках платков или бессовестные достижения русской науки, запустившей потрясающие искусственные спутники в небо, где они теперь кружат над Землей, будто мухи над тортом. Относительно последнего ангел бы замечал, потрясая Библией и вторя взволнованному этими мыслями отцу, что мечта человека однажды ступить ногой на Луну — безрассудная фантазия, самонадеянная греза червяка. Раньше, как прямо говорится в Писании, Луна обернется кровью.

Кроме долгих разговоров, а, по правде говоря, скорее бурных монологов ангела, ему, ангелу, больше всего скрашивало бы календарь — по его собственному выражению, которое он позаимствовал бы у "Жемчужных"[1], своих любимых юмористов, — если бы Идельбрандо дель Кармен, как примерный мальчик, сидел себе спокойно дома. Ему, ангелу, меньше забот, разумеется. И как всякий старый хитрый лис — ангелолис, — он старался бы подсластить подопечному пилюлю сидения взаперти, вызывая на быструю партию в шашки на замызганной картонной доске. Шахматы он бы не

1. "Жемчужные" ("Los Perlas") — чилийский музыкально-юмористический дуэт, созданный актерами Оскаром Оливаресом и Луисом Кастильо в 1955 г.

жаловал. Напыщенно и педантично говорил бы, что это игра для тех, кому нечем занять разум. Как и разгадывание кроссвордов.

А когда по какой-то безотлагательной причине им все же приходилось бы выйти на улицу, ангел, чтобы подтвердить свою профпригодность, неуклюже старался бы оградить его от маловероятных и далеких неприятностей. Силясь шагать в ногу с ним, он бы жутко переживал (крутя головой, как курица) из-за малейшей выбоинки на дороге и не сводил бы глаз с безобидных цветочных горшков на балконах. И просто надувался бы от гордости, доведись ему заметить невинную банановую кожуру на тротуаре раньше Идельбрандо дель Кармена. Так же он расцветал бы всякий раз, как его просили проверить температуру воды для купания; довольный до безобразия, он бы осторожно пробовал в воду в ванне (даром что Идельбрандо дель Кармен видел ванны только в кино) носком своей огромной лапищи (его ангел страдал бы слоновой болезнью в одной ноге, как у той несчастной девушки, которую он видел несколько дней назад на мелководье городского пляжа).

Так сидел Идельбрандо дель Кармен и витал в мечтах о своем ангеле-хранителе тем воскресным утром. И к тому времени, как брат Тенорио Лопес поболтал у него перед носом крылышком разделанной курицы, призывая вернуться на землю, он, дав волю фантазии, уже наделил ангела чертами непочтительного престарелого бабника. Он представлял, как ангел машет крыльями, словно старый гусь, и пытается поднять ветерок, чтобы — по его собственным лукавым бесстыжим ангельским словам — оказать честь девицам и взвить им юбки, пока они выходят из воскресной школы и, улыбаясь и краснея, бредут через дворик к уборным.

17

Прямо в дверях кафе, где обычно полдничал, Идельбрандо дель Кармен, которому слойки в пакетике жгли подмышку, вдруг передумал, подхватил пакетик другой рукой, развернулся и направился в соседнее заведение. Если на него косо смотрят, принимая заказ на чай с хлебцами, то чего уж ждать теперь, когда он притащит булочки с собой и спросит только чаю.

В другом кафе он еще ни разу не бывал. Он спрятал пакет под зеленую кофту и сел за столик подальше от всех. Кафешка была такая же занюханная, как предыдущая и как большинство заведений у торговой галереи. Тот же прогорклый

запах, те же изъеденные жучком деревянные стены, тот же плохо вымытый пол и липкие столы. Однако одна деталь, культурного свойства, отличала новое кафе: на стенах висели старые черно-белые фотографии в рамках, засиженные мухами. На фотографиях изображались самые знаменитые виды столицы.

Официантка говорила с ним радушно, но чай горчил. Чувствовалось, что его не раз вскипятили. Официантка была молодая, худая, довольно высокая, с длинным и костлявым лошадиным лицом. Идельбрандо дель Кармен, искоса глядя на нее, подумал с жалостью, что, пожалуй, нет для женщины на свете хуже прозвища, чем Кобыла.

Вгрызаясь в булочку, он вспомнил про благословение. Он давно уже перестал молиться, стоя на коленях у кровати перед сном (молился, только если отец был дома), и, закрыв глаза, просить у Бог благословения перед едой, хотя при жизни матери этот обычай соблюдался неукоснительно, перед каждой трапезой, четыре раза на дню. Всегда и везде, куда бы нас ни занесло, следует благословлять пищу, — говорил отец. И в сотый раз рассказывал историю про пастора-евангелиста, которому подсыпали отраву в еду, а он спасся божественной силой благословения. Зажмурившись, священнослужитель вслух благословлял пищу, и тут суп силой Господа забулькал в тарелке и стал изливаться на стол, превращаясь в омерзительную грязную пену. Встревоженный таким воспоминанием, Идельбрандо дель Кармен осмотрелся, выплюнул кусок булочки, склонил голову, закрыл глаза и быстро пробормотал наизусть молитву.

Успокоив таким образом совесть, он вновь отправил выплюнутый кусочек в рот. Отхлебнул чаю и принялся разглядывать ближайшую к столику фотографию. Внизу изображения виднелась полустертая надпись, некогда сделанная черными чернилами и каллиграфическим почерком: “Гора Санта-Лусия, Сантьяго-де-Чили”. На горной тропинке молодая мама присела на корточки рядом с сыном. Одним из самых трогательных и чувственных жестов, свойственных матерям, она придерживает пальцами детскую пипку и помогает ребенку прицелиться в ничего не подозревающий город внизу. Воображение Идельбрандо дель Кармена уже пустилось в галоп и сооружает историю вокруг инфанта с фотографии, прекрасного, словно греческая статуя на фонтане, и весело орошающего склон горы. Фотография черно-белая, но он отчетливо видит, что у мальчика морковного цвета шевелюра, а рубашка, трепыхающаяся на вечернем ветру, как сломанное крыло, — небесно-голубая. Видит, как

желтая струйка мочи змеится по склону и увлекает за собой сухие листики, веточки, зазевавшихся насекомых и гладкие круглые камушки, похожие на глиняные шарики. Мать изображает шум воды из крана или сдувающегося шарика, и мальчик писает долго, нескончаемо. Все писает и писает. Тонкая желтая ниточка превращается постепенно в грязную струю и сносит с места камни покрупнее и ветки с птичьими гнездами. Ниже по склону это уже стремительный глинистый поток, который смывает даже пару рассеянных старичков, радостно устроившихся на пикник с плетеными корзинками и клетчатой скатертью, уставленной сластями и банками варенья. Шоколадного цвета лавина добирается до дороги, быстро растекается по гладкому асфальту и затапливает улицы и проспекты, парки с влюбленными и площади со старыми фотографами и их допотопными аппаратами на треногах. Мальчик наверху все писает, и поток вспенивает тротуары, вливается в окна, подбирается к глубокоуважаемым и достопочтенным шеям сильных мира сего, и тут-то объявляют всеобщую тревогу. Небо, меж тем, затянулось пухлыми охряными тучами. Начинается дождь. Ливень. Сорок дней и ночей на землю изливается моча. Когда янтарные воды отступают, к горе причаливает деревянный ковчег. Ржавые петли скрипят, двери медленно распахиваются... Старик с заплесневелой бородой, из-за спины которого сонно выглядывают пары всякой твари, ошеломленно смотрит на великолепную радугу на горизонте, склонившуюся перед ним в поклоне...

Визгливые крики девчонки — судя по всему, хозяйкиной дочери, — заполошно ворвавшейся в кафе, чтобы сообщить матери, что кино уже начинается, уже марш играют, пусть поторопится, мигом вывели его из забытья. Он быстро допил чай и расплатился. И вышел на улицу, дожевывая последнюю половинку слойки.

Переходя улицу к кинотеатру, он все еще чувствовал на языке терпкую горечь перекипевшего чая. Сколько же раз в день они его кипятят в этой тошниловке. Даже запах чая бился у него в носу, как нечто почти осязаемое, плавал у лица, словно аура цвета клея.

В короткой очереди за билетами стояло несколько одиноких женщин. Идельбрандо дель Кармен уже знал, что женщины в одиночестве ходят обычно на второй сеанс, и все они окутаны легкой дымкой меланхолии. На дневном сеансе встречались сплошные девчушки в платьях с воланами и бантами в волосах; самые хорошенькие — в сопровождении кавалеров, остальные — в окружении легиона младших братьев и

сестер. Вечерний сеанс, напротив, заполнялся одними женатыми парами и девицами, висшими на локтях у своих женихов. Он изредка видел одиночек, но это все были потасканные скучающие проститутки, размалеванные так, что аж страх брал, либо экстравагантные дамы за пятьдесят в поисках неизвестно каких романтических приключений.

Когда в очереди перед ним оставалось три человека, явился один мальчишка из тех, что торговали приправами на ярмарке, и стал выпрашивать монетки. Завидев Идельбрандо дель Кармена, мальчишка, по прозвищу Черный Перчик, старательно изъявил свое почтение. Дождался, пока Идельбрандо дель Кармен купил билет, взял его под руку и с таинственным видом отвел в сторону.

– Слышь, попка, – сказал он тихо, – Ущипни-Луну тебя везде ищет.

– Да я знаю, – ответил Идельбрандо дель Кармен.

– Он при ножичке.

Идельбрандо дель Кармен пожал плечами.

– Я бы на твоем месте перо добыл.

– Обойдется, думаю.

– Ну, моя совесть спокойна. Я тебя предупредил.

Идельбрандо дель Кармен поблагодарил его.

И, оставив себе ровно на мятную жвачку и автобус, отсыпал ему остальные монетки.

– Береги себя, попка, – вместо “спасибо” сказал Черный Перчик. Льстиво и нахально похлопал его по спине и опять стал с протянутой рукой у билетного окошка.

Идельбрандо дель Кармену Черный Перчик напоминал одного приятеля с прииска, тоже по кличке Чернявый. Они даже ходили одинаковой птичьей походкой: ноги слегка согнуты, земли касается только носок. Чернявый был худощавее и печальнее Черного Перчика (и уже, конечно, не такой ушлый). Как многие дети в пампе, он работал, и остальные не столько восхищались им, сколько завидовали, потому что ему не нужно было ходить в школу. Чернявый трудился на предподрывной подготовке, самой рискованной должности, какую шахтеры могли доверить ребенку. Благодаря субтильному телосложению, он идеально подходил для этого ремесла. Его привязывали за ноги и запускали головой вперед в расселину шириной не больше 35 сантиметров и глубиной в три или четыре метра. Внутри висевший вниз головой Чернявый потел, как конь, и маленькой киркой выбивал углубление в форме чашки, куда потом закладывали порох. Взрыв после подготовки оказывался мощнее. Идельбрандо дель Кармен видел такое всякий раз, когда приносил отцу обед.

Он обычно смотрел некоторое время, как его обнаженный по пояс старик под солнцем дробит стальным двадцатипятифунтовым молотом куски селитры, а после убредал искать своего друга Чернявого. Однажды тайком от отца, чтобы попробовать, каково это, он тоже дал обвязать себя веревкой и запустить вниз головой в расселину. Но застрял на полпути (любовь к хлебу отразилась на пузе), весь взмок и чуть не задохнулся от пыльной взвеси. Пришлось срочно, в панике вытаскивать его. Больше он нырять не отваживался. "Все равно как тебя заживо хоронят", — содрогаясь, рассказывал он потом Чернявому, пристально, без всякого выражения смотревшему на него глубокими и мутными глазами.

Идельбрандо дель Кармен купил жевательную резинку. Он стоял у корзинки продавца и разворачивал упаковку, как вдруг в фойе вошла женщина, показавшаяся ему знакомой, и стала в очередь за билетом. Он вытянул шею, чтобы получше разглядеть ее в толчее. Это была она. Белокожая, с большой родинкой над верхней губой. Во всем черном, как и в ту субботу, когда он подсел к ней на последнем ряду балкона. Сегодня она пришла со скромно одетым мальчиком, постарше Идельбрандо дель Кармена. Юное лицо мальчика пылало смущением. Пока она покупала билеты, он с нарочитым вниманием изучал афиши. Идельбрандо дель Кармен долго смотрел на него: таких бедолаг с идеально прочерченным пробором, миловидным личиком и персиковой кожей в квартале обычно дразнят Пупсиками.

Из всех женщин, которых он трогал в кино за коленки, эта легче всего поддалась на его маневр и очень удивила тем, как повела себя в ответ. В ту субботу он лениво развалился на балконе, и вдруг вошла она. Свет еще горел, и народу в зале было очень мало. Он следил взглядом, как она поднимается по лестнице слева. Медленно и томно, с той же сладострастной небрежностью, с какой жевала резинку, она добралась до последнего ряда балкона. Лет тридцать-тридцать пять, не больше; во всем черном; узкая-преузкая юбка очерчивает линии ладного тела. И, что необычно для женщины, приходящей в кино без компании, даже хороша собой. Если смотреть в профиль, немного похожа на учительницу испанского из его пятого класса, крепко сбитую красавицу, у которой на уроках из-под юбки всегда были видны ноги. Когда звенел звонок, половина учеников, уже в боевой готовности, окружала ее стол, раскрыв тетрадки и донимая вопросами про самые заковыристые спряжения глаголов, пока остальные ныряли под стол, чтобы просунуть голову ей между толстых, розовых и душистых колен. Будоражащая игра продолжалась

до тех пор, пока однажды в среду, на второй перемене рассеянная учительница не почувствовала, как на икры ей брызжет теплый дождик. Она быстро наклонилась и обнаружила под столом стоящего на коленях классного верзилу: он закатил глаза, скривился в экстазе, пытаясь сдержать стон, и все еще сжимал в руках влажное орудие преступления.

На последнем ряду балкона никого не было, кроме недавно пришедшей женщины. Просто подняться и пересесть казалось верхом нахальства. Когда свет погас и начался фильм, мексиканская картина с Вирутой и Капулиной[1], народу на балконе прибавилось, но последний ряд оставался в исключительном распоряжении загадочной дамы. В смятении и тревоге он то и дело оборачивался, но не мог решиться.

Но потом его все же "взяла нелегкая", как говорила мама, и он сорвался с места. В разгар какой-то смешной сцены, укрываясь густой волной смеха, переполнившей зал, как щитом, он решительно поднялся по лестнице возле туалетов. Со свойственным робким мальцам отвагой и наглостью он как ни в чем не бывало уселся рядом с незнакомкой, будто бы это было единственное свободное место. Некоторое время посматривал искоса, изучая ее профиль (в ленивой манере пережевывать резинку ему виделось некое успокаивающее добродушие); потом придвинулся и коснулся локтем руки. Она не отодвинулась. Вдохновленный результатами первого наступления, он уронил руку в сантиметре от ее бедра. Выждал несколько малоинтересных эпизодов и на очередном гэге, сделав вид, будто его всего скорчило от смеха (она смеялась очень мило и естественно), придвинул мизинец и дотронулся до черной ткани платья. Потом легкий, воздушный, как перышко, палец взлетел и приземлился на ляжку, готовый, впрочем, сняться с места при малейшей тревоге. Никакого ответа (ни положительного, ни отрицательного) не последовало. Идельбрандо дель Кармен подождал еще минутку и присоединил к мизинцу безымянный палец, затем — средний, и, наконец, всю влажную плоть ладони. Сердце бешено колотилось, между ног стремительно вспухало и твердело. Он ни на миг не переставал исподтишка следить за женщиной. Она, казалось, была полностью поглощена фильмом. И вдруг, когда он уже начинал мягко поглаживать бедро, случилось нечто поразительное: женщина привычным движением, словно они уже сто лет были любовниками, взяла его ру-

1. Вирута и Капулина — комический музыкальный дуэт мексиканских актеров Марко Антонио Кампоса (1919–1996) и Гаспара Энайне (1926–2011).

ку и ласково сжала. Он совершенно опешил, будто бы в зале внезапно зажгли свет, испуганно повернул голову и в открытую уставился на незнакомку. Она смотрела на экран и блаженно улыбалась.

Потом она обняла его и стала страстно, безрассудно, с безудержной жадностью похотливой сумасшедшей целовать, запуская длинный змеящийся язык ему в глотку, и тут Идельбрандо дель Кармен по-настоящему испугался. Хрипло и както безумно черная вдова все время шептала, скорее, себе, а не ему: “О, мой малыш, мой малыш”.

До тех пор Идельбрандо дель Кармену дважды приходилось иметь дело со взрослыми женщинами. В первый раз — с толстухой-хозяйкой лавки на углу в квартале Лаутаро. Она наняла его прибраться в лавке и, когда они на минутку остались наедине, взволнованно подскочила к нему, схватила его руки, дыша тяжело, как паровая машина, сунула их себе под блузку и провела по своим грудям, больше похожим на коровье вымя. Во второй раз — с медсестрой из больнички в Альгорте, той самой, что в шутку задирала белый халат почти до трусов и щеголяла костлявыми ногами. Но толстуха из лавки так себя повела, потому что была несчастной, нуждавшейся в любви женщиной, да и плутовка-сестричка ничем не угрожала ему и просто забавлялась, выставляясь напоказ. Разумеется, в счет шли и рискованные игры с дочерью брата Тенорио Лопеса, но та-то была еще девчонкой. Как и Мария Мариола, самая хорошенькая и боевитая его соседка по улице Чакабуко на прииске: с ней все произошло, когда ему было десять, а ей двенадцать. Ну, а с Блондинкой Мирейей дело ограничилось поцелуем.

Поэтому, пока сладострастная незнакомка в черном, напрочь забыв про фильм, не переставая покрывать его поцелуями и слюнявить лицо приторным языком, спокойно и сноровисто одну за другой расстегивала ему пуговицы на ширинке, он только и смог в предсмертном полуунижении-полунаслаждении вспомнить пословицу о горе-охотнике, который сам попал в капкан. До конца сеанса незнакомка дважды ублажила его руками.

Теперь Идельбрандо дель Кармен следил за тем, какие места выберут дама и мальчик. Когда они вошли в зал, фильм уже начался. Женщина, ведя за руку своего юного провожатого, поднялась на последний ряд, тот же, где разыгралось их приключение. “Вон вдова де Пальма, глянь”, — насмешливо прошептали во мраке.

Идельбрандо дель Кармен стоял у подножия лестницы, смотрел, как они ощупью бредут наверх, и не мог понять, жа-

леет он парня с младенческим личиком или завидует ему. В расстроенных чувствах он, как и на дневном сеансе, сел в первом ряду балкона. Только на сей раз почти с краю.

Слева от него малец в берете ел орешки и не переставал вертеться, будто у него свербило в заду. Справа старичок в очках принял такой безмятежный вид, что сразу стало ясно: вознамерился хорошенько вздремнуть. Идельбрандо дель Кармен перегнулся через перила: в партере полно народу. Он скрестил руки на груди. Постарался не думать о женщине в черном наверху, о мудром движении ее запястья. Журнал и краткое содержание картины закончились. По экрану поплыли титры. Он вспомнил про Роситу Кинтану.

Устраиваясь поудобнее, он вдруг углядел в неровном свете с экрана извилистую водяную змейку, огибавшую его ботинки. Повернул голову, желая увидеть устье лившегося сверху ручья, и рассмотрел, как в углу балкона, у последней ступеньки беззаботно мочится какой-то тип. Он вспомнил про мальчика с фотографии. Такие несусветности только и увидишь, что в знаменитом кинотеатре “Латорре”.

18

Туфелька была красная, новая, изящная, парящая на высоченной шпильке и с изумительной пряжкой в форме бабочки. Она вся переливалась, покрытая малюсенькими сверкающими чешуйками, и в самом деле напоминала туфлю какой-нибудь звезды. Когда Идельбрандо дель Кармен обнаружил ее на тротуаре, он как раз предавался мыслям о своей драгоценной Росите Кинтане, и экранный образ все еще играл на радужке его глаз.

Он только что посмотрел одну из, несомненно, лучших ее картин. Вот было бы здорово поработать с ней. Допустим, сыграть вместо Педро Армендариса роль ковбоя по имени Педро Менесес. Как сладостно было бы палить во все стороны из пистолета и спасти Патрисию, когда Ястреб и его головорезы напали на дилижанс, в котором она ехала со своей подругой Кларой. Прекрасная Патрисия — такая роль досталась Росите Кинтане в этом фильме: девица с замашками юной американки. Недаром она училась в Техасе и готовилась выйти замуж за богатого гринго по фамилии, смахивающей на название марки часов. И вот эта современная и честолюбивая сеньорита приезжает погостить на ранчо у отца и своими капризами и хитростями переворачивает с ног на голову всю тамошнюю жизнь. Дальше случается много всего — включая соревнования по стрельбе, неудавшуюся казнь героя на виселице, похи-

щение героини и кучу эпизодов помельче, — а в конце прекрасная Патрисия остается с Педро Менесесом, а ее подруга Клара — с Константино (Константино — это коренастый начальник полиции; его, как и несколько других персонажей в фильме, играет комик Фернандо Сото по прозвищу Масло). Но больше других запал Идельбрандо дель Кармену в душу и никак не идет из головы и наверняка приснится сегодня ночью эпизод, где бравый ковбой Педро Менесес, желая сбить спесь с гордой девицы (которая на протяжении почти всего фильма его в грош не ставит) и объездить ее, как, бывало, объезжал диких кобыл, яростно обменивается с ней пощечинами, а потом хватает и швыряет лицом вниз к себе на колени и спокойненько отшлепывает по попке, как какую-то соплячку. Идельбрандо дель Кармен, перевидавший все фильмы с Роситой, не знал, где она красивей: в многочисленных ролях паинек или в образе упрямой, дурно воспитанной оторвы, как в этой картине. В любом случае он и сам не отказался бы отшлепать ее, как герой, в смысле, ковбой Педро Менесес, в смысле, везучий актер Педро Армендарис. Такую-то роскошную задницу! "Роскошный антифонарий", — выразился бы брат Тенорио Лопес, который, с тех пор как вычитал это словечко в разделе "Ридерз дайджеста" "Обогатите ваш словарный запас", прибегал к нему всякий раз, когда, выкликая пирожные из Пики и стиральный порошок на углу рынка и пропустив бутылочку микстуры за обедом, усматривал в толпе необращенную с изобильными манящими ягодицами.

Когда Идельбрандо дель Кармен нашел туфельку, время подбиралось к десяти вечера. Он вышел из кино, брел вверх по улице Прат, глядя под ноги и зачарованно вспоминая кадры из фильма, и вдруг машинально наклонился за чем-то, что принял было за сумочку. Находка ждала его на скругленном и живом углу улицы Матта, по дороге к остановке автобуса у аптеки "Чили". Прохожие, тоже, очевидно, решившие, что он поднял сумочку, вначале смотрели на него недоверчиво. Но, увидев, что это всего-навсего женская туфля, усмехнулись со значением и продолжали субботний променад.

Однако трое представителей своеобычной человеческой фауны, прогуливающейся субботними и воскресными вечерами по опустелым центрам городов, остановились посмотреть поближе на блестящую красную туфельку и высказать мнение о ее возможном происхождении. Идельбрандо дель Кармен воззрился на них ошарашенно и загнанно, как, лежа на асфальте, смотрит человек, очнувшийся от обморока или только что попавший в дорожную аварию. Рядом с ним стоял высокий тощий старик весьма спесивой наружности и, красуясь, курил па-

пиросу; суконная шляпа и желтые от никотина усы придавали ему вид типичного героя-любовника из старого фильма вроде тех, что крутят в "Национале". Рядом расположился мужичок средних лет, грузный и с грубыми чертами; он говорил тягучим бесцветным голосом и, судя по застиранному дурацкому свитеру, сальной шляпе и мятым штанам, был безработным; от него разило прогорклым потом. Третьей оказалась рыжая женщина с медленными и какими-то коровьими движениями, одетая в шерстяную кофту, застегнутую на одну пуговицу, вторую сверху. Она держала за руку девочку в платье из шотландки. Девочка, тоже рыжеволосая, так же по-коровьи, как мать, пережевывала огромный ком розовой жвачки. Носы у обеих были широкие и приплюснутые.

Рыжая женщина сказала, мол, туфля мало того что красивая, так вроде еще и не ношенная, только-только купленная, и наверняка выпала у хозяйки из такой сетчатой сумки, как теперь носят, а уж она-то такую б не купила, Боже упаси, это ж ворам просто подарок.

Старик галантно выразился в том смысле, что, да простит его сеньора, при всем уважении, он решительно не может согласиться с ее предположением. Ему не без оснований сдается, что туфелька была куплена никак не сегодня. Почему? По одной очень простой причине: на дворе суббота, а в субботу магазины закрыты, тем более вечером.

Бесцветный мужичок с невыразительным голосом сказал, что, возможно, туфля затерялась, будучи снесенной в ремонт. Вероятно, владелица хотела сменить на туфлях набойки или сделать колодки пошире.

Спесивый старик картинно выпустил дым от папиросы "Монарх" и возразил, прибегнув к тому логическому аргументу, что "сапожные мастерские" — сделав нажим на словах "сапожные мастерские", — как и магазины, в такой поздний час по субботам закрыты. Самоотверженный и неизменно недооцениваемый цех сапожников — тут он опять принажал — не меньше других имеет право отдыхать и гулять по выходным, ну, согласитесь, сеньор?

— Прямо с ноги она свалиться-то не могла. Больно высокий каблучок, девушка бы заметила, — не потакая старикову остроумию, сказал простецкий мужичок.

— А ты, малец, снеси ее на радио, — произнесла рыжая дамочка, заторможенно переводя взгляд с Идельбрандо дель Кармена на туфельку. — Кто знает, может, еще и вознаграждение получишь.

И удручающе неторопливо принялась распространяться о том, что по всему видно, туфля высшего качества, сдается

ей, денег стоит немалых, она бы даже сказала, бешеных, и готова побиться об заклад, обронила ее одна из тех расфуфыренных мадам, что обретаются в южной части города. Там таких толстосумок пруд пруди. Ясно как день. Ни одна женщина из северных районов, вроде нее самой, и мечтать не может о такой роскоши, как пара подобных туфель. Пока у сеньоры не закрывался рот, Идельбрандо дель Кармен рассматривал ее и думал, что она просто вылитая рыжая корова из фильмов про ковбоев. Хотя сестра Олимпия Паласиос пару раз посылала его за молоком в коровник в квартале Орьенте, в памяти закоренелого киномана коровы из вестернов были куда всамделишней буренок из плоти и крови, которых он видел в Орьенте.

— Судя по высоте каблука и по декору, туфля может принадлежать танцовщице кабаре, — изрек величавый старик.

— Уж точно не Золушке, — сказал предполагаемый безработный.

— Вот и я о том же, — старик театрально понизил голос. — Слишком “шалавливая” обувка.

И, зайдясь утробным ехидным смехом вперемешку с бронхиальным кашлем дряхлого пса, старик с элегантными усами опять величественно затянулся и двинулся на юг по улице Матта продолжать субботнюю прогулку.

Между тем любопытствующих прибавилось. Но все они, убедившись, что находка не представляет интереса, сочувственно улыбались, окидывали жалостливым взглядом бедного “мальчугана” и лениво удалялись.

Идельбрандо дель Кармен с туфелькой в руке все это время только молча стоял, слушал рассуждения и перебранки болтливых уличных завсегдатаев и переводил вопросительный взгляд с одного на другого. Пока длился этот странный общественный совет, он чувствовал себя неловко и глупо, как будто его подняли на смех. Ему казалось, что он держит не обыкновенную женскую туфлю, а нечто дьявольское, вроде чешуйчатого, красного, сверкающего кота, и кот этот мерзко верещит во все горло на самом оживленном углу в сердце города.

Когда скопище зевак рассосалось, Идельбрандо дель Кармен развернулся и пошел обратно по улице Прат к ближайшей радиостанции. Влекло его, скорее, не предполагаемое вознаграждение, предначертанное сеньорой-рыжей-коровой, а смутная возможность полюбоваться элегантной красавицей, потерявшей туфельку. Ведь если судить по мычанью сеньоры Буренки (его мама тоже называла богачей толстосумами), владелица туфли, несомненно, высокая, очень высо-

кая, изысканная и элегантная, как жена министра, и, разумеется, писаная красотка. Хотя не исключено, что она танцует в кабаре, как сказал этот пошлый старикашка. Может, в "Люцерне". И улыбка и ноги у нее — как у Роситы Кинтаны. Его вновь посетил образ Патрисии, восхитительно визжащей и сучащей ножками на коленях у ковбоя Педро Менесеса.

В те дни самой популярной радиостанцией в Антофагасте была недавно открытая "Передовица". Располагалась она на улице Сукре, в четвертом этаже жилого дома, рядом с площадью Колумба. От угла, где нашлась туфля, — четыре с половиной квартала. По дороге Идельбрандо дель Кармен воображал интервью с ведущим:

Ведущий: Где вы нашли эту туфельку, молодой человек?

Он: В центре, сеньор.

Ведущий: А скажите, молодой человек: почему вы решили взять на себя труд принести ее в нашу студию? Поступок весьма похвальный, конечно же, но странный, не правда ли?

Он: Просто я евангелист, сеньор.

Ведущий: Что ж с того, юноша? Объясните нам.

Он: Нас, рабов Божиих, с самых детских лет приучают к честности, сеньор, ибо, как гласит Священное Писание, Евангелие от Матфея, глава...

Нет, уже лучше сразу замять все евангелическое, а то еще чего доброго его понесет проповедовать по радио.

Ведущий: Кому бы, молодой человек, по вашему мнению, мог принадлежать этот превосходный предмет гардероба?

Он: Ангелу, сеньор.

Ведущий: А скажите, юноша: ожидаете ли вы какой-либо награды?

Он: Только увидать ангела вблизи, сеньор.

Идельбрандо дель Кармен улыбнулся. Как ловко выскакивали у него слова в воображаемых разговорах.

Ведущий: А что же, парень, что же такое ангел, как ты считаешь?

Он: Курица, стрекоза, или когда лимонная кожура в глаз брызнет, воздушный змей, Росита Кинтана...

Нет, не приведи Господи наговорить такой ахинеи в микрофон. Ведущий, пожалуй, решит, что у него горячка или он вовсе ума решился.

19

Не пройдя и квартала, Идельбрандо дель Кармен понял, как несподручно гулять по запруженной улице с одинокой женской туфлей в руках, в особенности, такой потрясающей.

Прохожие пристально и с явным изумлением вглядывались в невинный предмет.

Кричащий, карнавальный красный цвет туфли и блестящие чешуйки, вызывающе переливавшиеся в прерывистом свете неоновых реклам, вместе создавали ощущение, будто плененный Идельбрандо дель Карменом беззащитный зверек громко зовет на помощь.

Идельбрандо дель Кармену даже стало казаться, судя по настойчивым взглядам со всех сторон, что он несет не туфельку, а свежеоттяпанную окровавленную человеческую конечность. И сам он уже не всегдашний наивный ребенок из приличной евангелистской семьи, который и мухи не обидит, а беспощадный и циничный мясник, четвертователь женщин. На него так пялились, что он совсем смешался, застыдился и предпочел спрятать улику под мышку, укутав полой шерстяной кофты. И решил, что лучше свернуть с улицы Прат, в эти часы чересчур людной и светлой на его вкус.

На углу улицы Кондель он двинул налево, намереваясь добраться до радиостанции уже по Сукре. Там не толчется столько народу, нет ни одного большого магазина, нет больших витрин и светящихся вывесок, и можно будет проскочить незаметно. Время от времени, шагая прямо к цели по неприветливой и почти пустой улице, Идельбрандо дель Кармен, убедившись, что навстречу никто не идет, благоговейно вытаскивал туфельку из-под кофты и любовался ею со смешанным чувством восхищения и замешательства.

Несмотря на давнюю привычку ходить, смотря в землю в непрестанной надежде найти что-нибудь ценное, Идельбрандо дель Кармен никак не мог подумать, что однажды ему попадется женская туфля. Тем более, такая экзотическая. Он никогда не видел, чтобы обувь так сияла, сияла, словно небо над пампой, когда безлунными ночами огни в поселке гасли и в вышине словно расцветала головокружительная новогодняя елка, горящая мириадами перемигивающихся звезд. Кроме того, его поразила шпилька. Высоченная-превысоченная. Туфелька у него в руках не имела ничего общего с покаянными мужскими чоботами, какие носили почти все сестры в евангелистской конгрегации. Само собой, кроме записной модницы сестры Олимпии Паласиос. В сравнении с похоронного вида сестринскими башмаками на шнурках красная туфелька казалась такой же нежной и чувственной, как обнаженная женская ножка.

У фруктовой лавки, между Пожарной частью и кинотеатром “Империя” Идельбрандо дель Кармен остановился и внимательно осмотрел находку со всех сторон. Когда во вне-

запном свете фар многогранные чешуйки вспыхивали, он сравнивал ее с волшебной лампой, а иногда она походила на карликовую лошадку, на статуэтку пони из тех, что в плюмажах и блестящих подвесках выступают на цирковых манежах, или — тонкостью архитектурных линий — на крошечный макет роскошной яхты. И все больше он утверждался в мысли, что, как и уверяли его давешние собеседники на углу, туфелька не могла и не должна была принадлежать обычной женщине, нет-нет, только юной аристократке или знаменитой артистке кабаре.

Он опять зашагал от гор в сторону моря, нежно дотрагиваясь до туфельки под кофтой, как до живого существа. С невинным сладострастием неосознанного фетишиста он легонько поглаживал ее подушечками пальцев. Мягкость чешуйчатой кожи напоминала шкуру тех крупных сонных змей, что стараниями фокусников извивались у него на шее, а он, преисполнившись детского безрассудства и хвастовства, гладил их, чтобы все кругом видели. Но змеиная шкура была отвратительно тряской и дышала ледяным холодом. А ласкать восхитительные изгибы туфельки под кофтой было приятно; все в нем содрогалось и приходило в возбуждение.

Он пытался представить себе очаровательную ножку владелицы этой шкатулки для драгоценностей и, не имея примера прекраснее и достойнее, неизбежно возвращался к любимому образу Роситы Кинтаны. То же с ним происходило и бессонными ночами под одеялом, когда кровь вскипала пламенными ангелами: там он тоже ни о чем не думал, кроме бесконечных ног звезды. Даже воспоминание о сестре Олимпии Паласиос в неглиже, мельком увиденной в кухонное окно жарким днем, не могло вытеснить образ Роситы Кинтаны с его одиноких ручных всенощных. Призрачный силуэт его обожаемой артистки, улыбающейся целлулоидной улыбкой на гигантском экране безудержного воображения, был куда реальнее и горячее прекрасной сестры-евангелистки из плоти и крови. Однажды в церкви проходил вечер примирения; братья и сестры со слезами обнимались, просили друг у друга прощения за нанесенные обиды и признавались в дурных мыслях, и он чуть было не подошел к сестре Олимпии Паласиос и не брякнул, как нечаянно застал ее в полуголом виде и какие неблагочестивые мысли посетили его при виде выпуклостей ее тела. Но вовремя одумался. Во-первых, он честно сказал себе, что движет им не столько христианская тяга к примирению, сколько плотское желание обнять ее. Во-вторых, он вспомнил про лифчик, и уж в этом признаться не было никакой возможности. Он решительно не мог рассказать

сестре Олимпии Паласиос, что одним жарким вечером, пока она спала после обеда, он битый час возился с одним из ее черных бюстгальтеров, развешенных на веревке во дворике, пытаясь разобраться в устройстве крючков и научиться расстегивать их по памяти, мимоходом, одной левой.

Обжигающие воспоминания о Бытие, пышнокудрой смуглянке с большими черными глазами, тоже не выдерживали сравнения с киношным образом Роситы Кинтаны. Иногда Бытие тайком от матери приносила ему свежеснесенных белых яиц, которые сестра Орланда Пурисима дель Росарио считала менее ценными, чем пестрые. Идельбрандо дель Кармен же с удовольствием жарил из них яичницу на парафиновой горелке (и всякий раз, разбивая яйцо, с замиранием сердца надеялся обнаружить там нечто отличное от привычного содержимого). Порывистая Бытие с ее чувственными родинками, поразглядывав без интереса его библейские рисунки, рассыпанные на столе, принималась бессовестно кокетничать. Сперва хватала его за руки, чтобы сыграть в "кто кого поймает". Потом под любым предлогом просачивалась в спальню и устраивала шуточную потасовку (прямо как Мария Мариола в тот раз в Альгорте, когда, сидя на окне, кидалась в него крошками от своего праздничного торта, и в результате они стали "драться", и все закончилось чем закончилось). Бытие, которая была сильнее и выше Идельбрандо дель Кармена, швыряла его на проволочный матрас и в одышливой и молчаливой борьбе, похожей на спаривание, — в другой половине дома, за тонкими досками обедала ее семья — доводила его до лихорадки, до загустевания крови. Подчас, когда в неверном свете свечи из соседней комнаты он ощущал ее теплое дыхание на лице, Идельбрандо дель Кармена охватывало тревожное чувство, будто он сражается с огромным докучливым насекомым; в густом мраке спальни он, казалось, видел фасеточные глаза и фосфоресцирующие усики, похотливо трущиеся друг о друга на уровне лба.

Но когда он пытался перехватить инициативу, когда "нелегкая" уже потягивалась спросонья и совсем собиралась нагрянуть, огненная отроковица — совершенно не унаследовавшая материнского божественного благочестия, зато зачерпнувшая с лихвой отцовского плутовства — упархивала из комнаты, как мотылек. Растрепанная и раскрасневшаяся старшенькая брата Тенорио Лопеса едва не лопалась от сдерживаемого смеха.

Приключение же с Марией Мариолой на прииске Альгорта впервые пустило любовную рябь по водам его детства в пампе. Как же он тогда похвалялся другу Спичке своим под-

вигом. Теперь он понимал, что, если вдуматься, куда волнительнее самого происшествия была возможность расписывать его по многу раз фантазеру-приятелю. Ему, главному оборванцу из всех поселковых ребят, самому нахальному, которому пацаны дали прозвище Орленок, самому невозмутимому и неоспоримому чемпиону по киданию шариков в округе, выпала невообразимая честь обжиматься с голой Марией Мариолой на полу.

Ох и заливал же он тем вечером Спичке. Они сидели на пустых скамейках баскетбольной площадки, и его друг так недоверчиво смотрел и слушал, что Идельбрандо дель Кармену хотелось проглотить эту недоверчивость и наесться ею до тошноты. Надо же было отплатить бессовестному Спичке за все обманы, за все лживые истории про дядюшек, которыми он потчевал Идельбрандо дель Кармена, когда они прогуливали школу и болтались на железнодорожной станции, за беззастенчивые враки, столько раз приводившие его в изумление и отчаяние, ведь у него, несчастного обделенного мальчика, не имелось ни единого завалященького дядюшки (по крайней мере, ни с одним он не был знаком), про которого можно было бы хоть что-то рассказать. Теперь же требовалось потчевать Спичку до тех пор, пока из уголка раззявленного рта у того не засочится слюна. Повести рассказ так, чтоб он забыл моргать. Чтоб восторг плясал в затонах его зрачков, как "блинчики", что они пускали в соленых озерцах пампы. Чтоб углядеть на его курином личике едва заметный тик и убедиться: это волосатые лапки зависти уже пробегают по коже, медленно окрашивающейся в безошибочно зеленый цвет. Чтоб он сдох от зависти, этот чертов брехун Спичка, который за всю свою жалкую жизнь только и целовался, что с Шестипалой Марией, сикарахой, с которой ни один пацан гулять не хочет из-за лишних пальцев. По шесть на каждой руке, а говорили, что и на ногах по шесть. И поэтому она вечно носит парусиновые сандалии и ни в какую не снимает. А он, Орленок, лежал — ну и что, что на полу — с самой Марией Мариолой, а такой удачи завидущим глазам Спички вовек не видать.

Мария Мариола была, между прочим, самой красивой девочкой на всей улице Чакабуко, а может, и во всем поселке: белокурой (кроме нее, таких на их улице не водилось), высокой и с большими зелеными глазами, лучившимися весельем и бодростью. Пацаны любили ее не только за красоту, но и за то, что она, самая старшая из их шайки, — ей было почти тринадцать, когда всем едва перевалило за десять, — носила мужские штаны, разъезжала на взрослом велике и здорово умела танцевать ча-ча-ча. Ну и ругалась не хуже них.

Но поразительнее всего было то, что диковатая блондиночка с кошачьими глазами по-кошачьи же любила есть сырое мясо. Без единой капли лимона и даже без щепотки соли Мария Мариола у всех на глазах поглощала кровавые куски мяса каждый раз, когда мать посылала ее в лавку. Обалдевшие мальчишки смотрели и с отвращением кривились. Это плотоядное представление казалось им верхом лихости.

Во время карнавала Мария Мариола одна из всех девчонок с их улицы не позволяла облить себя водой или вымазать грязью или выпачкать лицо тестом. Чего уж там, она и пальцем не давала себя тронуть, неукротимая Мария Мариола. Ни один волосок не слетал с ее стриженной под мальчика головы. Наоборот, она сама, бандитка, доводила пацанов до слез грубыми карнавальными выходками. Даром что левша — сколько ящериц на селитряных отвалах она распотрошила одной левой, — Мария Мариола стреляла метко, и ни один снаряд из теста или из сажи, перемешанной с конфетти и клеем, не пролетал мимо цели.

Мол, у нее дома на кухне, во время сиесты, рассказывал Идельбрандо дель Кармен Спичке, он повалил ее на пол, а она была совсем голая. Мол, пока ее мать ходила в больницу, а отец еще не вернулся с шахты, они сначала поиграли в дрочку, а потом он на закорках отнес ее на кухню. И разложил на одеяле, которое стащил с кровати ее матери. И сначала снял с нее стоящее колом платье из органди, она ведь разоделась в свой день рождения (платье издавало такой же шершавый шорох, как слово “герань” из букваря, уточнил он, чтобы история выходила правдоподобнее), а потом одним махом сорвал розовые трусы. Мол, у Марии Мариолы там уже выросли волосы, доложил он Спичке фальшивым и развратным заговорщицким тоном, и он всласть обцеловал и обкусал все ее белые, все равно как у собаки, соски. И она тоже долго целовала его в губы, а язык у баб кисловатый, но приятный.

Очумительно было сидеть тем вечером под белыми облаками на баскетбольной площадке, нести всю эту белиберду и видеть, как глаза у его друга округляются, словно плошки с супом. Спичка впал в какой-то ступор и тупо и пристально следил за движением губ Идельбрандо дель Кармена, будто от переживаемого потрясения сделался малахольным и вдобавок глухонемым.

Конечно же, он и словом не обмолвился в тот вечер о том, что верховодила во всем Мария Мариола. Что она начала дразнить его и кидаться из окна крошками от торта, как только ее мать ушла из дома. Что она чуть ли не волоком затащила его в кухню. И сама расстелила под большим корявым де-

ревянным столом одеяло (выбрала серое, чтобы не испачкалось о земляной пол). И это она разом сорвала с него штаны (растянутые портки модели “не пропердишь”, которые мать в ту пору еще заставляла его носить) и позорные, сшитые из мешковины семейные трусы. И, моментально раздевшись догола и улегшись на одеяло, она сама схватила его за ляжки и уронила на себя.

И в тот вечер, когда они сидели на баскетбольной площадке, — куда проникли тайком, прорыв подкоп под воротами, — он не сказал Спичке еще и того, что, пока они, как звереныши, терлись друг о дружку под столом, задыхающаяся Мария Мариола окинула его взглядом течной сучки и, в бешенстве от его никчемности, обозвала губошлепом: “Ох и губошлеп же ты еще, Орленок”. И его обожгло обидой больнее, чем паратифозного ангела.

20

Словом, по дороге на радио Идельбрандо дель Кармен окончательно и бесповоротно наделил владелицу туфельки лицом и ножками Роситы Кинтаны. И между дамой из высшего общества, которую представляла себе сеньора-рыжая-корова, и танцовщицей кабаре, на которую намекал старик с усами героя старых фильмов, он уже был склонен выбрать второе.

Аристократка наверняка прибудет за туфелькой в длиннющем автомобиле последней модели. Как всякая уважающая себя богатейка, она, надо думать, живет в элегантном тихом районе. Дом у нее в несколько этажей, балконы выходят на море, на высоких железных решетках — кованые розы, а газон аккуратно подстрижен. Если зажмуриться, можно ясно увидеть: она вся разодета в нечто пастельное; креповая, почти невесомая шляпка мило сдвинута на бок; на руках — надушенная и причесанная собачка из тех, что похожи на плюшевые игрушки, размером не больше кошки. Эта дама, даже захоти она, не сможет пригласить его прокатиться на ее машине или побывать в ее особняке, ведь она — из высокопородистого семейства со служанками, мажордомом и сухощавой бабушкой, без которой не обходится ни один фильм про богатых, жутко высокомерной бабушкой, которая задерет благородный нос и брезгливо посмотрит на него в монокль как на плебея, как на чесоточную бездомную дворняжку. В лучшем случае, вооружившись золотой перьевой ручкой с ее инициалами, выведенными готическим шрифтом, и выписав щедрый чек в благодарность за похвальный поступок, рафинированная хозяйка красной туфельки запечатлеет мимолет-

ный поцелуй на его щеке и промурлычет “Прощайте навсегда, юноша” хорошо поставленным голоском дорогой куклы.

Если же ему выпадет повстречать звезду кабаре, как предсказывал старый похабник, кто знает, может, все обернется и поинтереснее. Возможно, прекрасная танцовщица, когда они выйдут с радио, затеет с ним дразнящую игру (вроде опасных забав Бытие): вся рассыплется в благодарностях и, нежно потрепав по подбородку, попросит, чтобы он сам надел на нее туфельку, совсем как в сказке про Золушку. Только тут получится наоборот: он будет несчастным принцем-золушонком, а она — сиятельной принцессой Золушалией.

Идельбрандо дель Кармен в мыслях уже галантно опустился на одно колено, как в романтическом фильме, и ласкал нежную, слегка бьющую током лодыжку Звезды Сельвы, королевы ночей Антофагасты (он не знал других сценических псевдонимов, кроме “Звезды Сельвы” — так называлась Бытие, когда играла у него в спальне в тихий стремительный стриптиз). А она, умопомрачительная, мерцающая созвездиями блесток и страз, в это время сидит нога на ногу на сидении такси (конечно же, она приедет за туфелькой в такси), смотрит на него, лицо ее заливается румянцем, и она смеется точь-в-точь, как чаровница Росита Кинтана (уму непостижимо: негодяй Педро Армендарис аж дважды съездил ей по восхитительному антифонарию).

И чем черт не шутит: вдруг, повинуясь порыву темперамента, чуть что настигающему людей искусства, она долгим взглядом вглядится в его глаза, возьмет за руку и пригласит его — нескладного тринадцатилетку, которому, однако, если одеть в костюм и галстук и набриллиантинить как следует, вполне дашь и шестнадцать, — сесть с нею в такси и отправиться в ее ослепительную гримерную примадонны, полную огней и зеркал, утопающую в букетах и полностью оклеенную фотографиями танцующей хозяйки, одетой лишь в стремящийся к нулю комплект из трех сверкающих серебристых звездочек.

Он улыбнулся себе под нос.

Почему бы и нет? Почему бы Звезде Сельвы не пригласить его к себе в гримерку? В конце концов, он тоже человек, не чуждый искусства. Конечно, он пока не так знаменит, как она. Но когда-нибудь прославится. В этом нет никаких сомнений.

Он был совершенно уверен, что обретет известность, вот только пока неясно — в каком виде искусств. Но уже точно не в пении — его скрипучий голос не красил церковные гимны. Ему никогда не стать певцом вроде некоего Пепе Лусены, которого он только вчера видел в фойе отеля “Антофагаста”, ко-

гда с десятком газет под мышкой вдруг решил завернуть туда после бухты. Может, дело и пойдет; и в любом случае он насмотрится изнутри на роскошное здание. У входа в фойе висел плакат, обещавший "Прощальный концерт испанского артиста Пепе Лусены в сопровождении легендарного оркестра 'Триана' и его сладкозвучной крунер-леди Марухи". Он просочился сквозь тяжелые стеклянные двери и увидел спесивого типа, раздававшего автографы постояльцам. Насладиться зрелищем не удалось, поскольку, не успел он разок выкликнуть газету, как какой-то малый в форме, похожей на одеяния Армии Спасения, выставил его на улицу. В общем, карьера певца ему не светила. Зато он может стать художником или киноактером или писать приключенческие романы; это ясно как Божий день, как дважды два, как, если американец куда-нибудь и засунет себе палец, так уж известно, в какое место.

Вот и учитель музыки ему то же самое говорил. Помнится, у них выпытывали, кем они хотят стать, когда вырастут, и он, чтобы насолить всем выискавшимся в классе врачам, адвокатам, инженерам и военным летчикам, заявил, что собирается стать мусорщиком. Деликатный учитель музыки, который по понедельникам на линейке пиликал на педерастической скрипочке первые ноты Национального Гимна, долго и задумчиво смотрел на него, а потом вынес окончательный смертный приговор: "С тобой дело плохо, дорогуша. Загремишь в артисты".

Брат Тенорио Лопес держался того же мнения. Хоть и говорил об этом, скорее, в шутку. Пока они, как каторжные, долбили кирками склон холма, ссыпали порошок в мешки лопатами и выволакивали из пещеры, брат поучал многочисленных сыновей, что их соседушка, вы не смотрите, что он такой простой парень, родился вовсе не затем, чтобы добывать хлеб в поте лица своего, как предписывает Библия; нет-нет, такие длинные тонкие пальцы, будто у пианиста, — или карманника, добавлял он на потеху ребятишкам, — пророчат, что в один прекрасный день он, Тенорио Лопес, возьмет да и обучит его игре на аккордеоне.

А отец, напротив, упорно не желал ничего знать о творческих устремлениях Идельбрандо дель Кармена. Всякий раз, как тот показывал рисунок, родившийся очередным одиноким вечером, отец вскользь оглядывал его и, даже если картинка изображала библейские события, пускался в проповеди о морали и практические наставления. Зря Идельбрандо дель Кармен попусту тратит время на такую ерунду. Все художники — прожигатели жизни, неисправимые гуляки и к тому же умалишенные. Лучше бы выучился нормальному ремес-

лу, как приличные люди: механике, к примеру, или строительству. “Даром что мы — чада Царя царей, — напоследок торжественно произносил отец, — нам тоже надобно зарабатывать на хлеб”.

Ах, его отец, вечно такой суровый, такой умеренный, в неизменных буланых ботинках, на которые для блеску поплевали, в старомодных темных костюмах, терпко благоухающий мылом “Гринго”. Дамское душистое мыло, одеколон, духи и лосьон после бритья для него не существовали. Как и накладные воротнички, булавки для галстука и золотые цепочки для часов, которыми щеголяли остальные мужчины. Все это он лихо отвергал одной цитатой из Экклезиаста: “Суета сует, все суета”. Правда, до недавнего времени — еще года четыре назад — отец признавал бриллиантин. В пору юности им двигало тщеславное желание походить на певцов танго, позже — простая любовь к опрятности и практичность: благодаря бриллиантину, раскидистая черная шевелюра всегда пребывала в порядке. Но однажды на прииске Альгорта с ним сыграли злую шутку, известную многим в пампе: сказали, будто нет лучше средства от вшей, чем черный порох. И он, всегда серьезный, правильный и честный с ближними, поверил и отнесся к рецепту с большим трепетом. Неделю спустя после жгучей головомойки вши действительно исчезли, потому что от черной копны волос не осталось и следа.

Таков уж он, его отец. Идельбрандо дель Кармен не сомневался, что, кабы ему велели, его старик, глазом не моргнув, отправился бы проповедовать на все четыре стороны спасение души на самом безлюдном углу самого пустынного селения, покинутого больше века тому назад. Пусть бы его слушали только сами четыре стороны. Эх, ему бы хоть половину жизнерадостности брата Тенорио Лопеса! Сообразительный и неизменно учтивый брат Тенорио Лопес на все смотрел с изрядной долей юмора. Даже на дела религиозные. Идельбрандо дель Кармену не забыть его истории про дохлого осла. Тогда-то он и вовсе несколько дней ни о чем другом не мог думать.

Дело было так: в родном южном селении брат Тенорио Лопес, тогда еще ребенок, вместе с другими мальчишками-ровесниками похоронил у сельской дороги черного осла со вспоротым брюхом, которого они нашли там мертвым. Они аккуратно обложили земляной холмик камушками, смастерили крест из штакетника и водрузили на могилу. Через пару дней некая хворая старушка, полагая, что это памятный знак по неупокоенной душе, зажгла у могилы свечку, прочла “Бо-

городице Дево, радуйся" и помолилась о чуде. Вскоре пошел слух, будто крестик у дороги благодатен и творит чудеса. И в мгновение ока над крестиком возвели кирпичный грот и две малюсенькие часовенки из железных листов, тут же заполнившиеся свечами, цветами и целой тучей благодарственных табличек. "Поэтому-то, — иронично говаривал брат Тенорио Лопес, — всякий раз, как слышу проповеди этих олухов-богословов, мнящих, будто они Господа ухватили за бороду, дрожу страхом великим и вопрошаю себя: а что, если Бог — всего-навсего огромный дохлый осел, которого схоронили на окраине вселенной?"

Иногда, разглядывая свадебный портрет родителей, где радостное выражение невесты так не вязалось с железобетонной физиономией жениха, Идельбрандо дель Кармен забавлялся, воображая, как бедняга фотограф потел за своим громоздким аппаратом и пытался выдавить из отца подобие улыбки. "А теперь улыбаемся, сеньор" — как об стенку горох; полная невозмутимость. Правда, еще более удручающей, чем каменное лицо, была отцовская шерстяная безрукавка, которую он зимой и летом носил под рубашкой. Идельбрандо дель Кармену не верилось, что в молодые годы, задолго до обращения в евангелисты, отец завоевал титул чемпиона по танго и милонге, о чем неоднократно рассказывал матери с нескрываемой гордостью.

Может, Идельбрандо дель Кармен как раз от него унаследовал артистическую жилку. Танец — он ведь тоже искусство. Он слыхал, отец как никто умел закладывать ногами крендель. Хотя теперь, когда отец познал Господа, развлечения, праздники и всякого рода скелетотрясение казались ему связанными с грехом похоти. И с амвона он чаще всего клеймил именно "рассеяние" и "похоть".

Кстати, Идельбрандо дель Кармен вспомнил, что в детстве не раз с восторгом наблюдал, как отец выделывает всякие штуки руками — по словам его приятелей, не хуже настоящих циркачей-жонглеров. Летними вечерами в Альгорте, сидя на валуне у дверей дома, отец, как всегда, церемонно и тщательно чистил яблоко перочинным ножом с костяной рукояткой. Идельбрандо дель Кармен с замиранием сердца гадал, оборвется или нет ленточка кожуры, с каждым вращательным движением яблока удлинявшаяся и удлинявшаяся завораживающей спиралью, все более хрупкой (сейчас упадет!), более тонкой (теперь уж точно!), более прозрачной (вот сейчас!). И кожура никогда не рвалась. Ни разу на памяти Идельбрандо дель Кармена кожура не оборвалась, покуда яблоко не оказывалось полностью очищено, и поэтому в такие минуты

отец, простой и незамысловатый, словно притча, силой великого подвига с яблочной кожурой превращался в истинного артиста, лучшего из всех.

21

Воображая, будто он актер и играет в фильме с Роситой Кинтаной главную роль, Идельбрандо дель Кармен добрел до темного угла улицы Сан-Мартин. Слева заросшая буйной зеленью и скверно освещенная площадь Колумба засыпала под охраной мраморной башни Английских Часов.

Могло показаться, что в такое позднее время главный променад города начинает пустеть. Но Идельбрандо дель Кармен знал, что это не так. Как раз теперь на темных скамьях, в самых дальних закоулках немощеных тропок, под зловонной листвой бругмансий, целый загадочный подпольный мир оживает, маслянисто и бесстыдно распускается, словно потаенный сад ночных цветов. Однажды вечером, когда он проходил по площади, мужчина, нелепо наряженный женщиной, охваченный странным свечением, словно болотная тварь, позвал его елейным голосом больной сирены.

Уже на полутемной лестнице жилого дома, в котором располагалась радиостанция, Идельбрандо дель Кармена охватили сомнения. А вдруг это туфля какой-нибудь старухи? Или затхлой бабищи вроде той, из лавки, которая заставила его мусолить ее коровьи титьки? Он с минуту постоял на лестнице. Все возможно. На площадке второго этажа подумал, а не развернуться ли и не послать все к чертям собачьим. Ощупал туфлю под кофтой. Для храбрости вытащил и в который раз осмотрел: нет, уж слишком она изящна; не может ее хозяйка оказаться похотливой толстухой из распивочной. Только красавицей из красавиц. Соблазнительная возможность познакомиться с женщиной, хоть отдаленно напоминающей Роситу Кинтану, решила исход дела. Царствие Небесное храбростью берется.

Наверху уже притомившийся Идельбрандо дель Кармен опять достал туфельку и тут же уронил. Быстро подобрал и огляделся: в темном коридоре ни души. Перед дверью с бронзовой табличкой, на которой были выбиты название и частота радиостанции, он еще некоторое время помялся. Глубоко вздохнул и осторожно постучал костяшками пальцев.

Дверь почти тут же приоткрылась. В комнате, видимо приемной, поверх руки мужчины, преградившего ему путь и не отпускавшего дверную ручку, он увидел еще одного мужчину и двух молодых женщин; все трое держали в руках бокалы.

Идельбрандо дель Кармен откашлялся, сбивчиво рассказал, зачем пришел, и протянул драгоценную находку. Под лампой дневного света в комнате чешуйки на красной туфельке переливались, совсем как у цветастой рыбки. На долю секунды Идельбрандо дель Кармен забылся, пораженный этим сравнением: хорошенькая красная рыбка.

Тип в дверях (длинные бакенбарды, узел галстука ослаблен, рукава белой рубашки закатаны по локоть) выслушал насмешливо и нетерпеливо. Затем смерил Идельбрандо дель Кармена с ног до головы взглядом, каким одаривают отвратного психа, ломящегося в чужую гостиную, и неохотно принял туфельку, ладно уж, пусть оставит.

— Сделаем, что можем, — пробурчал он.

И без дальнейших церемоний захлопнул дверь перед носом у Идельбрандо дель Кармена.

Идельбрандо дель Кармен вспыхнул и оцепенел во мраке коридора, не зная, что делать. Он чувствовал себя идиотом. Словно в замедленной съемке плыл сквозь пространство, а перед глазами бешено вертелись мириады красных, желтых и зеленых шариков. Нафантазировав столько всего прекрасного в связи с дурацкой туфлей, теперь он пребывал в отупении, как когда этот хромой мерзавец из "Латорре" обрывал картину на самом романтичном месте и зажигался слепящий свет и все вокруг вновь сводилось к печальной реальности замызганного зала, полного подавленных людей, покорно, словно стадо, вдыхающих мерзкие телесные запахи вперемешку с испарениями мочи, клубами вырывавшимися из уборных.

Очнувшись, но все равно ощущая, будто тело набили паклей, Идельбрандо дель Кармен стал спускаться. Он шагал по ступеням машинально, с болезненной медлительностью. Словно разложился на простейшие частицы. Что-то жесткое и обжигающее, как сгусток серной кислоты, ползало вверх-вниз по горлу. Он понял, что это желание заплакать.

На улице он еще немного постоял на тротуаре; ледяной ветер хлестал по лицу. Словно пьяница, выкатившийся из бара в незнакомом городе, он не знал куда идти. Сунул руки в карманы и побрел в сторону площади Колумба. Он испытывал такое же странное приподнято-грустное чувство, как по средам, когда выходил из кинотеатра, посмотрев одну картину три раза подряд. Ночь, холодная и сырая, вдруг подурнела.

Идельбрандо дель Кармен сел на длинную деревянную скамью. Сел и вытянул уставшие ноги. Сел и положил руки на спинку скамьи, разведя их во всю ширину, словно распятый. Сел и посмотрел на безобразный жилой дом. Сел и отчаянно вперился в освещенное окно четвертого этажа, под которым

виднелась вывеска радиостанции. В такие горькие минуты совершенно не хотелось думать, что у брата с сестрой есть стеклянный шар, и они наблюдают за его похождениями. Идельбрандо дель Кармен пребывал в смятении. Он чувствовал себя, будто бедный грустный ангел, которого не на шутку изволтузили в собачьей драке.

С высоты мраморной башни Английские Часы вальсом возвестили половину одиннадцатого.

Здорово было бы заиметь переносной радиоприемник на батарейках и в кожаном футляре. После чемпионата мира по футболу он часто видел на улице людей с такими штуками. Можно было бы послушать, как ведущий (наверняка тот самый треклятый филистимлянин, что принял туфлю) рассказывает в эфире о находке.

В каждом такси, тормозившем у жилого дома, ему чудились белокурая копна волос и мерцающее золотыми блестками длинное платье танцовщицы кабаре. В каждом новом автомобиле, проносившемся перед его увлажнившимися глазами — розовая шляпка и томный фламинговый профиль прекрасной аристократки. Всякий раз сердце принималось биться сильнее.

Прождав незнамо сколько времени неизвестно чего, он полностью раскаялся в решении прийти на радио. Он просто круглый дурак. Дурак в подарочной упаковке, как говорил один его учитель. Надо было оставить туфельку себе, на память. На память о чем? Он не знал. Сохранить, как хранятся в душе слова песен, напоминающих об историях любви — прожитых или воображаемых.

Когда мелизматические Английские Часы сыграли четверть неизвестного часа, он встал и зашагал прочь.

На опустелой улице Сукре, по дороге к автобусной остановке, жгучее желание заплакать сделалось невыносимым. Идельбрандо дель Кармен воображал, будто играет в печальной, душераздирающей последней сцене фильма с Чарли Чаплином и, как обычно, героиня с добрыми глазами достается не ему.

Улавливая внутренним слухом соответствующую музыку, пока за спиной медленно вырастало слово КОНЕЦ, Идельбрандо дель Кармен вышел на середину мостовой, как обычно делал в своих картинах ангельский человечек. Стараясь сдержать накатывающий всхлип, он увернулся от автомобиля (далеко не последней модели), поднял глаза к небу и глубоко вздохнул. Теперь уже разрыдаться на улице будет верхом безвкусицы. Невероятным усилием воли он принял решение посмеяться над всей этой историей и над самим собой и засеменил фирменной чаплинской походочкой. Но ноги и дух

отказались служить. Переживаемая им финальная сцена была слишком печальна.

Только на углу у аптеки “Чили” он заметил, что голова у него совершенно мокрая, а вся шерстяная кофта усеяна жемчужными капельками. Уже давно падал упрямый моросящий дождик. В черноте мокрого асфальта, словно в прохладной смоляной реке, отражались городские огни.

В расстроенных чувствах поджидая автобус, безутешный Идельбрандо дель Кармен машинально уселся на поребрик. Так тоже часто заканчивались фильмы с Чарли Чаплином. Будь у него букет, он принялся бы отрешенно обкусывать с него цветки один за другим, как Чарли в одной из самых щемящих сцен, какие ему только доводилось видеть в кино: грустный ангел, поедающий увядшие цветы. Неуклюжий оборванец из немого кино, вне сомнений, был ангелом — несообразным ангелом при тросточке и котелке.

Идельбрандо дель Кармен совершенно погрузился в мысли о Чарли Чаплине, которого считал родственной душой, и вдруг, словно в черно-белом фильме, увидел, как по противоположной стороне улицы идет девочка-альбиноска в платье для первого причастия. Ничего не замечая кругом, она брела под дождем. С волос и платья стекали капли; рукой она нежно, будто спящую голубку, прикрывала трогательнейший сверток с килограммом белого сахара.

Словно всматриваясь в воспоминание, Идельбрандо дель Кармен следил за отрешенным молочным свечением девочки во взвеси дождя, пока она не скрылась из виду. Глухой шум тормозов и зеленый бок внезапно возникшего перед ним автобуса № 3 мгновенно стерли ее сверкающий след из его глаз.

До своего квартала он добрался уже к полуночи. На улице не было ни души. У дома Блондинки Мирейи царила абсолютная тишина. Уже давно, с тех пор как в стычке враждующих банд убили одного из ее братьев, танцы по выходным отменили. Он долго глядел на запертый дом. Вид у дома был грустный. Или просто ему сейчас все виделось в грустном свете. В автобусе, уставившись в окошко — искаженный город за мокрым стеклом еще больше удручил его дух, — он придумывал, что бы ответил актер Брандо Таберна (вторая половинка имени плюс фамилия матери — так он подписывал свои рисунки), если бы у него спросили, как он себя чувствовал, снимаясь в такой невыносимо грустной финальной сцене. Знаменитому актеру негоже отвечать просто “плохо” или “очень плохо”, — как наверняка ответил бы он сам, унаследовавший от отца пресную лаконичность, — поэтому, прибегая к цветистому языку фокусников с Рыночной площади, он вы-

думал несколько ответов, достойных величайшего актера всех времен. Но ни один не удовлетворил его полностью.

Чтобы попасть во дворик, пришлось перелезть через высокий деревянный забор. В те дни, когда в церкви не было служб (а по субботам не было), сестра Олимпия Паласиос накидывала засов ровно в половину двенадцатого. Прежде чем отпереть свою дверь, Идельбрандо дель Кармен пошарил в бочке, зажатой между их домом и домом брата Тенорио Лопеса. Бочка, где теперь хранился всякий бесполезный хлам, в Альгорте служила резервуаром для питьевой воды и оставалась единственным, кроме деревянного стола и забитого посудой буфета, напоминанием о тех временах, когда мать работала с постояльцами пансиона. Отец складывал туда кривые гвозди, болты с заусенцами, задубелые дверные петли, старые подковы, лирические мотки проволоки и все, что ни находил на улице. “В городе все пригодится, сынок”, — задушевно говорил он медленными воскресными вечерами, когда, проштудировав в который раз какой-нибудь известный фрагмент из Библии, садился на корточки у дверей и шкурил болты, смазывал петли, разматывал проволоку и нещадно отбивал себе пальцы, пытаясь выпрямить гвозди, которые раскладывал затем по баночкам в зависимости от размера. Все это он проделывал со скрупулезностью часовщика и невозмутимой медлительностью старого бобыля.

“Хотя бобылем ему оставаться недолго”, — сказал себе Идельбрандо дель Кармен. Недавно выяснилось, что пастор полагает, будто отцу следовало бы снова жениться, и даже начал кампанию по поиску невесты. “Чтобы паренек не рос, как сорная трава, дорогой брат Хосе Олегарио”, — вот что сказал он отцу. Кандидатками на роль мамы являлись, разумеется, сплошь блаженного вида вдовы да старые девы, которых в конгрегации было видимо-невидимо. Сбитый с толку Идельбрандо дель Кармен только и смог в тот вечер, когда узнал о предстоящей женитьбе, что упасть на колени и горячо помолиться: Боженька, миленький, Иисус Милосердный, очень Тебя прошу, только бы отец не выбрал себе в невесты сестру Сиксту Монтойю.

Внутри бочки помещалась банка из-под сухого молока “Нестле”, полная гаек и шайб, откуда Идельбрандо дель Кармен выудил часы брата Тенорио Лопеса. Они условились об этом тайнике, чтобы Идельбрандо дель Кармену не приходилось будить соседа всякий раз, как он поздно возвращался из центра. “Классный парняга этот брат”, — подумал Идельбрандо дель Кармен, подражая в уме мексиканским выраженьицам и акценту комика Фернандо Сото по прозвищу Масло в

роли Константино, персонажа, который в фильме совмещал функции начальника полиции, почтальона, главного пожарного, мясника, судьи в мантии и шапочке и поэта, сочинявшего пышные речи для мероприятий.

Отпирая замок на цинковой двери, он вдруг вспомнил, что забыл в забегаловке газетную коробку. Завтра придется раздобыть новую. Ну что ж поделать. Накаркала официантка, мол, все равно коробка вся засалилась, пора менять.

Дома он зажег свечу и заложил дверь тяжелым засовом, привезенным еще из пампы. Прикинул, а не сварить ли каши. Нет, он слишком подавлен, чтобы есть. К тому же сахар кончился. Поднес свечу к рисункам, рассыпанным на столе. Безразлично оглядел их; рисовать вдохновения тоже нет. Ушел со свечой в спальню. Поставил подсвечник рядом с Библией и плюхнулся на кровать. Дрочить и то нет настроения. Он закрыл лицо руками и долго сидел, вспоминая день. Давно ему не было так одиноко. Посмотрел на портрет родителей. Все как всегда: мать улыбается, отец смотрит на него серьезно и сурово (он никогда раньше не задумывался об огромной разнице в годах между ними). Вдруг на него нахлынуло желание стать на колени и помолиться, но он остался сидеть на краю кровати. Взял Библию. Она была открыта на 91 псалме — старая семейная традиция. Прочел в тишине: “Живущий под кровом Всевышнего в тени Всемогущего обитает”. Не смог перейти ко второму стиху. Чуть не плача, вернул Библию на место. Снял ботинки с пряжками и морковного цвета носки. Полностью разделся и нырнул под одеяло. Сложил руки на затылке и, уставившись в гнутые жестяные листы на потолке, стал размышлять. Странная история приключилась с ним вечером. Душой он смутно чувствовал, что у красной туфли есть особый таинственный смысл. “Туфелька Роситы Кинтаны”, — окрестил он ее. В один прекрасный день он вернет ее. Когда станет артистом. Он ведь непременно станет артистом, нечего и сомневаться. И ему больше никогда в жизни не будет одиноко.

Идельбрандо дель Кармен почувствовал, как в горле опять твердеет что-то обжигающее. Вот еще, плакать! Нет уж! Он резко развернулся в постели и яростно задул свечу. И тогда, в темноте и тишине нищенской каморки он вдруг, словно впервые, осознал, как ужасно одинок в этом мире. И испугался. Одиночество упало ему на грудь, будто огромная, косматая, тяжеленная крыса. И в тоске он услышал свой собственный срывающийся голос, шепчущий в темноту:

— Папа!

Почувствовал, как слово вспыхнуло на губах и одновременно безудержными ручьями полились слезы. Они кати-

лись по обеим щекам и жгли, как кипяток, задевали мочки ушей, как кислотные реки, и, наконец, глухо скатывались в неизмеримую бездну подушки без наволочки.

Он плакал тихо и долго. Как не плакал с далекого Дня матери. Как будто это был его первый или последний детский плач. Потом, все еще плача, давясь рыданиями, стал молиться, просить, горячечно умолять о здоровье отца. Пусть Господь Милосердный, Небесный Покровитель, всегда охраняет его на работе, пусть с ним не случится никакой беды, пусть на нем всегда будет благословенная кровь Божия, пусть всегда жив и бодр будет его папа, потому что он его очень любит. Потом он потихоньку уснул.

Дом будто залит туманом. Без зеленой шерстяной кофты, холодный и голодный, он стоит, дрожа, у парафиновой горелки. Масло уже нагрелось и шкворчит. Он разбивает белое яйцо о край сковороды, запускает большие пальцы в трещину, мягко нажимает вширь и тут же, остолбенев и забыв выпустить из рук половинки скорлупы, пытается подхватить упавшее. Слишком поздно: ангел вспыхивает и сыплет искрами.

Петр Мицнер

Стихи из разных книг

Перевод с польского Игоря Белова

Из *книги* “Мышосыр” (2000)

* * *

Мы очертили себе
нерушимые границы
но очень мягким карандашом

это был лишь набросок

* * *

Как когда-то

прячусь от жары

в тени
моей полной мамы
которой здесь уже нет

© Piotr Mitzner
© Игорь Белов. Перевод, 2017

Редакция выражает благодарность Петру Мицнеру за любезное разрешение безвозмездно опубликовать его стихи на страницах журнала.

* * *

Было табу
и нет

Нет ничего лучше польских колбас
нет ничего лучше польских девиц
сорванных прямо с ветки
лучше пажитей водки

Польша
мое сердце бьется снаружи

Польша
дай огоньку

Польша о твой монумент выбью трубку
присяду на пути демонстраций

Патриотизм у меня
в аптечке первой помощи

* * *

Юные подхорунжии ночи
девственники истории

позади нас заговоры
силки и ловушки
пастухи и пастушки

песни уже
дымят на костях

любовь стоит под фонарем
на котором годами
висят предатели

в рюмочной ждет
водка холодная и суровая
как Сибирь

* * *

Не было никакого бога
не было никакого быка

Европа
ты сама себя похитила
изнасиловала
отрезала себе ухо
(вот откуда кровь на простыне
тайги)
и заплатила выкуп

* * *

в баре звонит телефон
в лесу звонит телефон

отыскало меня
либидо

но я
временно недоступен

* * *

Как тут холодно
без того ада
в котором
мы поддерживали огонь

* * *

Ничья вина
которую никто
признавать не желает

таскается по городу
мечтает отдаться

чтобы кто-нибудь взял ее
не на одну ночь

или взяли целой толпой
стала бы коллективной

не просит прощения

ей с ним нечего делать

Из книги “Пустошь” (2004)

Терпеливость мертвых предметов

Дом усмиренного хаоса
дом сдавленного крика

Взрослых нет дома
побежали за молнией
детей нет дома
побежали за молнией

а им хоть бы что
даже этим стеклянным

рюмка трезва
и целы зеркала разбитых семей

Если что-то трескается
то вдоль изъяна

Надписи на чемодане

1

Дорожные сувениры
лежат на пути
другого маршрута

2

Не хотелось мне ехать

Пригласил я домой путь-дорогу

повыдергивала цветы
сорвала занавески
спит свернувшись в углу

Из молитвы

хлеб наш насущный дай нам
(но только с маслом
ветчиной или

джемом)
и не черствый
(черствый — собакам и птицам бродячим)

в бездну смахнем мы одноразовые
крошки

и прости нам
силу вкуса

Возвращающийся

Насыпаю им просо ставлю стопки с водкой
по углам кладу фотографии
чтобы их приманить
чтобы вернулись
чтобы мы сказали друг другу

Нынче пришли
с нижних этажей
с безразличием и косноязычием

один пялится в телевизор
другой за столом листает мои дневники
третий хлебает щи из моей тарелки

Говорить не о чем
выхожу
хлопнув дверью

как тогда
точно так же
как через год

Из книги “*Предполагаемый субъект*” (2007)

Описание

С утра работал пытаясь
описать словами дуб
вычером из-под стола
выметаю белые стружки

Чудесный пруд

1.

Лежащая на песке
одежда зевает

пусть спит
кому нужен этот

мертвый свиток

2

но

то что раздето обнажено

правда осталась
в карманах

3

Я вышел из воды
на берегу не было
моего тела

Под занавес

Дома уезжают из нас
наши дома выселяются
не попрощавшись
оставляют нас на фундаментах
с вещами стоят
на перронах ночи

Из книги "Точка" (2011)

Уроки музыки

1

ах эти уроки музыки
синяки набитые клавишами

визг прошивает мозг
раз другой третий

пришивает голову
к темноте

за ухо

2

река
изменила
влилась в другое
ухо

Горы

Социализация гор
сближаются друг с другом
склоняют хребты
прислушиваются
уже не кричат
не бросаются камнями
в людей а людьми
в камни
сплошная полоса спокойствия
черная по ночам

темный массив

вспыхивают огоньки
в морщинках

нам остался темный костел
пустой немой глухой
без органа
без икон
эхо отзывается
на каждый оклик
не на что смотреть
нечего слушать
что мы сделаем в этом
темном костеле?
наверное будем

стоять в депрессии
и молиться

горам

Из *книги* “Ку-ку *на суку*” (2012)

* * *

Не
могу выйти
так как запер
в коридоре
ушедший год
чтобы тот не сбежал

П*олегчало*

Камень с души
упал

на ногу

С *тех пор как*

* * *

С тех пор как
нацистов повесили
на струнах фортепиано

не звучит

* * *

с тех пор как елисейские поля
заминированы
спокойно
не пройдешь

* * *

когда 17 июля 2011 г. в Шуварах спасатели
вытащили пани Ядвигу через крышу

а ее дом был полон мутной воды
она что-то сжимала в руке

не сумочку нет ничего подобного
не четки не страховой полис

то был
пульт от телевизора

О*говорка*

должен был прийти
врач

а пришел циркач

помог
чем смог

Н*астойка*

Настойка на обиде
недолго стояла

надо было спрятать
забыть
тогда б настоялась

Из *книги "после точки"* (2013)

О*хота на дерево*

сговорились

идут на дуб

идут тень в тень
вооружившись
топорами и канатами

говорят
рубец тебе настал

наступают
со всех сторон

бормочут
будь ты повален

окружают

вдруг стало
прозрачней
ствол упал

остались листья

Из книги “Не на месте” (2015)

Парковочные квитанции

* * *

и увидел я что это хорошо
но стер с поверхности
ластиком
ибо подумал:
сделаем еще лучше

и стало лучше
но только я
знаю об этом

* * *

тире
между датами

минус

плюсы стоят на пригорке у леса

* * *

Я почувствовала себя растроганной

я хотел чтобы ты дотронулась
до меня живого

говорит окурок
окурочке

* * *

нет
не убираю

да не убираю

я лишь собираю с пола
союзы скрепки

сами не справятся

* * *

тыква не хочет быть тыквой

хочет быть птицей
или маковым зернышком

тыква растушая в аквариуме
вырастет прямоугольной

рыба-тыква

* * *

тут я выбросил изображение в снег
чтобы не видеть его

чтобы видеть
только снег
и снег

и место где оно упало

* * *

на одной стороне
Музей пуговиц

на другой
Музей дырок

между ними
молниеносная
улица

Из книги “Польский пан” (2016)

Не знаю

До этой страны
никак не могу дозвониться

говорят этой страны не существует

выберу другую

но не могу выбрать

ибо не знаю
какую страну

я не люблю
еще больше

Интервью

не спрашивай его
кем он хочет быть
когда вырастет

и вообще
с наследником трона

не говори
о будущем

Tempus fugit

в магазине на углу
спрашивают: еще что-нибудь?

в рюмочной: как обычно?

значит, живой

tempus fugit

значит, струсил

Пропасть в пасти

Мне еще о многом
предстоит промолчать
чтобы не говорить с акцентом
молчу

молчу с акцентом

нечем говорить

весь обратился в слух
в оттопыренное ухо
отсутствия

Одежда из газет и волн

Памяти пана Тадеуша из Радомско[1]

* * *

тонет лодка с нелегалами

между землей сожженной
и землей огражденной

в картонных спасательных жилетах

на дно Средиземного моря
уходят последние свидетели
средиземноморской
цивилизации

дно дано им
как жилье

* * *

эти греки греческого не знают
не понимают сути трагедии
не умеют держать равновесие
не слыхали о золотом сечении
ах эти греки сплошное притворство

1. Посвящено памяти Тадеуша Ружевича (1921—2014). (*Прим. ред.*)

* * *

Бездомные самовольно
заняли билборд
рекламирующий нашу
свободную волю

никуда их не денешь
билборд-то ничей
билборд — это самострой
самосад — это наша свобода

* * *

вместо пальцев клавиши
вместо голов боеголовки

вместо нобелевки
динамит

вместо глаз ямы

* * *

смерть
прямой эфир

пламя маятник
пленный висельник
отсчитывает нас

Джон Ле Карре

Гвоздь в сердце, или Напоследок – о боли и были

Перевод с английского и послесловие Т. Казавчинской

О том, как я родился, и о разных других обстоятельствах

Этот дом часто попадался мне на пути. Неугомонные мои тетушки при виде него начинали галдеть: “Вот он, Дэвид (меня на самом деле зовут Дэвид)! Пора объявить его государственным музеем!” Но мне больше нравится не он, а другой – воображаемый. Из красного кирпича и дребезжащего ветра, обреченный на снос. С выбитыми окнами, табличкой “Продается” и сколотой ванной в саду. Утопающий в сорняках и строительной рухляди, с обломками витража в разбитой парадной двери – идеальное место для игры в прятки, а не для рождения ребенка.

Но как упорствует мое воображение, родился я именно здесь, точнее – на чердаке, среди груды побуревших картонных коробок, которые отец всегда увозил с собой, отправляясь в бега. Когда я впервые – вскоре после начала Второй мировой войны – заглянул в них тайком, то обнаружил только его личные вещи: масонские регалии, адвокатский паричок, мантию, в которой он собирался потрясти мир, нетерпеливо ожидавший, когда же он наконец приступит к изучению права, сверхсекретные планы продажи воздушных эскадрилий Ага-хану[1]. Но вот война закончилась, и в коробки перекочевала добыча покрупнее – товары с черного рынка: шоколадные батончики “Марс”, бензедриновые ингаляторы для без-

© John Le Carré (David Cornwell), 2003
© Т. Казавчинская. Перевод, послесловие, 2017

1. Султан Мухаммад-шах Ага-хан III – духовный лидер, 48-й имам мусульманской шиитской общины исмаилитов. Всю жизнь боролся за независимость Индии и отстаивал национальные интересы Пакистана. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

отходного потребления зелья, а после дня Д — капроновые чулки и шариковые ручки.

Отец всегда был неравнодушен к несуразным бытовым новинкам при условии, что достать их можно было только по карточкам, а лучше — и вовсе невозможно, вроде пластмассовой апельсиночистки, сломавшейся после первого же апельсина. Через двадцать лет, в бытность мою британским дипломатом в Бонне на берегах Рейна — Германия в ту пору еще была поделена на зоны, — в калитке моего дома нежданно-негаданно возник отец, почти целиком утонувший в стальной скорлупе коракла[1] на колесах. Это автомобиль-амфибия, объявил он. Британский патент у него в кармане — приобрел у берлинских производителей. Потрясающая штука, она нас озолотит. Он проволок этот драндулет по межзональному коридору под немигающим взором восточно-немецких пограничников. Нужно поскорей спустить амфибию на воду — не беда, что сейчас паводок и течение Рейна стремительней обычного. Я кое-как отговорил его, с трудом подавив снедавшее меня самого детское любопытство, и усадил завтракать. Подкрепившись, он ощутил необыкновенный прилив сил и поспешил в Остенде, а потом в Англию. Не знаю, докуда он успел добраться, но об автомобиле-амфибии речь больше не заходила. По пути Ронни наверняка перехватили кредиторы и отобрали игрушку.

Что не удержало его от возвращения в Берлин, который, как и другие разрушенные войной города, влек его к себе неодолимо. Года два спустя он вновь там появился, на этот раз представившись моим *консультантом*, и как ВИП персона охотно снизошел до небольшого тура по самой большой Западно-Берлинской киностудии, где вкусил от щедрот ее гостеприимства, включавшего, несомненно, и парочку старлеток, а также с глубокомысленным видом выслушал, какие налоговые послабления предусмотрены для сценаристов-иностранцев, и все это с благородной целью получше пристроить последний роман сына — "Шпион, пришедший с холода". Нечего и говорить, что ни означенный сын, ни "Парамаунт пикчерс", купившие права на этот роман, ни о чем подобном знать не знали.

1. Коракл — небольшая, легкая традиционная лодка; напоминает половинку ореховой скорлупы, с каркасом из ветвей, скрепленных жгутами из ивовой коры; обтягивается плотной тканью наподобие брезента, покрытой несколькими слоями лака; идеальное средство для плавания по небольшим рекам.

В доме, где я родился, не было ни электричества, ни отопления, чердак освещался бледно-желтым светом газовых фонарей, падавшим с Конститьюшнл-Хилл. Мать моя лежала на раскладушке и, что бы это ни значило, изо всех сил старалась произвести меня на свет: в пору, когда я впервые представил себе эту сцену, я был еще мало осведомлен о тонкостях деторождения. Отец мой, Ронни Корнуэлл, в франтоватом двубортном пиджаке и коричневых в белую полоску бриджах для гольфа, нетерпеливо переминался в дверях, то и дело поглядывая на улицу, а в выдававшиеся паузы призывал мать поторапливаться: “Милостивый Боже, Дрыгли, наддай, и дело с концом! Стыд и срам, да и только! Бедняга Хэмфрис уже задубел там, внизу, а ты все тянешь и тянешь!”

Хотя у матери было данное ей от рождения имя — Оливия, отец называл ее Дрыгли — всегда и везде. Впоследствии, повзрослев, правда, лишь с хронологической точки зрения: так сказать, достигнув молочно-восковой спелости, — я тоже стал давать женщинам дурацкие прозвища, чтобы не так их бояться. Прононс у моего отца был дорсетский — с раскатистыми “р” и долгими “а”, но самосовершенствование не знает преград, и ко времени моего отрочества он говорил почти, и все же не совсем, без акцента. Англичан, как мы знаем, судят по выговору, а уж в наши дни бренд — дело не пустячное. Безупречное произношение может вам обеспечить офицерский чин, открыть кредит в банке, гарантировать вежливость полисмена и даже получить должность в лондонском Сити. Ирония бурной судьбы Ронни состояла в том, что, удовлетворив свои амбиции и отправив нас с братом в элитарные школы, сам он — в соответствии с неумолимыми стандартами времени — оказался ниже нас на социальной лестнице. И Тони, и я без малейших усилий преодолели сословно-звуковой барьер, а Ронни так и остался выскочкой. Вряд ли он исправно платил за наше обучение, а если и платил, то, надо думать, не сполна, — зато он его *запустил*, что, с его точки зрения, только и было важно, особенно в военные годы. В одной из моих школ, где его мигом раскусили, с него бесстрашно потребовали плату вперед. И получили — в удобное для него время — в виде конфискованных на черном рынке сухофруктов: инжира, бананов, чернослива, а также ящика джина для персонала.

Но с виду — в чем и крылся его гений — он был сама респектабельность. Респектабельность, а не деньги, составляла главный предмет его забот. Его магия должна была находить себе подтверждение ежедневно. И мнение его о других определялось одним: считают ли они его респектабельным. Правду сказать, в обыденной жизни таких, как Ронни, можно

встретить на каждой второй улице Лондона и любого города любого графства. Он из тех крепких здоровяков, стремительных, беспутных, не чуждых подхалимства, которые одобрительно хлопают вас по плечу, устраивают вечеринки с шампанским для людей, пьющих его впервые, предоставляют свой сад для праздника баптистам, хотя в жизни не переступали порога их молелен; таких, как он, назначают почетными президентами юношеских футбольных и взрослых крикетных команд, которым в качестве призов они вручают серебряные кубки; и все это до тех пор, пока в один прекрасный день не выясняется, что Ронни или его двойник задолжал за год молочнику или местному механику, продавцу газет, виноторговцу, а то и хозяину магазина, поставлявшему те самые серебряные кубки, и тут наш герой обычно становится банкротом или отправляется в тюрьму, а его жена с детьми переезжает к матери и вскоре с ним разводится, потому что узнает то, что ее матери известно было с самого начала, а именно, что он не пропускает ни одной юбки в округе и что у него несколько незаконнорожденных детей, о которых он ни разу не упоминал ни словом. А когда наш шалопут выходит на свободу, он некоторое время ведет себя благопристойно, живет по средствам, скромно трудится, радуется простым вещам, пока кровь вновь не взыгрывает и он не принимается за старое.

Так вот, мой отец явно был тем самым малым: ему было свойственно все вышеперечисленное, но — в избытке. Чем дело не ограничивалось. Отличие состояло в размахе, силе, мощи. На его стороне были епископальное воспитание, экуменически-примиренческие интонации, выражение оскорбленной невинности и безмерная способность к самообольщению. Если наш обычный баламут продувает в 3.30 на скачках в Ньюмаркете последнее, что еще остается в доме, то Ронни безмятежно восседает в Монте-Карло, за массивным столом, перед ним — коктейль: бренди с имбирным элем за счет заведения, рядом — я, лезущий вон из кожи, чтобы выглядеть старше своих семнадцати, а по другую сторону — конюший короля Фарука[1], человек лет пятидесяти с лишним. Он частый гость за этим столом — элегантный, седовласый, бесстрастный и страшно утомленный; у самого его локтя покоится белый телефон, почтительно предоставленный владельцами казино и напрямую соединяющий конюшего с его господином — египет-

1. Фарук I (1920–1965) — король Египта и Судана 1936–1952 гг.

ским королем, который, как легко вообразить, пребывает в одном из своих дворцов в окружении астрологов. Белый телефон звонит, конюший усталым жестом снимает руку с подбородка, подносит к уху трубку, долго слушает, опустив длинные веки, затем, не выходя из транса, ставит очередной ломоть египетских сокровищ на красный, черный или какой там еще бывает номер — благоприятный с точки зрения каирских или александрийских знатоков Зодиака.

Какое-то время Ронни наблюдает за происходящим, едва заметно улыбаясь ханжеской улыбочкой, которая означает: "Ну, раз ты этого хочешь, старичок, так тому и быть". И раз за разом начинает подымать ставки. Сознательно. Великий стратег шлет в бой свои войска. Десятки сменяются двадцатками. Двадцатки — сотнями. И, швырнув на стол последнюю фишку, он властным жестом требует *еще*, и я с ужасом понимаю, что играет он не потому, что он в ударе, играет не на кров и дом, и даже не по-крупному. Он играет против короля Фарука. Если Фарук ставит на черное, Ронни ставит на красное. Если Фарук предпочитает нечетный номер, Ронни предпочитает четный. На кон уже поставлены сотни (а по-нынешнему — тысячи фунтов). Ронни хочет сказать Его Королевскому Величеству — исчезает ли в банке у крупье сумма, равная плате за школьный семестр или за весь учебный год, — что он на прямом проводе с Всевышним и у него, Ронни, связь с Ним куда более близкая, чем у какого-то мелкотравчатого арабского властителя, ибо он — благословенный, а за Фарука Господь гроша ломаного не даст, даже если корабль Ронни, спустив флаг, элегантно идет ко дну.

В тускло-лиловой предрассветной мгле мы бредем бок о бок по эспланаде Монте-Карло в сторону круглосуточной лавки ростовщика-ювелира, чтобы заложить платиновый портсигар марки "Бушерер"? "Бушерон"?[1] — точно уже не помню. "Завтра я отыграю все с лихвой, верно, младшенький?" — заклинает меня Ронни в фойе "Отеля де Пари", где он, слава Богу, уплатил за наш номер вперед. "Я покажу этому типу Фаруку, что к чему. Он продует вдвое больше моего! Втрое!" Скорее всего, ничего этого не будет, но Ронни, обменявшийся визитками с тем самым конюшим, возможно, с тем же успехом через два-три дня наберет каирский номер, представится человеком, который пару ночей назад играл с Его Ве-

1. Ювелирный дом Бушерон — всемирно известная французская ювелирная фирма "Бушерон" по изготовлению часов, ювелирных изделий, парфюмерии, а впоследствии и кондитерских изделий, основанная в 1853 г.

личеством в, так сказать, удаленную рулетку и объяснит, что по удивительному совпадению на следующей неделе он как раз посетит Ближний Восток, так что если у короля вдруг выберется свободная минутка, чтобы пропустить по рюмке, то и он сочтет своим долгом освободиться к этому времени. А если дело не выгорит в этот раз, то выгорит в другой и в другой стране. Ибо Ронни — наглядная иллюстрация его собственного афоризма: если на тебе чистая сорочка и ты попросишь, как положено, Господь всегда подтолкнет тебя в нужную сторону.

Короче говоря, я был произведен на свет. Моей матерью — Оливией. Послушно разродившейся *по-быстрому*, как того требовал Ронни. Который отчаянно спешил сделать последний рывок: удрать от кредиторов и спасти от окончательного замерзания мистера Хэмфриса, припавшего к рулю своего "ланчестера"[1] возле нашего дома. Потому что мистер Хэмфрис — не какой-то там простой таксист, а ценный соратник и к тому же хорошо оплачиваемый придворный Его Величества Ронни, а также выдающийся фокусник-любитель, который выделывает чудеса с обрывками веревки, превращая их в петли-удавки что тебе заправский вешатель. В тучные дни его сменяет мистер Натбим, у которого свой "бентли", но в дни похуже мистер Хэмфрис с его "ланчестером" всегда готов прийти на выручку. Едва я родился, как меня вместе со скудными материнскими пожитками — нас только что покинул очередной судебный пристав, так что путешествовать предстояло налегке, — сунули в багажник Хэмфрисова такси, словно контрабандную ветчину, которой Ронни промышлял два-три года спустя. Следом зашвырнули картонные коробки и заперли багажник. Я вращал глазами, пытаясь углядеть в темноте своего старшего брата Тони. Но — ни малейшего признака. Как и Оливии, сиречь Дрыгли. Ну, ничего. Я — родился и, словно вылезший на свет жеребенок, пустился бежать. С тех пор так и бегу.

О *моем первом знакомстве с тюрьмой*

У меня сохранилось еще одно "законсервировавшееся" детское воспоминание — тоже вымышленное, если верить моему отцу, который имеет полное право знать наверняка. Че-

1. Автомобиль производства британской компании "Ланчестер", в 1931 г. объединившейся с фирмой "Даймлер".

тыре года спустя в городе Эксетер я иду через небольшой пустырь. И держу за руку маму — Оливию, то есть Дрыгли. Мы в перчатках, и потому между нами нет прямого физического контакта. Сколько помню, его никогда и не было. Это Ронни всегда заключал меня в объятия, и никогда — Оливия. К тому же она была лишена запаха; это от Ронни пахло дорогими сигарами и крошечными грушевидными капельками масла для волос от мистера Тейлора с Бонд-стрит, придворного парикмахера, а стоило зарыться носом в ворс костюма — как всегда, сшитого на заказ мистером Берманом, — можно было, казалось, уловить и запах его женщин. Но вот мне двадцать один, и я иду вдоль платформы № 1 Ипсуичского вокзала с целью великого воссоединения с матерью после шестнадцати лет "бес-прикосновенной" жизни и, хоть убей, не знаю, как к ней подступиться. Она такая же высокая, как помнится, и состоит из сплошных углов: отставленные в стороны локти препятствуют объятию. Из-за неровной походки и беззащитного выражения вытянутого лица ее легко принять за моего брата Тони, только в белом парике.

Но вернемся в Эксетер: я иду, раскачивая затянутую в перчатку руку Оливии. У дальнего края пустыря проходит дорога, за ней — забор, утыканный сверху битым стеклом и железными шипами, а сзади стоит угрюмое здание со скучным фасадом и темными зарешеченными окнами — света внутри нет. И за решеткой одного из окон — на ум приходит неудачливый игрок в "Монополию", которого отправили в "Тюрьму", лишив прохода через поле "Вперед" и двухсот фунтов выигрыша, — я вижу отца: его голову и плечи. Подобно тому самому игроку, он сжимает прутья решетки своими крупными кистями. Женщины всегда отмечали красоту его рук, за которыми он неустанно ухаживал, никогда не расставаясь с кусачками, всегда покоившимися в кармане его пиджака. Широким лбом он упирается в решетку. Волос у него всегда было немного, но те, что имелись, струились "от верховьев к низовьям" плотным, черным, приятно пахнувшим потоком, обтекавшим по сторонам макушку, как тонзуру, что весьма способствовало его чувству собственной праведности. С годами поток поседел, а потом высох совсем, но подобающие возрасту морщины и упадок плоти, более чем заслуженные в его случае, так и не материализовались. Гётевская Вечная Женственность преобладала в его натуре до самого конца. По словам Оливии, он гордился своей головой не меньше, чем руками, и вскоре после женитьбы заложил ее анатомическому театру за пятьдесят фунтов: деньги — вперед, товар — *по факту*. Не помню, когда услышал его признание на сей

счет, но знаю, что, с тех пор как удостоился оного, стал поглядывать на него оценивающим взором, сродни палаческому. Петля не подойдет: шея слишком широкая там, где крепится к корпусу. Куда лучше всадить топор — примеривался я, — если дойдет до дела. Воображаемое отцеубийство вошло у меня в привычку сызмала и время от времени дает о себе знать и годы спустя после кончины Ронни. Скорей всего, тогда это была лишь досада, ведь мне ни разу — ни единого разу! — не удалось припереть его к стенке.

Все так же не отпуская зачехленную перчаткой руку Оливии, я машу Ронни, который виднеется в оконном проеме, и Ронни машет мне в ответ своим обычным манером: откинув плечи назад и застыв в статуарной позе, вздымает руку жестом пророка, которому внемлют небеса. “Папа! Папа!” — ору я голосом лопающейся от гордости исполинской лягушки и шагаю к машине под крылом у Оливии. Ведь что ни говори, не каждому мальцу мать предоставлена в полное его распоряжение, пока отца он держит в клетке.

Впрочем, если верить моему родителю, ничего этого не было. Мысль, что я мог видеть его в одном из его узилищ, ранила его болезненно: “Сплошные выдумки — от первого до последнего слова, сынок”. Ну хорошо, соглашался он, положим, посидел он в Эксетере всего ничего — ведь, в основном, сидел-то он в Уинчестере и в Скрабсе[1]. Да и преступного ничего не совершал — ничего такого, чего разумные люди не уладили бы между собой в два счета. Плевое дело, стоял он на своем, вроде недостачи пары монет в почтовой марочной шкатулке, которые прикарманил мальчишка-курьер, да вовремя не положил на место. Но дело совсем не в этом. Дело в другом, жаловался он по секрету моей единокровной сестре Шарлотте, дочери от другого его брака, жалуясь на то, что я и вообще его не уважаю, то есть не отчисляю ему солидную долю своих гонораров и жалею пару сотен тысяч на чудное парковое кольцо, которое он разбил бы для какого-то облапошенного им местного совета, — да, так по-настоящему дело в том, и это прекрасно известно каждому, кто бывал в Эксетерской тюрьме, что из камер дороги *не видно*.

И я ему верю. Верю и сейчас. Я не прав, а он прав. Никогда не стоял он у того окна, и никогда я ему не махал. Впрочем, что такое правда? И что такое память? Нужно найти какое-то другое слово для прошлого, которое живет в нас, не умирая. Я

1. Уормвуд-Скрабс — тюрьма Ее Величества, расположена в районе Западного Лондона Уормвуд-Скрабс.

видел Ронни в том окне так же ясно, как вижу сейчас: вижу жест, которым он ухватился за решетку, его могучий торс, обтянутый тюремной робой с прочерченными на ней стрелами — точь-в-точь как в известных комиксах для школьников. С тех пор для определенной части моего "я" он существует только в таком виде. Я знаю, что мне тогда было четыре года, потому что через год его уже выпустили, а еще через несколько недель или месяцев Оливия ночью тихо выскользнула из дому и исчезла на шестнадцать лет, пока я не отыскал ее, мать двоих детей, в Суффолке. С собой она взяла только чемодан: элегантный, белый, из телячьей кожи и на шелковой подкладке — от "Хэрродса"; я наткнулся на него у нее в коттедже после ее смерти. На единственную вещь, свидетельствовавшую о ее первом браке. Чемодан этот и сейчас у меня.

Я вижу, как он сидит в камере на краю нар, ссутулившись и охватив руками свою запроданную анатомическому театру голову, — гордый юноша, никогда не знавший голода, ни разу в жизни не выстиравший своих носков, сроду не застеливший собственную постель, — и думает о трех богобоязненных, души в нем не чающих сестрах и обожающих его родителях: о матери, которой он разбил сердце и которая, ломая руки, только и делает, что вопрошает Господа: "За что? За что?" — на своем ирландском английском, и об отце — в прошлом мэре Пула[1], олдермене и масоне. В душе оба они вместе с ним отбывали каждый миг его заключения. Оба преждевременно поседели, ожидая его возвращения. Как Ронни, упиравшийся взглядом в тюремную стену, выдерживал эти мысли? Как с его самолюбием, всесокрушающей энергией и напористостью переносил заточение в четырех стенах? По природе своей я такой же непоседа, как он. Спокойно не могу высидеть и часа. Даже за книгой — ну разве что немецкой. В театре и на хорошей пьесе я ерзаю и жду антракта, чтобы размять ноги. Когда я пишу, я то и дело выскакиваю из-за стола, кружу по саду или выбегаю на улицу. Даже в туалете я не могу усидеть больше трех секунд, а если при этом — о ужас! — выпадает ключ, я торопливо сую его на место, с меня семь потов сходит от страха, и я кричу, чтобы меня выпустили. Но Ронни в расцвете лет отсидел немало — три или четыре года. Не успел он и первый срок отбыть до середины, как против него выдвинули новое обвинение и накинули еще годков. Сколько-то сидел он и в бо-

1. Пул — город на английском побережье Ла-Манша, расположенный неподалеку от курортного Борнмута.

лее зрелые годы: в Гонконге, Сингапуре, Джакарте, Цюрихе — правда, по нескольку недель, максимум — месяцев.

В Гонконге, собирая материал для "Достопочтенного школяра"[1], я отправился на бега и на ипподроме "Счастливая долина", на трибуне холдинга "Джардин и Мэтисон"[2], столкнулся нос к носу с его бывшим надзирателем: "Мистер Корнуэлл, сэр, ваш отец — один из самых обходительных джентльменов, каких я только видел, присматривать за ним было для меня честью. Я скоро выхожу на пенсию, и, как только вернусь в Лондон, он пристроит меня к делу". Даже в тюрьме Ронни сумел охмурить тюремщика и прикинуться важной шишкой.

Я — в Чикаго: участвую в какой-то худосочной кампании по рекламе британских товаров за границей. Генеральный консул, в чьем доме я гощу, протягивает мне телеграмму от нашего посла в Джакарте, тот сообщает, что Ронни в тюрьме, и спрашивает, не выкуплю ли я его. Я готов оплатить требуемое, но пугает меня другое. За все про все — пара сотен фунтов. От Ронни отвернулась удача!

Он звонит мне из цюрихской окружной тюрьмы, куда угодил за гостиничное мошенничество, и пытается доказать несостоятельность обвинения. "Сын? Это твой старик". — "Нужна помощь, отец?" — "Ты не можешь вытащить меня из этой чертовой дыры, сын? Все это чистое недоразумение. Эти ребята просто не хотят смотреть фактам в лицо". — "Сколько?" Молчание. Затем актерское сглатывание воздуха, подавленный всхлип, едва различимая главная реплика: "Я тут больше не могу!" — и, наконец, безудержные рыдания. А меня будто медленно режут на куски.

Я пристаю с расспросами к своим пережившим его тетушкам. Говорят они, как Ронни в молодости: с легким, неистребимым дорсетским акцентом, который даже ласкает слух. Как Ронни перенес свою первую *ходку*? Как она на него подействовала? Каким он был до тюрьмы? Каким стал после? Но тетушки мои не летописцы, а сестры. Они любят Ронни и предпочитают не заглядывать за грань своих чувств. Ярче всего им запомнилось, как Ронни брился утром того дня, когда Уинчестерский суд присяжных должен был огласить приговор. На-

1. "The Honourable Schoolboy" (1977) — вторая книга Ле Карре, входит в неофициальный цикл "Трилогия Карлы".
2. В 1832 г. предприниматели Уильям Джардин и Джеймс Мэтисон основали компанию, чьи торговые операции включали импорт китайского шелка и чая, экспорт опиума из Индии в Китай и контрабанду по тому же маршруту; компания успешно конкурировала с "Ост-Индской"; существует до сих пор.

кануне Ронни защищал себя сам со скамьи подсудимых и был уверен, что к вечеру вернется домой. Тетушкам тогда впервые было дозволено наблюдать за священнодействием его бритья. Единственный ответ, которого я от них добился, вернее, прочел в глазах и угадал в вырвавшемся восклицании: "Это было ужасно, просто ужасно!" — свидетельствовал о том, что давнишний позор ранил их так, будто все случилось вчера, а не за семьдесят лет до нашего разговора.

Сорок лет назад я спросил о том же Оливию. В отличие от тетушек, которые и ныне предпочитают держать свои воспоминания при себе, Оливия с минуты нашего с ней воссоединения на Ипсуичской железнодорожной платформе непрерывно говорила о Ронни: из нее хлестало, как из крана с сорванной резьбой. О его сексуальности она заговорила задолго до того, как я разобрался в своей собственной, и, чтобы облегчить стоявшую передо мной задачу, сунула мне в руки затрепанный том в твердой обложке: *Крафт-Эбинг, Половая психопатия* — своего рода географическую карту, на которой я должен был проложить маршруты сексуальных аппетитов ее мужа до и после отсидки.

"Изменился, милый? В тюрьме? *Ты?* Нисколечко! Ничуть! Отощал? Не без того, конечно, но так оно всегда бывает. Кормежка ведь тюремная". Далее — картина, врезавшаяся мне в память навсегда, и не в последнюю очередь потому, что Оливия, казалось, не отдавала себе отчета в том, что говорит: "И *ты* завел этот дурацкий обычай: застывать перед дверью и, опустив голову и стоя по стойке "смирно", ждать, чтобы я тебе открыла. Обычная дверь, ничего в ней особенного не было, не запиралась и ничего такого, но *ты* просто не желал входить — не желал признавать, что *ты* вправе ее открыть".

Почему Оливия говорила о Ронни *ты — ты* вместо *он?* Подсознательно назначала меня его заместителем, каковым ко времени ее смерти я, пожалуй, и стал?

Сохранилась магнитофонная запись, которую она сделала для моего брата Тони: вся целиком о ее жизни с Ронни. Со дня ее смерти прошло двадцать лет, но я и сейчас не в силах прослушать эту ленту от начала до конца — знаю оттуда только несколько кусочков, где она рассказывает, как Ронни избивал ее, из-за чего, по ее словам, она и решила спасаться бегством. Его склонность к насилию не была мне внове: он взял себе за правило бить и вторую жену, причем вполне обдуманно, в разное, но всегда ночное время, вследствие чего я, охваченный рыцарственным порывом, назначил себя ее жалким паладином и улегся спать на матрасе у дверей ее спальни с

клюшкой для гольфа в руках, чтобы Ронни не добрался до нее, не схлестнувшись сначала со мной. Раскроил ли бы я и впрямь его давно заложенный череп? Мог ли я и в самом деле прикончить его и последовать по его стопам в тюрьму? Или обнял бы и пожелал доброй ночи? Этого мне никогда не узнать, но я столько раз прокручивал в голове оба варианта, что и тот и другой — подлинные.

Разумеется, Ронни, случалось, бивал и меня, но всего несколько раз и без твердой уверенности в собственной правоте. Наиболее устрашающей была постановочная часть: опущенные плечи, выдвинутая нижняя челюсть. Когда я повзрослел, Ронни пытался меня засудить, что, на мой взгляд, такое же насилие, только закамуфлированное. Ему попался на ТВ документальный фильм обо мне, и он решил, что я, хотя и косвенно, опозорил его, не объявив во всеуслышанье, что обязан ему *всем*.

О *том, как* Ронни *ухаживал за* Оливией, *и об* Алеке, *моем дядюшке-призраке*

Как познакомились Ронни и Оливия? Я задал этот вопрос Оливии в свою Крафт-Эбингову пору — чуть ли не сразу после знаменательного первого объятия на Ипсуичском вокзале. “Через твоего дядю Алека, милый”, — услышал я в ответ. Она имела в виду своего отдалившегося от семьи брата, который был двадцатью пятью годами старше ее. Родители их давным-давно умерли, и дядя Алек, важная персона в Пуле: член парламента и легендарный местный проповедник, — практически заменил ей отца. Как и Оливия, он был тощий, костлявый и очень высокий, а кроме того, тщеславный, весьма щеголеватый и преисполненный чувства своей великой общественной значимости. Как-то раз ему было поручено презентовать кубок местной футбольной команде, и он, подобно наставнику, который знакомит будущую принцессу с дворцовым этикетом, взял с собой Оливию. Ронни был центральным нападающим местной команды. Да и где еще мог он играть? По мере того как дядя Алек продвигался вдоль шеренги игроков, пожимая каждому руку, Оливия, которая не отставала от него ни на шаг, прикрепляла очередной значок на очередную гордо выкаченную грудь. Но едва она приколола значок Ронни, как тот театрально хлопнулся на колени и возопил, что она пронзила его сердце, к которому в подтверждение сказанного прижал обе руки. Дядя Алек, который, согласно всем имеющимся свидетельствам, был чванливым

болваном, благосклонно взирал на этот ярмарочный балаган, и Ронни с трогательным смирением поинтересовался, не будет ли ему позволено навестить их славный дом как-нибудь днем, чтобы засвидетельствовать почтение — нет-нет, не Оливии (до нее в социальном плане ему было далеко), а их горничной-ирландке, с которой он свел знакомство. Дядя Алек изъявил свое милостивое согласие, и под видом ухаживания за горничной Ронни изнасиловал Оливию. "Я была так одинока, милый. А тут ты — как шаровая молния". Молнией, конечно, был Ронни, а не я.

Дядя Алек стал первым моим секретным осведомителем, за что я воздал ему по полной. В день своего совершеннолетия я тайком послал ему письмо: "Палата общин, Алеку Глэсси, ЧП, в собственные руки" — в котором спрашивал, жива ли его сестра, моя мать, а если жива, где ее найти. Разумеется, с этим же вопросом я не раз обращался к Ронни, когда был подростком, но в ответ тот лишь хмурился и мотал головой, и после очередного такого отнекивания я отступился. В прибывшей записочке — две строки каракуль — дядя Алек советовал мне сходить по адресу, значившемуся на приложенном клочке бумажки. И предупреждал: ни под каким видом не сообщать "означенному лицу", как я узнал адрес. Задетый за живое поставленным условием, я вывалил этот секрет Оливии в первые же минуты встречи. "Значит, мы должны быть благодарны ему, милый", — только и сказала она, чем дело и кончилось.

Вернее, должно было бы кончиться, если бы в Нью-Мексико сорок лет спустя — и через несколько лет после смерти матери — мой брат Тони не признался мне, что в день своего совершеннолетия, то есть двумя годами раньше моего, тоже написал Алеку, сел в поезд, поехал к Оливии, обнял ее на платформе № 1, что благодаря немалому росту, надо полагать, вышло у него ловчее, чем у меня, после чего произвел допрос. Но почему он ничего мне об этом не сказал? Почему и я ни о чем таком ему не заикнулся? Почему Оливия ни единым словом не упомянула об этих встречах ни мне, ни ему? Почему Алек старался держать нас всех подальше друг от друга?

Очень просто: из страха перед Ронни. Страх этот для каждого из нас был равен страху перед самой жизнью. Его железная хватка, психологическая и физическая, его устрашающий шарм были неодолимы. Он был ходячей картотекой всех мыслимых и немыслимых связей. Когда открылось, что одну из его дам ублажает любовник, Ронни открыл единоличный театр боевых действий. Не прошло и часа, как у него на руках были данные хозяина злосчастного малого, его банковского управляющего, его домовладельца. И каждый был призван на войну и стал ору-

дием огня на поражение. То, что Ронни сотворил с беспомощным, заблудшим отцом семейства, он мог сотвторить с любым из нас и во сто крат больше. Он сокрушал, как созидал. Всякий раз, когда я уже готов был восхититься им, мне вспоминались его жертвы. Его родная мать, недавно овдовевшая, рыдающая душеприказчица его отца; мать второй его жены, тоже потерявшая мужа, тоже назначенная исполнительницей воли покойного и впавшая в оцепенение из-за свалившейся на нее ответственности, — Ронни ограбил и ту и другую, а заодно и законных наследников, прикарманив все оставленные сбережения. Десятки других — да что десятки, больше! — доверявших ему и достойных доверия людей (достойных — по его собственным и самым высоким меркам) были обмануты, обобраны, обкрадены их странствующим рыцарем. Как он это объяснял себе, если когда-либо все же объяснял? Бега, банкеты, женщины, "бентли" заполняли другую сторону его жизни, пока он выманивал деньги у людей, столь ослепленных любовью к нему, что у них язык не поворачивался сказать ему "нет". Задумывался ли он когда-нибудь, во что обходится любимец богов?

О *том, как лицом к лицу сошлись* Ротшильды *и тайный агент* Черчилля

В одном я совершенно уверен: никакого перелома характера у Ронни не было. Не было той поворотной точки, в которую можно было ткнуть пальцем и сказать, догадавшись нечаянно: вот оно, вот тут Ронни сбился с пути. Все, что я о нем слышал, свидетельствует о том, что с пути он сбился, едва задев младенческой ручкой свою первую погремушку. Но, как и большинство прирожденных мошенников, он был таким же легковерным простофилей, как и те, кого он водил за нос, и так же, как его жертвы, ужасался низости своих обманщиков.

Случалось, я со страхом, буквально не веря собственным глазам, смотрел, как Ронни очертя голову бросается в расставленную ему ловушку. Некая дама, не первой молодости, родом из Центральной Европы, пришла к нему, назвавшись вдовой одного из баронов Ротшильдов[1], погибшего при нацистах. Встреча прошла в обстановке невероятной секретности. Просила она

1. В 1816 г. император Австрийской империи пожаловал банкирам Ротшильдам баронский титул. Ротшильды стали принадлежать высшему свету австрийского дворянства, а британская ветвь династии была принята при дворе королевы Виктории.

лишь о том, чтобы Ронни помог ей переправить через австрийскую границу в Швейцарию сундук с бесценными сокровищами и там их продал. Сундук находился у католических священников, прятавших его во время войны. По ее словам, среди сокровищ были золотые доллары[1], Гутенберговская Библия, парочка скатанных в трубки холстов старых мастеров — не помню точно, чьей кисти, чуть ли не Рембрандта. Если бы Ронни в качестве первого взноса вложил немного денег, чтобы подкупить швейцарских таможенников, расплатиться с патерами и покрыть неизбежные накладные расходы — вроде долгов, в которые влезла бедная вдова, когда пристраивала сокровища, а потом налаживала их транспортировку: кругом-бегом несколько тысяч, не больше, — то потом, когда он обратит сокровища в деньги, весь капитал перейдет к нему. Ей, баронессе Ротшильд, алчность не свойственна. Деньги ее не интересуют. Ей бы только обеспечить себе скромную ежегодную ренту, а что касается скромности оной, она готова во всем следовать советам Ронни. Тут она пустила слезу.

Ронни вытребовал меня в Лондон из Оксфорда, чтобы я выслушал ее историю, что я и сделал со всем возможным вниманием, а как только мы остались вдвоем, спросил, что я об этом думаю. Я сказал, что дама — аферистка, а история — курам на смех. Задним числом мне не без умиления вспоминается рыцарственность, с каковой он ринулся на защиту товарки по искусству. Я предложил ему связаться с семьей Ротшильдов в Лондоне или Париже и проверить подлинность родства. Но он и слышать об этом не хотел. Несчастная женщина скрывается от всех, живет под чужим именем, вся родня охотится за этими сокровищами и жаждет ее крови не меньше, чем самих сокровищ. Самое главное — узнать, сколько может стоить Гутенберговская Библия. А когда мы это узнаем, не отложу ли я на несколько дней свои важные оксфордские дела и свой цинизм, чтобы сопроводить баронессу в Швейцарию?

Я согласился. И съездил. Она была слишком виртуозна, чтобы допустить хоть малейший промах. Я проследовал с ней сначала в Цюрих, где она только и делала, что ходила по магазинам и скупала все, что можно, пересылая счета в отель. В назначенное приграничное местечко я отправился один. То была забытая Богом альпийская деревушка, где беспрерывно лил дождь и где я два дня слонялся вокруг железнодорожной стан-

1. Золотой доллар — золотая монета номиналом в 1 доллар, чеканившаяся в период с 1849 по 1889 гг. Содержит 90 % чистого золота.

ции, стараясь не пропустить патеров, сгибающихся под тяжестью огромного сундука. Появиться они должны были в сопровождении некоего таинственного посредника по имени Амстлер, снабженного, по словам баронессы, долей "смазочного" капитала Ронни. При окончательной передаче имущества, баронесса, рыдавшая пуще прежнего, присутствовать отказалась: это слишком рискованно, ее могут узнать, такие люди ни перед чем не остановятся, они ее ненавидят. В деревушке никто не появился. А когда я вернулся в Цюрих, баронессы уже и след простыл, если не считать таковым кучу неоплаченных счетов. Ронни больше никогда о ней не заговаривал. Самое большее, что он мог себе позволить, это страдальчески наморщить чело и благочестиво потупить взор, ибо правила приличия не позволяли ему снисходить до комментариев.

В тот же злосчастный год, предшествовавший его великому банкротству, он попался на удочку некоего ужасающего мистера Флинна. Чудовищно худого, с безумным взором, заросшего щетиной и непонятного возраста. От него пахло лисицей, одет он был словно только что выпущенный на волю заключенный: в эстрадные серые фланелевые брюки и спортивную тужурку с чересчур длинными рукавами. По настоянию Ронни, расположился он у нас, в Чалфонт Сент-Питере[1], и, за недостатком места — в моей комнате, на кровати рядом с моей собственной.

Флинн живет у нас, объяснял Ронни на семейном совете, на котором присутствовали интронизированная в ту пору мачеха, я, несколько царедворцев и, конечно, сам Флинн, потому что Флинн — герой. Никому ни слова о том, что вы тут сейчас услышите. Во время войны Флинн служил в самой секретной из всех самых секретно-рассекретных служб — в оставшемся невоспетым малом отряде бесстрашных людей, мужчин и женщин, находившихся под непосредственным командованием самого Черчилля. Никто из нас, сидящих в этой комнате, кроме, конечно, самого Флинна, не знают и никогда не узнают, как велик вклад Флинна в победу союзников. Но без него, возможно, никто из нас вообще бы не сидел тут сегодня — верно, Флинн? Явно польщенный, Флинн пробормотал с сильным ирландским акцентом: да, так оно и есть. Поэтому Черчилль, наш премьер-министр, продолжал Ронни, пожелал наградить Флинна за его службу, но, по понятным причинам, не может это сделать в открытую — не медаль же

1. Деревня в Бакингемшире, в районе Чилтерн-хиллс, расположена на периферии Лондонского бассейна.

Флинну на грудь вешать! Поэтому через две недели в Букингемском дворце состоится в высшей степени закрытая церемония, на которую Ронни и еще несколько заслуживающих доверия друзей Флинна удостоились чести получить приглашения. Его Величество собирается самолично дать Флинну очень важное и выгодное назначение: должность генерального консула в Лиссабоне, а уж потом Флинн как-нибудь постарается и подыщет для Ронни выгодное во всех отношениях дельце, ведь генеральный консул Великобритании пользуется огромным весом в португальских финансовых кругах. Что Флинн также подтвердил самым энергичным образом, и все улеглись спать.

Вернее, улегся я, тогда как Флинн всю ночь, как и все другие ночи, пока жил у нас, безмолвный, в пижаме с чужого плеча, кружил по моей спальне, словно арестант по камере. Как-то утром Ронни повез его в Лондон. Пора оплатить долги Флинна — у него, бедняги, была скверная полоса, пока старина Черчилль не вспомнил о нем. Нужно купить костюм для утренних приемов: взятый напрокат не годится — все равно в Лиссабоне понадобится новый, да и пора обзавестись кое-каким "приданым": приличными тройками, сорочками, исподним, ибо гордость не позволяет нашему тайному герою Флинну клянчить аванс, а вся эта дипломатическая братия любит пофорсить, когда обделывает свои делишки. С непривычным для него постоянством Ронни каждый вечер приводил Флинна домой, и тот так же мерил шагами камеру, втирал в затылок белый порох и бубнил под нос что-то невразумительное с сильным ирландским акцентом.

Через неделю я собрал в кулак все свое мужество и сказал Ронни то, в чем уже не сомневался: Флинн — законченный сумасшедший. И Ронни второй раз за год упрекнул меня в цинизме и подозрительности. А на следующей неделе в назначенный срок Ронни и Флинн в визитках и при котелках, уложенных на задние сиденья автомобиля, отправились в Лондон. Дальнейшее мне поведала месяц спустя его царившая, но ничем не управлявшая королева, которая, как ни удивительно, удостоилась мужниной исповеди. Прибыв в Лондон, Флинн взял такси и заявил, что до дворца должен уладить одно важное дело. "Встретимся там", — сказал он Ронни и скрылся. Тогда-то Ронни и видел Флинна в последний раз, а через несколько недель бедолагу арестовали по обвинению в целой цепочке преступлений, включавших, как ни грустно, и кражу моего плаща марки "Барбери" из нашего дома в Чалфонт Сент-Питере.

Пока Флинн отсутствовал "по делам", Ронни в течение нескольких часов восседал в своей величественной конторе на Маунт-стрит, как всегда управляя миром. Затем, по-прежнему

облаченный в визитку, остановил такси и назвал адрес: Букингемский дворец. Думаю, в эту минуту он испытал истинное блаженство, так как всегда был великим патриотом и монархистом. Ронни любил делиться самым сокровенным с шоферским людом и по дороге, взяв с таксиста клятву о неразглашении, выболтал все о герое-Флинне, Уинстоне Черчилле и предстоящем конфиденциальном награждении. Но когда они добрались до Мэлла[1], шофер обратил внимание Ронни на то, что над дворцом нет королевского штандарта. Однако Ронни и тогда не потерял веры: если награждение задумывалось как конфиденциальное, со стороны короля только мудро скрывать свое пребывание во дворце до конца церемонии. Но караульный у ворот развеял последние иллюзии: Его Величество в Балтиморе и предполагает пробыть там некоторое время.

Оглядываясь назад, я в который раз задумываюсь о чувстве какого-то опороченного родства между Ронни и его очковтирателем. Именно пугающая терпимость, а не озлобленность — вот что зачаровывало в Ронни. Как и баронесса, Флинн был игроком, они с Ронни были одного роду-племени. И походили друг на друга и уязвимостью, и непотопляемостью. Необъяснимо, но Ронни почему-то считал, что он в ответе за Флинна. В решающую минуту они плечом к плечу противостояли миру. Как и Флинн, Ронни не просто обманывал других. Точно так же он обманывал самого себя. Как ему было разгадать чужую игру, если он не мог понять своей собственной? Вот что пишет о Ронни в годы его расцвета Колин Кларк, сын лорда Кларка, великого знатока и коллекционера искусства. Привожу отрывок из автобиографической книги Колина:

Ронни был величайшим из мошенников. Я в жизни не встречал человека, который внушал бы большее доверие. То был ваш любимый дядюшка, ваш семейный доктор, Боб Бутсби[2] и Санта Клаус в одном флаконе... Ронни мог "устроить" все на свете: билеты на финальный матч чемпионата мира по футболу, ложу в Аскоте, столик в самом изысканном ресторане города. У него была красивая жена, почти не раскрывавшая рта и явно его обожавшая. Его бухгалтер готов был в любую минуту подтвердить размеры его капитала и особое знание ситуации... По приглашению Ронни я побывал на Аскотских королевских скачках и несколько раз обедал в дорогих

1. Мэлл — улица в районе Вестминстера, связывающая Трафальгарскую площадь с Букингемским дворцом.
2. Роберт Джон Грэм Бутсби, барон (1900—1986) — британский политик-консерватор.

ресторанах. После чего он предложил мне земельную собственность, не его, а ничейную, и, пообещав за три месяца удвоить мои доходы, оформил участок. О чем невозможно было догадаться, так это о том, что все это — лишь бутафория. Его контора, его машина, его водитель, его "собственная" ложа в Аскоте — все это нанималось специально для данного случая и никогда не оплачивалось. Жена была не его, а чужая, бухгалтер был не бухгалтер, а пособник. И только могучая изобретательность была его собственной.

Я больше ни разу не слышал, чтобы Ронни прибегал к услугам тертой профессионалки. В остальном же то была старая история, известная мне в тысяче вариантов. К примеру — о престарелой графине из Вены, все еще дожидающейся своих семейных портретов из Сотбис, где Ронни любезно договорился об их реставрации и оценке, которые к тому же ничего ей не будут стоить. Или другая — о почтенном адвокате из Буффало, который с горестным восхищением описывал, как его компания с энтузиазмом взялась за расчет прибыли от огромного инновационного проекта по застройке канадских земельных участков, как он и его коллеги полетели в Канаду и дивно провели время: потратили кучу клиентских денег, инспектируя территорию, выделенную под строительство, обсуждая планы с архитекторами и землемерами, а больше всего с Ронни, который делился с ними своим ви́деньем грандиозного будущего. Пока все они, очень постепенно и неохотно, не уразумели, что ви́денье было их собственным. У Ронни не было ничего из того, чем он похвалялся: ни права продавать землю, ни полномочий и разрешений, которые, по его словам, ему предоставили. Весь этот проект был мыльным пузырем, жульничеством от первого до последнего слова. Завершалось письмо знакомым до боли рефреном: как столькие до и после него, автор ни за что на свете не хотел бы лишиться обретенного опыта и выражал благодарность.

Как некий "грандиозный малый" и "Гранд-отель" оставляют Ронни без клюшек для гольфа

Между тем в конце каждого акта трагифарса, к которому сводилась жизнь Ронни, упрямо возникал один и тот же остававшийся без ответа вопрос: зачем? В чем состояли выгода, выигрыш, прибыток? На что он в самом деле рассчитывал (ведь он был в долгу как в шелку, жил в бегах вдали от Британии и

в его укрытие в любую минуту могли нагрянуть незваные гости), когда видел, что его очередной фантастический проект скреплен подписями и печатями и отослан по назначению, а он, торжествующий и победоносный рыцарь на белом коне, прихватив трофеи, скачет во весь опор подальше от места своего триумфа? Думаю, первый из напрашивающихся ответов таков: ни на что он не рассчитывал. Все делалось ради удовольствия здесь и сейчас, без мысли о завтрашнем дне. Второй ответ, который мне нравится больше: он дурачил себя, как и других. Верил в бесхозную землю для Колина Кларка. Верил, что оказывает услугу старухе графине, похищая ее картины. Верил в мираж грандиозного канадского города, достойного будущих героев. Замахнись он на аферу с Эйфелевой башней, он и тогда бы не усомнился в себе.

Но вот представьте себе следующее. Летние каникулы, мы с Тони, ему восемнадцать, мне шестнадцать, изнываем от скуки, не зная, куда себя деть, и вдруг Ронни нежданно-негаданно предлагает нам прокатиться в Париж и погулять там недельку. Такого еще не бывало — ведь он должен выдать нам наличные. Но он настаивает и в самом деле дает нам деньги на проезд. *Да это мелочь!* Мы сможем получить, сколько пожелаем, от панамского посла во Франции, грандиозного малого, которому Ронни шлет по диппочте шотландский виски — в бутылках, но без этикеток, а посол, втемяшивает нам Ронни, распаковывает их у себя в погребе, наклеивает какие хочет этикетки и отправляет в Панаму тоже по дипломатическим каналам. План этот отлично работает, и, сами понимаете, Ронни причитается уйма денег. В том же порыве великодушия он разрешает нам потратить первые 50 фунтов из полученных. Посол и его прелестная жена принимают нас со всеми почестями: дают обед в нашу честь, занимают беседой, но — никаких денег. С чего бы ему давать нам деньги, говорит он нам задушевным голосом, если то, что Ронни задолжал ему, тянет на небольшое состояние? Ведь он, посол, вперед оплатил "анонимный" виски — о чем Ронни, разумеется, забыл нас предупредить — и все еще ожидает первой поставки. Мы принесли извинения и удалились. Говорил ли посол правду? Или тоже темнил? В те дни я еще не так глубоко проник в тайны человеческой натуры, чтобы составить окончательное мнение. Не составил я его и сейчас.

На следующий день мы попытались выполнить еще одно *небольшое поручение*: вы, ребята заскочите в отель "Георг V" — там самый лучший бар на свете, пропустите стаканчик-другой в обществе первых красавиц мира, а заодно передайте от меня самый нежный привет милейшему старине Луи,

или Генри, или как там еще прозывался главный портье, суньте ему 10-фунтовую бумажку — из тех, посольских, и заберите мои клюшки для гольфа: я их оставил там на хранение.

Из-за неподатливости посла десяти фунтов для Луи или Генри у нас не нашлось, но и окажись они у нас, вряд ли это повлияло бы на исход дела. Мы изложили *поручение*, портье тотчас нажал на звонок, и из невидимой двери тут же появился управляющий: "Никаких клюшек, пока ваш отец не оплатит счета". И мрачно добавил, что для этого не хватит и сотни клюшек, разве что сотни и сотни комплектов. В какую-то страшную минуту он даже призадумался, не задержать ли нас. Но, слава Богу, все обошлось — вернее, мы вовремя унесли ноги и провели следующие трое суток без гроша в кармане, среди клошаров на берегу Сены, питаясь багетами и запивая их литрами дрянного красного вина.

Но беда в том, что порой попадались настоящие жертвы. На ковре засыхали пятна настоящей крови. По-настоящему ломались судьбы и разбивались сердца, и речь тут не о любви. В том же году мы с Тони выполнили еще одно *небольшое поручение* Ронни, о чем вспоминаем с великим стыдом. К несчастью, мишенью на этот раз оказался не жуликоватый панамский посол, не состоятельный адвокат — специалист по имущественному праву, не расчетливая владелица обширной коллекции классической живописи, а пожилая супружеская чета, жившая через дорогу от нас в Чалфонт Сент-Питере. Сэр Эрик недавно вышел на пенсию после долгих лет безупречной чиновничьей службы в далекой Индии и, вернувшись в страну, которую столько лет представлял, почувствовал себя чужаком. Ронни проинструктировал нас — лающим голосом, по телефону из Лондона, чтобы мы немедля сходили к сэру Эрику и сказали, что все идет путем. В каком смысле, переспросили мы. Господи ты Боже мой, путем — и точка! Пусть сэр Эрик сидит и носа не высовывает, иначе все испортит. Все под контролем. Чек ушел. Крайне неохотно поплелись мы, куда велено, угостились шерри, жалко лепетали, стараясь быть убедительными, что на Ронни можно положиться, и все время сэр Эрик и его супруга не сводили с нас испуганных, недоверчивых глаз. "Мы с женой живем на мою пенсию, — втолковывал нам сэр Эрик, как малым детям, — и на ее небольшое наследство. Мы все отдали вашему отцу для инвестиций". Затем — убийственный вопрос: готовы ли мы поручиться, что Ронни, на основании всего, что нам о нем известно, можно доверить их сбережения? Не помню, что я сказал. Кажется, отмолчался. Ответил Тони. Так мы таскались через дорогу несколько раз. То один, то другой, то оба, пока, наконец, не сказали Ронни: все, больше не можем.

— Вы наконец простили своего отца? — вонзил в меня блестящие буравчики глаз глава МИ-5 в день моего приема на работу.

— О, давным-давно, сэр, — ответил я с ангельской улыбкой: эта личина святости досталась мне от Ронни.

Как Ронни преподнес нам новость о том, что Оливия сбежала ночью из фахверкового дома в Рикмансуорте, остается тайной. Не помню, чтобы я горевал, разве только в тех редких случаях, когда нам с Тони делалось особенно одиноко, мы ощущали свою неприкаянность и взаимную жалость. Полагаю, Ронни не столько сказал нам об исчезновении матери, сколько выкладывал новость по частям, мелкими порциями, сначала объясняя, что это дело обычное, потом, что это дело прошлое. *Больной человек* — этого Ронни не мог нам не сказать. *Я навещал ее в больнице, она сидела в залитой солнцем палате, погруженная в себя, на ней была жакетка из ангорской шерсти.* Потом, когда я расспрашивал Оливию, она все отрицала: нет, не болела она тогда, да и не было у нее никогда кофты из ангоры: “Я их не ношу, в них щекотно”. Затем стали доходить слухи — то ли от самого Ронни, то ли от его подсадной утки, — что она пошла по кривой дорожке. Никогда не осуждай, сын. Не нам судить, это дело Божье. Ты же знаешь, что сказано в Библии? Прости и люби. Прости — то есть забудь. Ну и тут он, конечно, ударялся в слезы. Стоило показать Ронни палец, и он заливался слезами, а можно было обойтись и без пальца. У нас, его родственников, у всех глаза на мокром месте, но до Ронни нам далеко.

Затем нам осторожно начали внушать, что она, скорее всего, умерла — наверное, организм не выдержал ужасного образа жизни. Ну, не совсем умерла, не в полном смысле слова, не то чтобы прямо-таки отправилась на тот свет. Как всякий ловкий манипулятор, Ронни никогда не говорил ничего окончательного, такого, что потом можно было бы опровергнуть. Сначала нависала тяжелая молитвенная тишина, и мы, фигурально выражаясь, занимали места на церковных скамьях Дома Господня — точнее, какого-то захудалого банка. Затем следовало покачивание головой и сдержанный страдальческий стон. *Эти парни в больницах, они никогда не говорят тебе все как есть*, начинал он, должно быть, с хорошо отмеренной мукой в голосе и точно рассчитанным мужественно-сдержанным страданием, так что нельзя было не уразуметь, что уж кому-кому, а ему приходится хуже, чем ей. Затем, слово за слово, после еще нескольких запутанных фраз, провозглашенных ex cathedra, становилось ясно, что не только Ронни, но и все мы трое — жертвы трагической си-

туации, в которую ввергла нас болезнь Оливии, ее аморальность и ее смерть-или-все-равно-что-смерть.

Тут, думаю, его озаряла мысль, что надо хватать быка за рога, и он выдавал на гора́ многочленное уравнение, вихрившееся у него в голове с самого начала разыгрываемой сцены. В результате всего произошедшего, наверняка продолжал он (при этом, сами понимаете, рыдали и отец, и мы, окольцованные его медвежьим объятием, из недр которого глухо доносились сдавленные, но непререкаемые команды-всхлипы), мы с Тонни немедленно отправимся в школу-интернат и будем учиться на великих юристов, как и сам Ронни, который тоже будет великим юристом — вот только надо выбрать время и вырваться из этой его беготни по миру, — потому что в один прекрасный день у нас будет своя адвокатская контора "Корнуэлл, Корнуэлл&Корнуэлл", какой еще не видывала благословенная Чансери-Лэйн[1], то будет семейная фирма дружков-единомышленников. И тут, слово за слово, выяснялось, что Ронни уже договорился с директором школы Сент-Мартин в Нортвуде, кстати, первоклассным малым и гольфистом, который ждет не дождется, когда мы забудем все свои неприятности и ступим на долгий, тернистый путь знаний, и плевать, что сейчас середина триместра, *он вас точно примет.*

Разбирая вещи Оливии после ее смерти, я наткнулся у нее в доме на еще один археологический объект, в своем роде не менее ценный, чем белый чемодан из телячьей кожи, и не менее горестный. Экспонат этот всегда рядом со мной, когда я пишу. Это наш с Тони снимок, сделанный в свадебном фотоателье: Тони там семь, мне — пять, на нас школьная форма Сент-Мартина. Думаю, снимали нас либо накануне, либо в день поступления в этот школьный ГУЛАГ. Мы сидим на диване на фоне стены с намалеванным садом. В наших деланых улыбках при желании можно усмотреть нечто вроде мученической готовности к предстоящему. Выглядим ли мы горюющими? Да нет, вроде бы нет, но дети — лучшие притворщики на свете, когда хотят скрыть свои чувства. Историческая ценность снимка, однако, состоит, не столько в запечатленных на нем физиономиях, сколько в душераздирающей надписи в правом нижнем углу — каждый из нас сделал ее тушью, перьевой ручкой "С любовью от Тони (его рукой), и дэвида" (с малой буквы).

Вы догадываетесь, к чему я веду. Коль скоро мы собрались в ГУЛАГ и Оливия пропала, а то и умерла, для кого, скажите на

1. Улица юридических контор в лондонском Сити.

милость, надписывали мы снимок? Помню ли я, как мы сидели перед фотоаппаратом? Еще бы! До этого я ни разу не бывал в клетушках у фотографов и не сидел под их осветительными приборами. Да и мог ли я забыть это свое первое ощущение позирующей кинозвезды? А вот помню ли я, как подписывал фотографию? Нет, не помню. Как же так? Разве, выудив снимок из темного ящика в коттедже у Оливии, я не подивился его отличному состоянию, словно он пролежал там нетронутым все эти годы, и разве меня не пронзило моментальное чувство узнавания? Но если я помню фотографию, почему я не помню, как ее надписывал, и не для кого-нибудь, а для своей отсутствующей матери, для больной-развратной-умершей Оливии от дэвида с маленькой буквы, причем в тот самый день, когда именно из-за нее он угодил в ГУЛАГ на целых одиннадцать лет?

Но это, конечно, если считать, что снимок подписывал я. И если Ронни, отнюдь не жаждавший возбуждать в нас небезопасные мысли о местопребывании Оливии, не избавил нас от хлопот и не сделал надпись за нас. Тому есть косвенные свидетельства. Через пятнадцать лет, когда Ронни срежиссировал свое самое крупное публичное фиаско — дело было в 50-е, и речь шла о сумме в миллион с четвертью фунтов, — некоторые документы, подписанные мной в качестве служащего одной из его восьмидесяти с лишним дутых компаний, были посланы на экспертизу. Но я не помню, чтобы подписывал какие-либо документы или вступал в должность в одну из его компаний. Сказал ли я это судебному исполнителю или соврал, чтобы прикрыть Ронни, уже улетучилось из памяти. Но, безусловно, подтвердил, что согласился на "акцептацию 400 фунтов в год", выплачиваемых фирмой "Легал@Дэвид-инвестмент" в обмен на подписанное мной обязательство не предоставлять свои услуги какой-либо иной фирме. Ронни в свое время объяснил мне, что *так совершенно нормальнo:* солидная юридическая фирма, вроде "Легал@Дэвид-инвестмент", финансирует обучение своего *перспективного будущего партнера.*

Но тогда мне уже было за двадцать. И, слава Богу, благодаря всеобщей воинской повинности меня призвали в армию, и я два года прослужил в разведке (где, согласно известной присказке, о секретной службе можно узнать не больше, чем о воскресной). Как бы то ни было, я отлично усвоил преподанные мне Ронни уроки двуличия и употребил их к собственной пользе. Ронни все еще думал, что я буду изучать право, но я-то знал, что записался на современные языки. И хотя природу этого своего поползновения я уразумел лишь позже,

для своей главной, тайной, операции по подрыву абсолютной власти Ронни я уже созрел и послал письмо своей "почившей" матери с помощью дяди Алека.

О том, как из-за отца я отбываю длительное тюремное заключение, а также искупаю преступления, которых не совершал

Если есть на свете что-либо, без чего английская литература прекрасно обойдется, так это без еще одного тоскливого рассказа об ужасах дорогой частной британской школы, о неизгладимых шрамах, которые неофашистский режим телесных наказаний и однополого тюремного заключения оставляет на ее воспитанниках, а также и о накопленных веками уродливых последствиях всего вышеперечисленного для психики правящих классов страны. Вместо всего этого адресую вас к фильму Линдсея Андресона "Если...", который с равным успехом можно было снять не в его, а в моей школе, а также к несметному числу душераздирающих исповедей, начиная от "Врагов таланта" Сирила Коннолли до "Встань перед Богом твоим" Пола Уоткинса.

Энтони Троллоп говорит, что его мальчишеские годы "были не более несчастны, чем это полезно юному джентльмену", но, держу пари, в пятилетнем возрасте он понятия не имел, что он юный джентльмен, а я к тому же джентльменом и не был. Я не знал ни их языка, ни их табу: все они были для меня взрослыми дядями и к тому же — инопланетянами. О Сент-Мартине я помню мало, только тягостную ежедневную рутину: мы заправляли постель, переодевались, являлись по звонку — и невероятную доброту моего брата Тони, который вырастал, словно из-под земли, подхватывал меня на руки, умывал, чистил и снова ставил на ноги. Тони возложил на себя обязанности отца, а заодно и матери, ибо школу мало волновало отсутствие материнской заботы.

Время от времени в родительский день появлялся Ронни. Хотя он старался показываться пореже — думаю, чтобы избежать настойчивых напоминаний об оплате. Но если все же приходил, то непременно с новейшей претенденткой на роль Оливии и с каким-нибудь свитским офицером-телохранителем. Ланч, продолжавшийся часа три, спрыскивался большим количеством бренди, которого, в силу юного возраста, нам не давали. Мы знали, что в какую-то минуту неза-

долго до окончания трапезы Ронни отведет нас в сторонку и спросит, как нам претендентка, и заранее собирались с духом, чтобы сказать "так себе". А в те дни, когда, несмотря на предупреждение, он не являлся, мы с Тони придумывали встречный план. Стояли и ждали, как нам было велено, в конце длинной подъездной аллеи, где, по мнению Ронни, казначею труднее было бы перехватить его, чем у дверей школьного здания. Прождав так час-другой, мы отправлялись на долгую прогулку. "Хорошо провели время, Корнуэлл?" — "Отлично, сэр, спасибо". — "Родители в порядке?" — "В полном, спасибо". И — спать.

Потом наступил страшный день, когда Тони перешел в частную среднюю школу в тридцати километрах от Сент-Мартина, и я остался один. В уик-энды каждый из нас проезжал на велосипеде по пятнадцать километров до условленного места, где, встретившись, мы складывали вместе крохи снеди, которые удавалось сберечь за неделю. А потом и я перевелся в закрытую среднюю школу, называвшуюся Шерборн, где провел худшие три года из семидесяти, прожитых до сегодняшнего дня[1]. Побег произошел сам собой, когда мне стукнуло шестнадцать. В отличие от Оливии, я не делал никаких тайных приготовлений. Окончился триместр, школьный поезд отчалил от станции Шерборн в сторону Ватерлоо, и, когда истаяла линия горизонта, я вдруг без малейшего волнения осознал, что в последний раз вижу это место и в школу больше не вернусь. Пора было двигаться дальше, и главное — сбросить иго Ронни.

О том, как меня пытаются определить в монахи, и о том, как ночной портье-австриец пригвождает меня к позорному столбу

Как я сбрасывал это иго, если я и в самом деле его сбросил, и есть история моей жизни. Разлюбить отца — то же самое, что разлюбить любого другого человека. Просто число жертв в конце концов зашкаливает. Был сэр Эрик, было много других Эриков. Была родная семья Ронни, которую после смерти отца Ронни обобрал до нитки. Был Шерборн. Было немало юношеского максимализма — уже моего собственного. Были

1. Опубликовано в 2003 г.

и поучения моего глубоко верующего духовника: дескать, пришло время выбирать между Богом и дьяволом (под "дьяволом" подразумевался Ронни).

Чтобы не упустить очередную особь из вверенного ему "электората", он передал меня в руки англичанина-францисканца[1], едва шелестящего брата Алджи, чьей миссией было "ловить человеков": учеников закрытых школ, для препровождения их в монастырь. Алджи занимался тем же, что и тайные вербовщики-коммунисты, которые в 30-е годы ловили в свои сети таких, как Ким Филби и ему подобные. Усыпленный его кошачьим мурлыканьем, я согласился провести в монастырской обители, среди прелестных дорсетских холмов, несколько мучительных трехдневок, распевая грегорианские хоралы, вдыхая ладан и стараясь проникнуться ощущением праведности, ибо сидел на хлебе и воде и слушал, как отец-настоятель рыкливо-покаянным тоном читает из "Полноты жизни" лорда Галифакса[2]. Лучше всего были белые кролики брата Кентигерна, которыми я любовался до тех пор, пока не узнал, что они пойдут на перчатки. Отец-настоятель, видимо, уже наслышанный о Ронни, а кроме того, "специализировавшийся" на садистах, сообщил мне, что много раз пересекал Атлантику, чтобы принять исповедь у Джеймса Тербера[3], и за обратную дорогу едва успевал прийти в себя. Он посоветовал мне терпеть Ронни — считать его своей искупительной жертвой, что привело меня в бешенство. Но что еще он мог сказать? Гони домой и проломи ему башку клюшкой?

К тому же среди пострадавших от Ронни был Гордон, как я думаю (хотя, может, и никто больше), — самая ужасная из всех его жертв. Предположим, звали его Джонсом. Под разными именами он не раз появляется в моих романах. В поношенном костюме, улыбчивый, типичный англичанин, с непослушной прядью на лбу, в лоснящихся замшевых ботинках, бормочущий банальности и совершающий храбрые поступки чести ради. В реальной жизни — в той мере, в какой я способен к ней приблизиться, — его вроде бы и в самом деле звали Гордон

1. Имеется в виду "Общество Святого Франциска" — монашеский орден в англиканской церкви, основанный в 1905 г.
2. Эдуард Фредерик Линдли Вуд, лорд Галифакс (1881–1969) — один из лидеров консервативной партии Великобритании. В 1926–1931 гг. вице-король Индии (противодействовал ее движению за независимость); в 1938–1940 гг. министр иностранных дел, сторонник политики умиротворения нацистов; автор мемуаров "Полнота жизни".
3. Джеймс Тербер (1894–1961) — американский сатирик: художник, журналист и писатель, в течение долгого времени работавший в журнале "Нью-Йоркер".

Джонс, ему было под сорок, то был вечно извиняющийся, рыжеволосый светский неудачник, живший на денежные переводы от родственников и привязавшийся к Ронни, как бездомная собака.

Причина чего мне быстро открылась. Ронни ободрал его как липку, но Гордон не желал смотреть правде в глаза. Он любил Ронни и верил, что, если будет крутиться где-нибудь неподалеку, все как-то образуется. Но ничего не образовывалось. Он произвел себя в царедворцы, стал мальчиком на побегушках, делал за Ронни ставки, врал, чтобы его выгородить, и всегда был самым желанным гостем на наших бесконечных уикэндах. Но время шло, и по-прежнему ничего не устраивалось. Тогда он совершил нечто поистине страшное. Нанял девушку на ночь, повел ее в дорогой отель — не то "Кларидж", не то "Ритц", в общем, из самых-самых, — зарегистрировался как сэр Гордон и леди Джонс, сделал грандиозный заказ: изысканные блюда, дорогие вина — все только лучшее, а перед рассветом отправил девицу домой и пустил себе пулю в лоб. Или отравился — точно не знаю. В общем, покончил с собой, о чем мне дозволено было узнать далеко не сразу: то славный старина Гордон был первоклассным малым, лучшим из лучших, солью земли, несмотря на некоторую слабость к бутылке, а то он вдруг угодил в касту вычеркнутых — лишившихся доверия. Но лишился он куда большего.

А вскоре после этой истории на меня была возложена миссия "Санкт-Мориц"[1]. Разумеется, когда-нибудь и где-нибудь нашему роману с Ронни не мог не настать конец, но главенство тут принадлежит именно "Санкт-Морицу", как ни смешно проливать горючие слезы из-за владельца шикарного отеля. Мне было шестнадцать, и, чтобы избежать положения между молотом и наковальней, то есть между Шерборном и жизнью с Ронни, я поступил в Бернский университет на отделение германской филологии и остался в Швейцарии. Ронни, случалось, подкидывал мне денег, но нечасто, и я брался за любые подработки, жил в обрез и радовался, когда хозяйка делилась со мной салями. Как-то раз позвонил Ронннни: *сын, есть для тебя работа.* И снова — поручение а-ля сэр Эрик, но на сей раз жертвой должен был пасть один из самых известных гостиничных магнатов Швейцарии: Бадрутт, хозяин "Санкт-Морица".

1. Знаменитый дорогой горный отель "Санкт-Мориц" в Швейцарских Альпах на высоте 1850 м, основанный в конце XIX в. Йоханнесом Бадруттом, пионером экокурортов.

Дело в том, что для нас с Тони "Санкт-Мориц" был землей обетованной. Перед войной мы всей семьей провели там зимние каникулы — единственный раз в жизни вместе с Оливией, в подтверждение чему у нас остались фотографии. После войны Ронни вернулся туда, так сказать, победителем, в сопровождении шумной кавалькады жокеев, спортсменов, спортсменок, его свитских офицеров, их друзей, друзей их друзей — по принципу: чем больше, тем веселее; приехал лишь для того, чтобы оформить на себя гостиничный счет, потому что любил Бадруттов и Швейцарию, а еще больше — славных служащих "Санкт-Морица", и решил подсобить им в трудные времена послевоенной депрессии. К чертовой матери все эти британские валютные запреты, пусть каждый постоялец переведет свой счет за проживание на Ронни, а он, по безмерной своей доброте, примет их английские чеки и обналичит в интересах отеля, наподобие клирингового банка, и неважно, сколько сил и времени у него на это уйдет! Моя же задача состоит в том, чтобы объяснить славному старине Тому (а может, Каспару) Бадрутту, первоклассному малому, что перевод денег оказался делом несколько более затяжным, чем предполагалось сначала, но у Ронни все под контролем, а если немного повезет, то наладится уже не сегодня-завтра. А ты, сын, пока ты тут, закажи себе хороший стейк за счет отца.

В общем, я побрел в "Санкт-Мориц", где, несмотря на яркое летнее солнце, в каждом углу мне мерещилась Оливия. Запинаясь, проговорил я затверженное мистеру Бадрутту, который был слишком хорошо воспитан, а возможно, слишком умудрен опытом, чтобы не ограничиться словом "спасибо" в ответ и не сообщить, когда уходит ближайший поезд на Берн — ему было невдомек, что мне предстоит добираться автостопом.

Но вот уже конец 60-х, и, по просьбе Ронни, я срочно вылетаю в Вену и угощаю его завтраком в "Захере". Нет, отвечаю я ему, я не буду вкладывать деньги в стопроцентно надежную собственность, которую он присмотрел. И не буду вкладывать деньги ни в один из его прожектов, ни сейчас, ни потом. Все, чего я хочу, это уплатить по его венским счетам за кров и стол и снабдить необходимым на ежедневные бытовые расходы. Такое обычно говорит отец беспутному сыну, и, наверное, это же говорил Ронни его отец. Как бы то ни было, сказанного оказалось достаточно, чтобы Ронни упал головой на стол и зарыдал в голос; в конце концов, мне удалось проволочь его, вспотевшего и задыхающегося, через весь коридор к главному входу... *потому что все, что мне нужно, сын, это такси, просто посади меня в такси, а сам возвращайся к своему богатству, к своей*

семье, ко всему, что дал тебе я. Когда я помог ему забраться в машину, он опустил стекло, и мы вместе всплакнули, после чего он попросил у меня пятерку на проезд.

Начало 70-х, я в Лондоне и только что получил машинопись моего нового романа. Согласно установившейся традиции, моя жена Джейн угощает меня по этому случаю ланчем в "Савое", ибо я унаследовал от Ронни любовь к роскошным отелям. Мы уже держим в руках по бокалу шампанского, которое заказали в качестве аперитива, когда к нам вдруг подходит Ронни в темном костюме с иголочки, явно от одного из преемников мистера Бермана, в сделанных на заказ ботинках и рубашке — ну, если не светлоликий ангел, то кардинал в цивильном, не при исполнении...

"Что ты, черт побери, делаешь тут, сын? Надо было пойти в 'Савой гриль'[1], там гораздо лучше. Переходите туда, присоединяйтесь к нам". Я объяснил, что к чему, но мы все же согласились пойти выпить по рюмке. Его гостями оказалась супружеская пара средних лет из Пула, родного города Ронни. Муж — типичный помощник церковного старосты любой из бессчетных баптистских молелен, которые мы посещали с дедом и бабкой, пока Ронни сидел в тюрьме. Жена с неестественно белым, густо напудренным лицом и некрашеными губами приветливо улыбается. Дело в том, что у них есть славный участок с видом на море, сын, и им нужен скромный бесплатный совет, как его лучше освоить. На столе стояло ведерко с бутылкой "Дом Периньон", но мы с Джейн удовольствовались разливным фирменным шампанским.

Проходит еще несколько лет, Ронни уже нет на белом свете, я приезжаю в Вену, чтобы подышать здешним воздухом, так как пишу полуавтобиографический роман, где есть и Ронни. Останавливаюсь я не в "Захере", так как опасаюсь, что кто-нибудь из тамошних официантов помнит меня. Мой рейс в Швехат задерживается, и у конторки маленькой дорогой гостиницы, выбранной мной наугад, дежурит пожилой ночной портье, который молча наблюдает, как я заполняю формуляр, а затем произносит на своем чудесном, мягком, благородно-венском немецком:

"Ваш отец был великим человеком, — говорит он. — Вы обращались с ним постыдно".

1. Ресторан гостиницы "Савой" в Лондоне состоит из "River Restaurant" (он же "Savoy Restaurant") и "Savoy Grill" (или "Grill Room").

Послесловие переводчика

"Как я сбрасывал иго Ронни, если я и в самом деле его сбросил, и есть история моей жизни", — признается Дэвид Корнуэлл (Ле Карре — его литературный псевдоним). Словом, жизнь автора знаменитых шпионских романов, как оказывается, тоже своего рода секретная операция, в 70 лет, наконец, рассекреченная. Валаамова ослица заговорила: очерк впервые появился в печати в 2003 году, через два года после написания. Такими тайнами не очень хочется делиться, но и не поделиться, подводя итоги прожитого, невозможно. В книге воспоминаний: "Голубиный тоннель: Истории из моей жизни", вышедшей в 2016-м[1], этот очерк, несколько урезанный и переделанный, помещен в самый конец, словно писатель старается оттянуть роковую встречу, для того чтобы читатель успел познакомиться с автором получше и все лавры, как всегда, не достались Ронни — великому мастеру присваивать чужое. Ле Карре вспоминает, как после выхода "Шпиона, пришедшего с холода...", Ронни позвонил в американское издательство, представился отцом автора и заказал несколько сотен экземпляров "нашей книги" (разумеется, в счет авторского гонорара), чтобы, поставив на них свою подпись, раздаривать деловым партнерам, а также всем встречным и поперечным. Но вскоре книги стали возвращаться к Ле Карре: обладатели жаждали авторской подписи. И Ле Карре поставил ее: "Сын отца писателя".

Грэм Грин где-то заметил, вспоминает Ле Карре, что трудное детство — бесценный подарок для писателя, и в этом смысле, иронизирует он, "я был подготовлен к писательскому ремеслу, как никто другой... Не шпионская деятельность приучила меня к скрытности. Увертки и обман с детства были для меня главными способами выживания... Все подростки любят пошпионить, но я был ветераном. И когда секретная служба затребовала меня, я почувствовал себя там, как дома".

Гнев, стыд, отвращение, жалость, насмешка, язвительность, чувство вины — всем этим проникнуты пронзительные воспоминания об отце Дэвида Корнуэлла. Чувства вины там больше всего. "Я потерял веру в себя, зато приобрел бесконечное чувство вины" — это уже из Кафки, из "Письма к отцу", где поднята та же проблема: отец как высшая инстанция, а сын как собственность. Не вспомнить тут Кафку невозможно, но не только: и "Домби и сына", и "Скупого рыцаря", и, скажем, очерки Мартина Эмиса об отце и так далее.

Вот и получается, что воспоминания Ле Карре стоят в одном ряду с шедеврами мировой литературы об отношениях отца и сына. Не отцов и детей, а именно отца и сына.

Корнуэлл-сын оказался покрепче Кафки-сына, так сказать, сумел уцелеть, видимо, был сделан из куда более твердого материала, но дело не в этом: яблоко от яблони порой не может не упасть далеко.

1. John le Carré. The Pigeon Tunnel: Stories from My Life. — Viking, 2016

Марина Ефимова

“Восхитительная смесь откровенности и скрытности”

О книге Адама Сисмэна *Биография Джона Ле Карре*

Книгу Адама Сисмэна “Биография Джона Ле Карре” многие рецензенты называют преждевременной, поскольку автор знаменитых шпионских романов жив и вполне бодр в свои восемьдесят четыре года. Но он сам дал согласие биографу Сисмэну, и, может быть, отчасти поэтому книгу характеризуют как “восхитительную смесь откровенности и скрытности”. Ничего удивительного — Ле Карре в молодости сам был шпионом: он пять лет работал в британской секретной службе “MI-6”.

Первые романы Джона Ле Карре русские читатели моего поколения получили всего с двух-трехлетним отставанием от западного читателя — в 1970 году в журнале “Иностранная литература” был напечатан его роман 1968 года “В маленьком немецком городке”, а в 1971-м в сборнике “Современный английский детектив” был издан роман “Убийство по-джентльменски”. Их читали взахлеб — это были не просто “шпионские романы”, это была *литература,* вместившаяся в увлекательный жанр “политического детектива”. После двух романов публикации в Советском Союзе остановились, так как шпионы Ле Карре все как один боролись с коммунизмом.

Сейчас все двадцать три романа Ле Карре переведены и опубликованы: от бестселлера 1963 года “Шпион, пришедший с холода” до романа 2008 года “Такой же предатель, как мы”. И россияне вместе со всем миром увлечённо читают его книги, о которых рецензент журнала “Экономист” пишет:

Романы Ле Карре — это исследования предательств, идеологических конфликтов и геополитических переворотов, описанных с редкой интеллигентностью и сочувствием.

Совместно с радио “Свобода”

Жизнь самого Дэвида Корнуэлла (будущего Джона Ле Карре) начиналась, как английский роман — только не его роман, а диккенсовский. Его мать убежала из семьи, точнее, от мужа, оставив двоих сыновей. Дэвиду, младшему, было пять лет. Они с братом остались на попечении отца, которого биограф описывает так:

Ронни Корнуэлл был фигурой литературной — Диккенс позавидовал бы такому персонажу. Он был неотразимый шармер и прирожденный жулик. Он мог, по словам сына, "одной рукой обнять вас, а другой залезть к вам в карман. И оба жеста были абсолютно искренними. Он мог одновременно грабить и любить вас". Покоритель женщин, щеголь, неисправимый фантазер, он летел по жизни сквозь строй своих полудобровольных жертв, обманывая вдов и стариков, обкрадывая тестя и залезая в долги, которые не отдавал. Он занимался земельными спекуляциями (и отсидел в тюрьме за мошенничество), продажей лекарств и валютными операциями, был букмекером в Судане, торговал оружием в Индонезии, а во время Второй мировой войны орудовал на черном рынке. В Вене он взялся чистить чьи-то дорогие картины, продал их и исчез. В лучшие времена он ездил на лимузинах с шоферами и проводил ночи с целым кордебалетом, а в плохие времена терпел унижения на процессах о банкротстве. "Мы жили, — вспоминает Ле Карре, — то как миллионеры, то как нищие".

Ронни был плохим мужем и отцом, но прекрасным прототипом, и, как пишет биограф, "он доминирует в книгах своего сына так же, как в детстве доминировал в его жизни". Он выведен под именем Рика в "Безупречном шпионе" — самом автобиографическом романе Ле Карре. Но и до этого у Ле Карре есть немало героев с чертами отца, например, в романе "Шпион, выйди вон". Читатели даже просили Ронни надписывать книги, и он охотно писал: "Отец автора". Но в конце концов он все-таки обиделся на свои слишком узнаваемые портреты и грозил, что будет судиться. Ле Карре умиротворил его, выписав чек на 14 000 долларов.

Возвращаясь к детству и отрочеству Ле Карре, надо добавить, что он провел школьные годы в пансионах, где его, в отличие от других детей, никто никогда не навещал. Сисмэн пишет, что в школе он всегда чувствовал себя аутсайдером, и это ощущение преследовало его всю жизнь. Может быть, из-за этого чувства непричастности Дэвид Корнуэлл, учась в Оксфорде, согласился следить за сокурсниками с коммунистическими настроениями и докладывать об их сборищах во внутреннюю секретную службу "MI-5". Если верить биографу, в старости пи-

сатель засомневался в моральной правоте своей тогдашней деятельности, но его раскаяние отразилось только в романах.

Из внутренней службы "MI-5" Дэвид Корнуэлл перевелся в настоящую шпионскую секретную службу "MI-6", работавшую за границей. В 50-х годах он был отправлен в Бонн, который называл "шпионским гнездом", проработал там пять лет и использовал весь многолетний опыт секретной службы — от ситуаций до персонажей — в своей литературе. Рецензент газеты "Нью-Йорк таймс" Джозеф Кэнон пишет об этом:

Британская Secret Service — источник литературного материала для длинной вереницы писателей, но только Ле Карре сделал эту организацию постоянной и неотъемлемой частью английского литературного пейзажа. Выдуманный им мир представлен так убедительно, что даже реальные сотрудники "MI-6" иногда путают эти два мира и охотно пользуются жаргоном, придуманным Ле Карре для романа "Шпион, выйди вон": "кузены" (сотрудники ЦРУ), "фонарщики" (те, кто следит за подозреваемым), "медовая ловушка" — сексуальный шантаж. Особенно прочно вошло в шпионский обиход слово "крот", обозначающее предателя-информатора внутри организации.

Те читатели, которые надеются узнать из "Биографии Джона Ле Карре" настоящие шпионские истории, будут разочарованы. Ле Карре не открыл биографу ни одного реального случая из своей практики, как он сказал, "и по законным, и по моральным соображениям". Однако в самих романах Ле Карре жизнь и деятельность шпионов и разведчиков предстает намного реальнее и печальней привычного мира шпионских детективов. Ле Карре ввел в литературу новый образ: Лимас из романа "Шпион, который пришел с холода" или Джордж Смайли (герой восьми романов писателя) — совсем не похожи на хрестоматийных литературных шпионов. Это — несчастливые, усталые люди, которые делают свое дело, редко убивая, чаще давая убить себя, не получая за свой опасный и не совсем чистый труд ни богатства, ни славы, ни даже благодарности.

Адам Сисмэн — биограф деликатный, но при этом достаточно искусный, чтобы своей деликатностью не обеднить мир и личность своего героя и не ввести в заблуждение читателя. Поэтому, описывая богатую любовную жизнь Джона Ле Карре, он почти не называет имен, кроме, естественно, имен двух жен писателя, но при этом он способен оживить сами эти любовные драмы: ярко описать чувства жены или показать, как (по словам рецензента Кэнона) "отразились в рома-

нах Ле Карре нюансы любовного предательства". Только один любовный роман писателя — с замужней женщиной миссис Кеннауэй, точнее, любовь втроем — описан в "Биографии" подробно. Эта связь, напоминающая любовный треугольник из французского романа (и потом фильма) "Жюль и Джим", сыграла немалую роль в жизни Ле Карре и вдохновила его на роман "Наивный и сентиментальный любовник", опубликованный в 1971 году.

Много лет, — пишет рецензент Кэнон, — велись бесплодные споры литературоведов и писателей (часто подогретые завистью или снобизмом), является ли Джон Ле Карре жанровым писателем, переступившим границы своего жанра, или серьезным автором художественной литературы. Споры эти давно стихли, потому что без романов Ле Карре уже нельзя представить себе мировой литературы конца XX — начала XXI веков.

Илья Фальковский
Володя, Вася и другие

Истории старых китайских интеллигентов, рассказанные ими самими

Отрывки из будущей книги

Вступление

Я несусь по третьему уровню автострады.

По бокам меня обступают коробки домов.

Зажимают меня в тиски.

Поворот, еще один.

Я вырываюсь на просторы.

Впереди ослепительными улыбками сверкают громады небоскребов.

По улицам несутся мириады людей.

Их засасывает в пасти “Uniqlo” и “Giordano”, они проваливаются в бездну “KFC” и “Макдоналдсов”, бьются за место в очередях за айфонами и айпадами.

Время не поспевает за ними.

У кого мне узнать о прошлом?

Я спросил своего китайского студента Мишу, читал ли он классический роман “Путешествие на Запад”.

— Конечно, читал, — кивает он.

— Все четыре тома? — удивляюсь я.

— Я смотрел сериал, — гордо заявляет он.

— Но ведь смотреть сериал — это не то же самое что читать книгу! — восклицаю я.

— Разве? — спрашивает он.

Я стою перед пагодой Ифа. Она такая миниатюрная, что, казалось бы, можно взять ее с собой и унести домой. Под ней, по преданию, погребены волосы шестого патриарха чань-

© Илья Фальковский, 2017

буддизма Хуэйнэна. Много лет назад, будучи первокурсником, я читал его “Сутру помоста”. Теперь я живу неподалеку. Когда-то давно я мечтал найти Китай Хуэйнэна, Китай мудрецов и искателей истины. Но найду ли я его?

Как счастлив был я, когда устроился на работу в университет и встретил своих стариков! Они — чудом уцелевшие осколки истории. Носителями культуры в Китае всегда были считаные единицы. До Синьхайской революции 1911 года подавляющее большинство населения страны было безграмотным. Образование считалось уделом очень обеспеченных людей. Только они могли себе позволить пригласить домашнего учителя, какого-нибудь бывшего студента, провалившего экзамен на чиновника. У богатых семей существовали также собственные академии — здание одной из них, академии клана Чэнь в Гуанчжоу, превращено в музей и известно многим туристам. Учеников в них готовили к государственному экзамену. Сдача экзамена тоже превращалась в дорогостоящее предприятие — сам он был бесплатным, но нужно было иметь достаточно средств на дорогу, жилье, бумагу и кисти. Все, кто проходил экзамены, делились на четыре ранга — туншэн, сюцай, цзюйжэнь и цзиньши. В конце XVIII века на страну с трехсотмиллионным населением приходилось всего около 3000 людей, получивших высшую ученую степень — цзиньши. В XX веке в Китае расцвела европейская система образования. Постепенно она заменяла традиционную конфуцианскую систему. Подвижником образования был мыслитель Тао Синчжи. Он провозгласил единство преподавания, учебы и практики. Наш ректор преклоняется перед ним. Ректор любит цитировать слова Тао Синчжи: “Сколько ни учи, главное научить человека стремиться к совершенству. Сколько ни учись, главное научиться, как стать настоящим человеком”. Тао Синчжи создал Китайское общество содействия образованию простолюдинов.

Но в годы “культурной революции” университетское образование выжигалось каленым железом, а интеллигенты уничтожались. Мало кому удалось пройти через эти мельничные жернова и выжить.

Сегодня ситуация изменилась к лучшему. В мировых рейтингах вузов восемь китайских университетов входят в топ-200, а тридцать — в топ-500. Но в то же время всего 4 % населения имеют высшее или среднее специальное образование. Часто меня ставит в тупик диковатое поведение какого-нибудь местного жителя. Но всякий раз я напоминаю себе, что основное население городов — это недавние сельчане. Многие из

которых не окончили и школу. Среди нынешних нуворишей таких большинство. Они путешествуют по миру, селятся в дорогих отелях, шумят, плюются и раскидывают повсюду мусор. И те, кто с ними сталкивается, именно по такому среднему китайцу зачастую судят обо всем народе.

Я вспоминаю своего знакомого, владельца ресторана деликатесов. Там подают к столу блюда из диких животных, чье мясо официально запрещено к употреблению в пищу. Например, ящера-панголина или живущей на деревьях циветы. Он не знает ни одного иероглифа. Поэтому, чтобы запомнить заказ, рисует изображение птицы, рыбы, черепахи и т. д.

Однако есть и другие. Об их существовании я поначалу не подозревал. Но теперь, прожив восемь лет в Китае, мне повезло с ними познакомиться.

Я вхожу в подъезд своего дома в кампусе. На лестнице встречаю Эдди, преподавателя английского языка. Он абсолютно гол.

— Эдди, что с вами? Вам надо одеться.

— Мне пришел новый имейл. Не знаете, что там было написано?

— Эдди, понятия не имею. Но вам лучше одеться.

Эдди явно сошел с ума. Он безумен.

Эдди сбрендил, бедный Эдди, — эти слова жонглируют в моей голове, крутятся по кругу.

Не знаю, чем помочь ему.

— Оденьтесь и заходите ко мне. Вместе посмотрим ваш имейл.

Эдди явно не внял моему совету. Я узнаю, что на следующий день американца, бесцельно бродящего по кампусу в чем мать родила, увольняют.

В университете иностранных языков — том, где училась моя жена, — говорят, что Стюарт, пожилой профессор из Оксфорда, несколько тронулся рассудком. Все знают, что он снимает свои зарплаты с карточки и прячет их под кровать.

— Банки — это опасно, очень опасно, — доверительно шепчет он каждому встречному. — Лучше хранить деньги дома.

Но Китай — не Россия. Здесь привыкли держать деньги в банках. Поступок Стюарта выглядит, мягко говоря, странным.

Наконец, его деньги исчезают. Стюарт вызывает полицию. Камера наблюдения на подъезде не зафиксировала ничьего вторжения в дом. Полиция говорит, что Стюарта ограбил кто-то из своих. Окно из душевой комнаты выходит прямо на лестницу. Через него можно легко залезть в квартиру Стюарта.

Другой преподаватель английского, Ричард, начинает безудержно сорить деньгами. Покупает пиво ящиками.

— Ричард, не вы ли ограбили Стюарта? — полушутливо спрашивает у него кто-то из коллег.

— Да, я! — отвечает Ричард и заливается хохотом.

После чего сам идет сдаваться в полицию. При этом танцует и мурлычет песенки себе под нос.

Что происходит с иностранцами в Китае? Почему у них не выдерживают нервы? Неужели и меня ждет участь Эдди, Ричарда и Стюарта?

Катер несет меня по воде. Мы огибаем остров. Пара хищных грифов выныривает из-за утеса. Кружат над моей головой. Видят, что добыча слишком крупна для них, и поворачивают обратно.

Я хочу попасть на восточную часть острова. Вчера я шел туда по единственной здесь дороге, но военные с автоматами преградили мне путь. Их часть базируется в лесу посреди острова. Пришлось возвращаться ни с чем. Гостиниц здесь нет, я переночевал во времянке контрабандистов. Они предложили переправить меня на восток в кузове грузовика, развозящего воду, или обогнуть остров на лодке. Трястись в кузове мне не приглянулось. Не ровен час, военные с автоматами решат проверить грузовик, откроют двери кузова — а тут я валяюсь, свернувшись калачиком, среди ящиков с водой. Но главное — в кузове душно. Я выбрал путь по воде.

Мы причаливаем к берегу. Хозяин улыбается мне. На его задубевшей от солнца коже годы вырубили сетку тропок-морщин. Но он по-прежнему бодр. На ночь уходил в плавание с рыбаками. Раньше они продавали в Гонконг топливо. Но таможенники конфисковали их корабль. Они по-прежнему плавают в Гонконг без виз и паспортов. Но теперь торгуют рыбой с лодок. Хозяин остается ждать меня на берегу.

Я показываю рукой в сторону навеса:

— Вы можете поспать здесь. Я вернусь через пару часов.

Он снова улыбается. Я иду вверх по дорожке. Продираюсь сквозь заросли тропических растений, колючки кустарника, подтягиваюсь, держась за ветви деревьев, нити лиан, гибкие стволы молодого бамбука. Вижу перед собой крышу заброшенного бункера. Когда-то японцы испытывали здесь бактериологическое оружие. Разводили обезьян для опытов. Японцы ушли, а обезьяны остались. Размножились, и теперь в их стае несколько тысяч. Я люблю обезьян, а они в Китае — редкость. Раньше на юге их водилось много, но теперь почти

всех съели, обезьянье мясо — деликатес. Они остались только в труднопроходимых местах. Я ищу обезьян. Слышу вдали их крики. Я иду вдоль ручья. Жара нестерпима. Футболка взмокла от пота. Я хочу искупаться в ручье. Сажусь на обточенный водой гладкий камень. Со всех сторон несутся вопли цикад. Они сливаются со звуком воды. Ровный поток звука растворяет меня в себе. Наступает тишина.

Этот остров — одно из последних мест в нашей провинции, еще не тронутых цивилизацией. Я остаюсь один. Один на один с самим собой. Я сижу на камне и прислушиваюсь. Мне кажется, я начинаю слышать. Я слышу легкий шум дыхания Хуэйнэна.

П*рофессор* В*олодя*

Я сижу напротив профессора Володи в его квартире в университетском общежитии. Профессор улыбается щербатым ртом, в котором недостает доброй половины зубов. Профессор купил хлебопечку и испек хлеб к моему приходу. Профессор показывает мне, как работает хлебопечка. Я ничего не понимаю в ее устройстве, но из вежливости киваю. Профессор радуется, как ребенок. Еще он заквасил капусту вместе с огурцами в одной бадье. Вкус и у капусты, и у огурцов необычайно кислый, непохож на привычный мне. Ем я их с трудом, но из той же вежливости нахваливаю его произведения.

— Похожи на русские? – спрашивает профессор.

— Похожи, похожи, – киваю я с набитым ртом.

Профессор смеется и хлопает в ладоши. Профессор истово и бескорыстно любит Россию. Я ем теплый белый хлеб, намазывая его сливовым вареньем и, морщась, закусываю кислыми огурцами и капустой. Сегодня у профессора счастливый день. Я нашел его Тамару. Но об этом я расскажу после. Сегодня, наслушавшись его рассказов о молодости, о годах "культурной революции", я решил их записывать. С самого начала, с его детства.

У меня было счастливое детство. Мой родной отец работал в Гоминьдане. Он был небольшим начальником. Мой приемный отец — его прямой начальник, генерал Лю Шан. У Чан Кайши было четыре звезды, у Лю Шана — три. Когда мне было два с небольшим года, Лю Шан часто видел меня. Он сказал отцу: "О, какой мальчик, симпатичный, умный! Отдай его мне!" Мой родной отец не посмел ослушаться. И подарил меня. Так я попал в дом приемного отца.

В его доме работало много нянь. Две китайские старухи, три девушки. Все безграмотные. Отец пригласил мне в няни

русскую старуху. Ей было шестьдесят пять или шестьдесят шесть лет. Она жила в Харбине. Когда началась антияпонская война, она вместе с китайскими студентами убежала из Харбина в Пекин. У нее был друг, коммунист, он был героем войны, воевал с японцами. Приемный отец попросил его: “Можно она поступит ко мне работать учительницей моего сына?” Так она пришла к нам. Ее звали Елена Ивановна Чинцова. Во время вашей революции ее родители убежали из России в Харбин. Ее папа до революции был помощником министра финансов.

У няни было много достоинств. Она говорила по-французски, хорошо рисовала, играла на пианино. Поэтому я сейчас немножко говорю и понимаю по-французски, но читать не могу. Был у нее только один минус — она почти не говорила по-китайски. Папа часто уезжал на войну с японцами. Я все время проводил с ней. Поэтому умел говорить только по-русски. До пяти лет совсем не разговаривал на китайском. Однажды папа вернулся и позвал меня к себе на колени: “Сынок, иди сюда! Как ты поживаешь? Как твое здоровье?” Я совсем не понимал, что он говорит. Я закричал: “Не понимаю, что ты сказал!” А он не понимает по-русски. Он закричал: “Не понимаю, что ты говоришь!” И я кричу: “Не понимаю, что ты говоришь!” Так и кричали оба. Тогда он позвал няню. “Сюда, сюда, что он сказал?” Няня: “Он сказал, что вас не понимает”. После этого он пригласил ко мне учителем китайца — седоусого старика-ученого. Так что постепенно я заговорил по-китайски. Через день по два часа учился у него китайскому языку. Но русский язык остался со мной на всю жизнь. Это няня дала мне имя Володя.

Мой приемный папа любил хорошо покушать. У него было четыре известных повара. Один сычуаньский, другой из Пекина, Тяньцзинь, третий из Хуайян, Цзянсу, четвертый хунаньский. Мне нравилось вместе с ними готовить пищу. Часто на кухне смотрел, как они что-то делают. Один повар сказал мне: “Когда вы вырастете, тоже будете работать поваром”. Я сказал: “Нет, не буду. Но я же должен сам кушать. Если я сумею готовить на свой вкус, это будет хорошо”. Однажды я попробовал резать картошку. Это трудно делать. Сразу порезал палец. Когда папа вернулся домой, он спросил: “Это что такое?” Я сказал: “Это я сам...” Он: “Нет!” Крикнул повару: “Сюда!” Повар, придя, сказал: “Он был в кухне и попробовал готовить”. Папа сразу достал пистолет и наставил на него: “Если будет у тебя так делать, я тебя пристрелю!” С тех пор я могу готовить разные вещи. Могу накормить пятьдесят-шестьдесят человек гостей. Но резать ничего не могу.

У нас был большой дом. Я тренировался в саду. Там было шестнадцать деревянных столбов, и я по ним бегал. Пока горела курительная палочка, я должен был обежать по этим столбам сто кругов. Каждое утро я пел в саду. У приемного папы было три жены. Первая казалась мне пожилой, ей было уже лет сорок, она все время молилась. Дети были только у нее. Вторая приехала из Харбина вместе с няней, студентка, ей было лет двадцать восемь. Она учила меня математике. Третья, самая молодая, лет двадцати пяти, — артистка пекинская. Учила меня петь. Поэтому я тоже артист. Я играл пекинскую оперу хорошо. Был руководителем пекинской оперы в нашем институте. Когда мне было девятнадцать лет, я играл роль девушки Цуй Ин Ин в опере "Си Сян Цзи". Очень хорошо играл. Мы везде играли. Никто не знал, что это мужчина. Однажды во время перерыва я отдыхал в гримерке. Зашли три студентки. "Ой, какие цветы красивые!" Я сказал: "Не ваши!" Они сразу как услышали голос: "Ааа, это же мужчина!" Еще один аспирант Харбинского технического университета прислал записку: "Кто играет эту роль в "Си Сян Цзи"? Ему написали мое имя. Он считал меня девушкой и написал мне три любовных письма. Я от души хохотал. Тогда наш ректор посоветовала: "Иди, встреться с ним. Скажи, что ты не девушка. Но можешь стать его другом". Я пошел на свидание, и мы подружились. При встрече он сказал: "О, очень хорошо выступали, такая красивая девушка, а оказалось, это юноша!" А потом, за год до окончания института, этот друг прыгал с вышки в бассейн. Там было мелко, он не заметил и разбился. Умер. Я плакал тогда. Он был единственный сын у мамы.

Шестьдесят лет спустя на прошлогоднем юбилее нашего университета я вышел на сцену и пел со студентами. Хорошо получилось. И выглядел неплохо. Как молодой. Как вы считаете?

Я рос в период антияпонской войны. Родители всегда воевали с японцами. Говорят, Гоминьдан не воевал с японцами, это неправда. Своими глазами я видел тех героев, кто воевал и кто погиб. Японские самолеты нас бомбили по десять-двадцать раз в день. Однажды мы поехали с няней в город за покупками. Зазвучал сигнал тревоги. Мы побежали в деревню. Спрятались в одном доме. Там человек пятьдесят сидело. Хозяйка была злая, кричала: "Каждый день ко мне ходите! Шумно!" Няня сказала: "Володя, пойдем отсюда". Мы вышли на улицу. Там вокруг много деревьев было. Отошли, наверное, метров тридцать. Сразу бу-у-ум! Взрыв. Я обернулся назад. Дома нет. А на дереве висят ноги, головы. Все пятьдесят человек погибли.

Я считаю, японцы самые злые в мире. Я никогда не забуду их дел. Когда я вижу их флаг, сразу сержусь. Скоро будет

семьдесят лет, как закончилась война. Я часто рассказываю моим студентам, какой она была на самом деле.

У нас работала в доме одна старуха. Она убирала дом и разбила очень дорогую вазу, инкрустированную золотом. Она заплакала. Я спросил: “Бабушка, почему плачешь?” Она: “О, я умру, я умру...” Я: “Почему?” Она: “Я разбила вазу”. Я тоже заплакал. Она сказала: “Если хозяин узнает, меня убьет”. Мне было жалко ее. На полу валялись осколки. Я взял один и вот здесь порезал руку. До сих пор видно, остался шрам. Крови много было. Сначала я думал, если я скажу, что это я сделал, папа не так сильно рассердится. Но крови очень много было. Я плакал. Громко. Папа проснулся. Встал. “Что с тобой?” Я сказал: “Я разбил эту вазу”. Вот так... Папа сказал: “Ничего, ничего, ничего... Не плачь. Купим тебе еще другую”.

Бабушка подумала, ой, какой мальчик добрый. Однажды ее сын приехал к нам забрать мать домой. Японцы уже ушли. Перед своим отъездом она мне сказала: “Володя, сейчас я скажу тебе что-то. Только никому, никому нельзя сказать. Скоро я поеду домой. А ты скоро закончишь начальную школу. Ты должен знать – хозяин Лю не твой родной отец”. Я взвился: “Что, что, что?” Она сказала: “Хозяин – это твой приемный отец. Родной отец – в другом городе живет”. Я сказал: “Это неправда! Я не верю тебе”. Она сказала: “Это правда, но никому не говори. Когда тебе было два года с лишком, ты приехал к нему”. Я знал, что мой отец очень хорошо относится ко мне. Еще ближе, дороже, чем к своим родным. И не верил. Но она сказала, что это правда. Она сказала, как зовут моего родного отца. Сказала, что мама родная жива, тоже в другом городе. Она так говорила серьезно, тихонько, что я поверил. А после этого я такой хмурый, скучный был... Я все время думал: “Как так? Как?” Ох... Скоро приемный отец заметил, что мальчик стал такой хмурый, скучный. Все время о чем-то думает. Много раз спрашивала меня: “Почему? Что с тобой, мой сынок?” Я не стерпел и заплакал. И рассказал ему то, что бабушка мне рассказала. Тогда она уже уехала домой. Он внимательно слушал. Потом долго думал. И мне прямо сказал: “Мальчик, я давно думал, что ты будешь знать. Но не думал, что это произойдет сейчас. Думал, ты будешь знать, когда станешь взрослым. Но хорошо... Она рассказала, кто твой родной отец?” Я ему сказал, что я хочу видеть родителей моих. Он сказал: “Хорошо”. Через, наверное, полмесяца один человек с женой – тогда ему было лет сорок – приехали. Незнакомые. Его жена так прямо, прямо на меня смотрела и даже плакала. Я удивился и спросил: “Папа, кто они?” А он сказал: “Вот. Это твои родители”. У моего приемного отца жизнь была хорошая. Мы

были богатыми. А у этих мужчины с женщиной одежда была простая. Я не верил, что это мои родители. А мама плакала. И я подумал: “Да, может быть”. Я ничего не сказал и убежал в сад. У нас хороший, большой сад был. В саду было озеро. Я сидел на берегу озера у камня и думал: “Это что такое?” Не верил...

Еще через, наверное, несколько дней мама родная снова приехала. В главные ворота она не смогла войти. У нас были западные ворота в сад. Она тихонько прошла, села в кухне. Другая служанка сказала мне: “Вот мама пришла”. Я спросил: “Чья мама?” — “Твоя мама”. Я спросил: “Где?” — “В кухне”. Я прошел в кухню. Она там сидела и плакала. Она сказала: “Сынок, это из-за твоего отца. Он все время слушает своего начальника. Начальник дал приказ. Он выполнил. Я тогда не согласна была с ним. Я все время думала, что тебе грустно тут. Переживала”. Я тоже плакал. Она сказала: “Ну как, поедем домой, сынок? Хотя у нас не так богатая семья. Еще бабушка живет с нами. Ей семьдесят лет, ходить трудно. Не могла сюда приехать”. Я сказал, что подумаю.

Однажды приемный отец веселый был. “Володя, иди сюда, садись!” Позвал сесть к нему на колени. Тогда мне уже лет одиннадцать было. Очень любил меня. Я сказал: “Папа, я хочу ехать в другой город”. Он сразу понял. Он спросил: “Хочешь жить с ним?” Я сказал: “Да”. — “Я не верю, — он сказал. — Они бедные. У них ничего нет. А у нас все есть. Ты привык к нашей жизни. Если ты поедешь, как жить будешь?” Я сказал: “Все-таки я хочу видеть бабушку. Она живет с ними, ей скучно”. Он сказал: “Ну ладно!” Подарил мне золото, еще много денег, я не знаю, сколько точно. Дал машину, выделил двух служащих, и мы поехали. А сам уехал в командировку. Когда мама увидела чемодан с подарками, удивилась, как там много золотых вещей. Приемный отец говорил другим: “Пусть он едет! Скоро он захочет вернуться! Он у нас очень хорошо живет, а там бедная семья. Никак не сможет жить”. Он так думал. Но бабушка и мама были очень добрые. Наверное, я только десять дней провел в своей семье, а приемный отец уехал в провинцию Шаньдун. Он тогда работал губернатором провинции Шаньдун. И мы потеряли связь с ним. У мамы осталось много денег, золота. Тогда, до революции, у нас в городе было много капиталистов. Один возьмет у мамы, к примеру, сто юаней, через год вернет сто двадцать юаней. Год было все хорошо. А потом этот капиталист пропал. В то время была огромная инфляция. Сейчас у нас жэньминьби, а тогда в обращение ввели бумажный “золотой” юань. Сегодня хлеб стоил десять юаней, завтра пятнадцать, а послезавтра вообще двадцать. Гоминьдан передумал и ввел “зо-

лотой" юань, а потом и его заменил на "серебряный" юань. И этот капиталист тихонько убежал. Мы стали бедными. Родной папа куда-то уехал. Мы остались с бабушкой и матерью. Мама помогала другим стирать белье и шить, чтобы кормить меня с младшим братом и бабушку. Тогда, в 1947 году, чуть не умерли от голода. Бабушка умерла. Мама со мной и младшим братом везде искала отца. Потом она узнала, что он живет в одном городе далеко от Уханя. Мы с трудом нашли его. Мой родной отец был нехороший человек. Завел там другую жену, временную. Он считал мою маму некрасивой, неграмотной. Меня он тоже совсем не любил — потому что в детстве я не жил с ним. Я его тоже не любил. До сих пор во сне я часто ругаю его. Мы поехали к нему и жили с ним два года. В 1949 году народная армия освободила бóльшую часть Китая. Мы убежали в провинцию Сычуань, в Чэнду. После освобождения Чэнду отца не поймали, он сам перешел в народную армию и служил там два года. Его простили и горячо приняли. Некоторые другие начальники Гоминьдана тоже перешли. После освобождения Китая в школе я не учился. Мы жили с отцом вместе в военном гарнизоне. Там было много детей бывших начальников Гоминьдана.

Потом мы вернулись обратно в родной город. Когда мне было девятнадцать лет, я участвовал в экспроприации. У помещиков было много земли, власти отбирали ее и делили между крестьянами. Я в этом участвовал. Секретарь партии города подумал — такой юноша, умный, активный, пошлем его в университет. Я поступил в Институт иностранных языков в Харбине. По-русски говорил свободно, но только не читал. Был такой случай. У нас в институте почти все были русские — повара, врачи, медсестры. Даже уборщицы русские. Одна старуха мыла пол. Я шел в туалет. А какой мужской, какой женский — не знал. Я не читал тогда. Я спросил эту старушку: "Бабушка, будьте добры, скажите, пожалуйста, где мужская уборная, а где женская". Она рассмеялась: "Молодой человек! По-русски так свободно говоришь, а даже не знаешь, где мужская, а где женская". — "Не знаю". — "Не читаешь?" Я сказал: "Я неграмотный". Она сказала: "Вот это чудеса! Студент свободно говорит по-русски, но не читает!" Я говорю: "У меня была няня русская, но я не читал тогда". Она очень удивлялась, как так...

А моя няня, после того как японцы ушли, поехала в Харбин. Там жили ее младший брат, жена брата и племянницы. Она мне сказала: "Володя, не забывай меня. Я поеду домой. Мы победили. Японцы уже ушли. Меня ждут мои родные". Я плакал, плакал. Она сказала: "Володя, никогда не забывай, что у

тебя есть русская бабушка. Россия — это моя родина. Хотя сейчас Советский Союз, но моя родина — Россия. Мои родные — русские. Не забывай никогда русский язык". Я сказал: "Хорошо". — "Надо считать русских своими родными", — сказала няня. Она дала мне такой наказ. Я сказал: "Бабушка, я никогда не забуду русский язык и русских, Россию". Я сказал еще: "Когда я стану взрослым, поеду в Россию. Если представится возможность, буду жить у них. Я ваш язык знаю. Русские, как вы, — добрые, хорошие, прямые. У меня теперь характер русского". Вот такое чувство русских все время со мной. В прошлый раз, когда мы с ректором ездили в Москву, в первом университете, где мы были, сидели и разговаривали с профессоршами-старухами. Когда я услышал голоса этих старух, сразу вспоминал мою бабушку. Когда я начал с ними разговаривать, то просто плакал и не мог с ними говорить.

Во время "культурной революции" Советский Союз был против Китая. Много бойцов посылали в Читу. У нас думали, что Советский Союз будет воевать с нами. Я тогда был уверен, что этого не будет. Русские все время относятся к нам хорошо, считают своими братьями и воевать с нами никогда не будут. Я тихонько это рассказал моим родным и друзьям. Не беспокойтесь, этого не будет. Трения между Китаем и Советским Союзом, я считаю, — это трения только между Мао Цзэдуном и Хрущевым. Только между начальниками Советского Союза и КНР. Начальник Советского Союза хочет стать вождем и Советского Союза, и Китая. А Мао Цзэдун тоже так думает. Борьба между ними, а между народами нет никаких трений и борьбы. Дружба между народами России и Китая нерушимая, навек.

После окончания института я сразу стал переводчиком специалистов из Советского Союза. Своими глазами видел, как они самоотверженно работали. Они очень заботились о нас, о строительстве Китая. Я работал на заводе тяжелого машиностроения в городе Фулаэрди, недалеко от Харбина. Очень большой завод. Его спроектировали с нуля, потом поставили и отрегулировали разные машины. Было больше ста специалистов, их жены и дети жили там в гостинице. Такая хорошая гостиница, с садом. Я работал со специалистом по фамилии Рудин, он был из Москвы. Ему почти шестьдесят лет было. Он делал проект. Он хорошо относился ко мне, потому что я свободно говорил по-русски и интонация была как у русских. Вторым специалистом был Иван Афанасьевич Мосин. Он был из Свердловска, с тамошнего завода тяжелого машиностроения. Он приехал с женой и дочкой Тамарой. Ей тогда было десять

лет. У них был еще сын, тоже Володя. Он не приехал в Китай, учился в Свердловске. Жена Мосина считала меня своим сыном. Тогда у нас уже был голод. Каждый день выстраивались большие очереди. Мосин видел их и спросил меня: “Володя, за чем это?” Я сказал: “За продуктами”. — “Почему?” — “Потому что мало продуктов. В месяц дают только четырнадцать килограммов хлеба, не хватает”. И каждый день он ловил меня: “Володя, идем в гостиницу ужинать”. Каждый день. Когда он был с женой в командировке в Пекине, она купила шапки — одну для своего мужа, одну для меня. Одна — дорогая, хорошая, а другая — простая, дешевая. Хорошую дала мне, а дешевую, простую, — своему мужу. Она сказала: “Володя, я считаю, ты — мой сын. А там у нас дома — твой брат Володя”.

Когда Хрущев поссорился с Мао Цзэдуном, консульство Советского Союза в Харбине велело специалистам в три дня вернуться домой. Все убежали. Мосина сказала: “Володя, терпи, когда я приеду домой, пошлю тебе продукты”. Через год я уже работал в Гуйлине, в Гуансийском педагогическом университете. Близко отсюда, на поезде два часа. Такой голод был. Люди пухли. Каждое угро мы ходили на базар за овощами. Часто видели — лежат один-два трупа, это крестьяне умерли от голода. В другой раз — шесть-семь. Если какой день не видишь, удивляешься, почему сегодня нет. Вот какой был голод. И она мне присылала посылки. Большой ящик, почти десять килограммов. Мука, сахар и другие продукты. Я человек такой: другие преподаватели тоже голодные. Каждый раз я варил еду, раздавал другим. Одному миску, другому, не меньше десяти. Кушайте, пожалуйста. Как раз, когда третья посылка должна была прибыть в Гуйлинь, я поехал в командировку в Харбин. У нас был преподаватель один, Андрей. Полукровка, мама — русская, папа — китаец. Сейчас еще жив. Он украл посылку. В кабинете лежала записка с почты, что пришла посылка. Он ее взял: “Володя попросил забрать”. И понес на почту. Пришел домой, кушал. Когда я вернулся домой, сотрудник в кабинете сказал мне, что пришла третья посылка, Андрей ее забирал. Я сразу к нему: “Андрей, сотрудник сказал, так, мол, и так”. Он: “Нет, нет, не знаю!” Я: “Обманываешь меня?” Он сердился: “Нет, вот лежит записка”. Я опять спросил: “Андрей, ну, ты что, получил посылку?” Он: “Нет, нет”. Я с этой запиской поехал на почту. Они смотрели, смотрели: “Да, все правильно, посылку забирали”. Я опять к нему: “Я уже на почте был”. И тогда он признался: “Да, Володя, сын у меня чуть не умер от голода. Я получил посылку. Когда мой родственник пришлет мне посылку, я верну”. Вот какой ужас был. А Мосина, когда посла-

ла третью посылку, ехала на трамвае. Упала, сломала левую ногу. Лежала в больнице. А потом нельзя было писать письма. Нам дали приказ, что нельзя с ними связываться. Она умерла.

Я такой декан, я люблю родину, люблю народ. Теперь можно сказать, что пока я люблю Си Цзиньпина. А дальше, если буду жив, посмотрю, что он будет делать. Сейчас по телевизору больше никогда не говорят: “Великая коммунистическая партия, великий вождь!” Великий, великий — больше этого слова нету. Если сейчас произнести слово “великий”, это прозвучит как шутка. Все будут смеяться. Они сами не называют себя великими. Слишком много ошибок сделали. Когда в 1961 году этот голод был, много-много людей умерли. Вначале сказали, из-за плохой погоды. Но у нас территория огромная. Плохая погода в каждом году бывает. Но не бывает, чтобы во всем Китае была плохая погода. Потом сказали, что нужно было вернуть деньги Советскому Союзу. Они сказали неправду. Так почему случился голод? Руководитель одного города отчитался неправдиво. Он сказал — у нас муки тысяча цзиней. Другого — а у меня муки две тысячи цзиней! Третьего — а у меня пять тысяч! А на одном му невозможно вырастить столько риса. Они все просто надеялись на повышение. Мао Цзэдун виноват. Он был крестьянином. Он хорошо знал, сколько цзиней можно вырастить на одном му.

Однажды я ехал в командировку в Пекин, вошел в вагон в Харбине. Поезд ехал из Москвы в Пекин. В вагоне сидели несколько специалистов китайского языка из Чехословакии. Один из них увидел, что вошел такой молодой китаец, сразу сел рядом, разговаривал со мной по-китайски. Я его спросил: “Почему вы приехали к нам?” Он достал из сумки “Народную газету”. Там был один снимок — три человека танцевали на рисе. Как так можно? Потом я понял, что там в рисе просто стоял стол. Мальчики танцевали на столе.

Ну хорошо, начальник сказал, сколько он собрал риса с одного му. А рис надо сдавать государству. Пропорционально. Из каждых ста цзиней — двадцать. Но тот, который сказал, что у него несколько тысяч цзиней, он же обманул. Что ему делать? Все равно придется отдавать это количество. Пришлось сдавать не только рис, но и не взошедшие зерна. Все равно не хватало. А на следующий год что взрастет без зерен? Поэтому начался голод. Около Гуйлиня умерли триста тысяч крестьян, а в Китае около миллиона. Почему? Кто отвечает за это?

Когда после освобождения заговорили, что Гоминьдан не воевал с японцами, я сразу понял, что эти руководители говорят неправду. Мы почти каждый год воевали. Они говорили, что Чан Кайши спустился с гор, чтобы сорвать персики. Это

значит, что не он сажал дерево. Я сразу понял, что это за партия. Тогда мне было пятнадцать лет. Я решил никогда не интересоваться политикой. Политика здесь, я там. Поэтому и стал интеллигентом. Профессором.

В этот день мы пришли к профессору вместе с моей дочкой от первого брака. Сейчас у школьников уже начались летние каникулы, дочка приехала ко мне отдохнуть. Я рассказал профессору, как нас обманула семья моей китайской жены Зои. В выходные мы были у них в гостях. На столе стояли разные блюда – рыба, кальмары, курица, салат из битого огурца с медузой. Но с особым удовольствием Зоин отец поглощал черное мясо.

— Что это? – спросил я.

— Баранина, – объяснила Зоя, – но невкусная. Мне не нравится.

Я сказал Зоиной маме:

— Ваша дочка считает, что баранина невкусная. А папа вон как уплетает.

— Вкусная, вкусная, – заживала мама. И они наперебой с папой стали предлагать баранину, пододвигать ее к нам. Я не ем мяса. А моя дочка попробовала. Ей понравилось. Зоя начала ей подкладывать кусочки. Все новые и новые. Так они вдвоем с Зоиным папой и умяли всю тарелку. И вот когда на следующий день мы вернулись в кампус, речь зашла о том, что едят китайцы. Дочка спросила Зою, правда ли, что женщины для здоровья поедают слепых новорожденных щенков.

— Да, – сказала Зоя, и зачем-то добавила, – трех в месяц. А ты хотела бы попробовать?

— Ну, можно, – задумчиво протянула дочка.

— Ну, если честно, ты уже пробовала собачатину. Вчера это была не баранина, а собака.

Бог знает, зачем они нас обманули. Наверное, стеснялись при иностранцах есть собаку. Думали, что нам это не понравится. Вот и придумали ложь про баранину. Но из природного гостеприимства решили ей угостить. Или им стало жалко нас, глупцов, которые не едят собак. Ведь они такие вкусные.

Я рассказывал все это профессору. Он от души смеялся.

— Они плохие, – показал он пальцем в сторону Зои. – Они едят собак. Мы, буддисты, не едим собачье мясо. Мы считаем, что собака – это через сто лет вернувшийся в дом дух родственника.

— А вот нобелевский лауреат Мо Янь в своей книге "Страна вина" вообще пишет, что китайцы едят детей. Это правда? – как бы в шутку задал я давно мучивший меня вопрос.

— Да, правда, – неожиданно легко согласился профессор. – В 60-е, во время голода, в провинции Хубэй ели детей в деревнях. Как было то... Своих ведь есть жалко. Вот и менялись с соседями. Говорили, давайте, мы вам своего отдадим, а вы нам своего...

А еще был такой случай. У моего соседа жена пошла на рынок. Приходит, а там неожиданно пампушки продают с мясом. Она купила, принесла домой. Поели с мужем. Очень вкусно! Она еще за пампушками пошла. Входит в эту палатку, а там никого нет. Прошла дальше, на кухню. Там мужчина готовит. Она говорит: "Вот такие вкусные пампушки, пришла еще купить!" Он улыбается. А сам нечаянно рукой крышку котла задевает. Она отодвигается. Жена соседа заглядывает внутрь – а там такой большой желудок и женская грудь отрезанная.

Профессор помолчал.

– Голод был страшный. У нас даже рис не рос. Один гаолянь. Я отправился за рисом далеко. За две тысячи километров. Весил я тогда 107 цзиней [53, 5 килограмма. – И. Ф.], а мешок риса купил в 124 цзиня [62 килограмма. – И. Ф.], на себе тащил. Несколько раз падал. Люди мне помогали его нести. Привез домой детям. Мы с женой сами не ели, только дети. Когда они ели, мы на них смотрели и были более счастливы, чем они сами.

Вот недавно к моей дочке подруга приходила. И дочка говорит, что купила платье на распродаже. Так оно стоит две с половиной тысячи юаней, а удалось за восемьсот взять. Потом подруга ушла. Я говорю: "Дочка, и ты считаешь, это дешево?" Вот на мне футболка за десять юаней. Дочка говорит: "Папа, зачем ты унижаешь себя? Ведь у тебя есть деньги, ты можешь купить себе все, что хочешь". А зачем мне это нужно? Ведь у меня было, все что хочешь. Когда я был переводчиком, носил дорогой английский костюм. А сейчас я уже старый. Мне скоро уходить. Мне ничего не нужно.

Когда советские специалисты уехали на родину, мы, переводчики, остались без работы. Я стал преподавателем русского языка сначала в Харбинском техническом университете, потом в Гуансийском педагогическом университете. В 1964 году правительство запретило преподавать русский язык по всей стране. Опять остался без работы. До этого в Китае в средних школах и университетах из иностранных языков преподавали только русский. Некоторые профессора английского языка, старики и старухи пятидесяти, шестидесяти, семидесяти лет пошли в наш институт в Харбине, чтобы заниматься русским языком. Учили алфавит – А, Б, В...

После запрета преподавать русский язык начальство отправило меня на факультет английского языка изучать английский. Я просидел в классе три дня, потом сказал жене: "Больше туда не поеду". Она спросила: "Почему?" Я сказал: "У преподавателя произношение хуже, чем у меня". Дело в том, что в детстве, во время антияпонской войны, рядом с нами жил один американский летчик. Я с ним вместе играл в футбол. И немножко говорил по-английски.

Потом, во время "культурной революции", не было никаких занятий. Из-за того что мой папа служил в Гоминьдане, меня лишили права свободно передвигаться. Мой сосед, директор библиотеки нашего института, тайно дал мне ключ. "Володя, вот ключ от библиотеки. Теперь там никто не занимается. Все заперто. Иди, читай то, что ты любишь". Тогда американские передачи нельзя было слушать. Если слушаешь, значит, ты — контрреволюционер, тогда в тюрьму, расстрел. Как же быть? Я смотрел в книге — "эй", "би", "си", "ди". Благодаря русскому языку читал "а", "вэ". Тихонько учил, постепенно. Было очень трудно. Читал, читал. Читал все грамматики английского языка. Хотел знать больше, но не мог продвинуться. Когда разрешили перемещаться по стране, я поехал к своей сестре, которая жила и работала в Пекине. Побывал в пекинской библиотеке. Нашел там книгу, толстую — русский писал английскую грамматику. Он писал английскую грамматику на русском языке. Я знал русский язык и немножко английский. Папа этого автора был послом в Англии. Он родился в Англии и в детстве жил там. Конечно, он хорошо знал английский язык. Дома разговаривали по-русски, так что он хорошо знал и русский. Потом он вернулся домой и написал для русских эту английскую грамматику. Очень хорошо написал. Вот так. И я по его примеру написал английскую грамматику на китайском языке. Моя книга была третьей английской грамматикой в Китае. Я написал восемь частей. Сейчас готовлю девятую книгу.

Первая моя девушка — русская. Когда я окончил институт, я даже не знал, что такое любовь. Когда я работал переводчиком, у нас была одна специалистка, русская женщина. Ее специальность — литейщик. Ее звали Зоя Соколова. На наш китайский вкус — красивая. А на вкус русских — некрасивая. Русские любят высокий нос, а у нее нос был невысоким. Немножко смуглая, но волосы светлые. Стройная. Родом с Украины, из Киева. Ей тогда было чуть больше тридцати лет, старше меня на десять лет. Незамужняя. Она меня полюбила. Мы вместе танцевали. Однажды она сказала: "Володя, если ты хочешь, я могу остаться в Китае работать, с тобой буду жить". Я испугался. Она была старше, я не любил ее. Девушки тогда за мной табуном ходили. Я иду впереди, а за мной десять девушек. Как петух какой-то. Друзья меня так и прозвали: "Петух". Я тогда ни на кого не обращал внимания.

Я преподавал русский язык в Гуансийском педагогическом университете. Я там работал шесть лет. Наш факультет был создан в 1958 году. Все преподаватели были молодые. Мне то-

гда было, наверное, двадцать шесть или двадцать семь лет. Я преподавал, а моя будущая жена была моей студенткой. Она моложе меня на семь лет. В молодости она была очень красивой. Самой красивой в университете. Я тогда преподавал только студентам третьего курса. Она училась на этом курсе. Я ей преподавал. Молодых преподавателей было много, человек тридцать. Большинство из них ухаживали за ней. Я за ней не ухаживал. Я не хотел жениться, пока не стану профессором. Мне нужно было заниматься вместе со студентами во время их самостоятельных занятий после ужина. Если у них были какие-нибудь вопросы, они могли мне задавать. Тогда многие девушки хотели выйти замуж за молодых преподавателей. Чтобы они не ухаживали за мной, когда кто-то входил, я делал вид, что пишу письмо. Однажды одна девушка спросила: "Преподаватель, что ты пишешь?" — "Это секрет". — "Подруге письмо?" — "Ага". — "Где она?" — "Она в Харбине". Я так делал, чтобы они не мешали мне. Но постепенно они заметили, что это обман. Будущая жена через свою подругу передала мне, что хочет со мной подружиться. Я подумал: эта девушка хорошо занимается, молодая, красивая, самая красивая в университете. Ее тогда называли "цветок университета". Мы вместе не гуляли, преподавателю со студенткой неудобно. Только ходили в кино. Когда начиналась картина, и становилось темно, она приходила и садилась рядом. А когда кино заканчивалось, она уходила до того, как включали свет. А через год, те преподаватели, которые ухаживали за ней, писали про меня дацзыбао. Конечно, они меня не любили. Они видели, что она стала моей подругой, и им было неприятно. Я всю свою жизнь считаю Россию своей второй родиной. Русские — хорошие люди. И вот во время "культурной революции" те преподаватели, что ели разные вещи, которые русская мама послала из Советского Союза, писали дацзыбао: "Володя — шпион Советского Союза. Он — сын Хрущева. Он написал письмо, в котором сказал, что у нас голод. Поэтому они послали ему посылку".

Одним словом, они искали кость в яйце. Я просто смеялся: "Это все обман!" А потом секретарь коммунистической партии вместе с помощниками переписали эти дацзыбао и отправили руководству компартии нашего факультета. Там был один сотрудник отдела безопасности, который посчитал, что это вообще не документы, а ерунда, и убрал в ящик. А года через три пекинское правительство отправило меня в другой город работать. Тогда как раз началась "культурная революция". И этот сотрудник передал бумаги в отдел безопасности, чтобы они отправили их в мой новый институт. Они открыли этот ящик и смотрели: "А,

это не документы, так, непонятно что". Но в это время как раз появились "правый", "левый уклоны", меня объявили "правым уклонистом". Написали, что моя мама – помещица, писали дацзыбао: "Помещик – убирайся домой!" Я увидел эти дацзыбао и очень рассердился: "Ага, помещик! У меня ничего нет, никакой земли!" Я сорвал их со стены и разорвал. Все видели. Это считалось очень серьезным проступком. Я поехал в отдел безопасности города. Я спросил начальника: "Они говорят, моя мама – помещица. Вам тоже это известно?" – "Нет. Теперь везде беспорядок". Я спрашивал начальника нашего отдела безопасности: "Зачем так писать? Начальник городского отдела не знает, что моя мама – помещица". Он сказал: "Там написано". – "Где?" – "Вот в этом ящике. Нам послали из Гуансийского педагогического института". На следующий день я поругался с ними, схватил коробку и понес в общежитие. Я был так сердит, почти безумен. Положил эти бумаги в таз и сжег их. Хунвэйбины пришли ко мне с обыском. Они сказали, что я сжигал документы отдела безопасности. Это значит, что я – контрреволюционер. Тогда я поехал в Гуйлинь, в свой старый институт. Пришел к директору института. Спросил его: "Что за документы вы послали?" Он: "А, да это ерунда". К секретарю факультета иностранных языков: "Что там такое?" – "Ерунда". Начальник отдела безопасности тоже сказал, что ерунда. Все они так сказали. Я сказал: "Тогда напишите, что это за документы". Они написали: "Эти дацзыбао – ерунда, не документы отдела безопасности. Володя – не контрреволюционер". Поставили печать. Я положил бумагу в карман и вернулся обратно в Тайюань. Показал им бумагу. Они: "Извините". Извините...

А через год образовались две группы. В одной те, кто принимал политику коммунистической партии. В другой те, кто был против. Когда я приехал в этот институт, как раз ректор в столовой делал доклад о "культурной революции". В этом институте я никого не знал. Я думал, коммунистическая партия и Мао Цзэдун проводили эту революцию, чтобы укрепить партию. Я стоял на стороне той группы, где были коммунисты. А через год те, другие, захватили власть. Преподаватели и студенты – хунвэйбины. Тогда они объявили меня контрреволюционером. Я снова поехал в Гуйлинь. Хотел доказать, что я не контрреволюционер. Они поехали за мной в Гуйлинь и там схватили меня. Все время: "Это неправильно, то неправильно". Я ругал их: "Неправильно? Вы – обманщики!" И в это время я на полу спал. Никто не занимался тогда, уроков не было, только революция. Меня не в тюрьму отправили тогда, а в институте заперли в кабинете пустом. Окно, за ним дерево. Бума-

ги раскиданы. Я спал на полу три месяца. Били меня. “Шпион Советского Союза!” Я говорил: “Нет, я не шпион”. — “Ты был переводчиком специалистов из Советского Союза!” Я сказал: “Начальник мне приказал. Это моя работа”. — “Начальник тоже шпион Советского Союза!” Они не знали, кто начальник. А моим тогда начальником был отец Си Цзиньпина. Но я им не сказал. Во время “культурной революции” отец Си Цзиньпина провел в тюрьме десять лет. На директора нашего института надели шутовской колпак. Я рядом с ним был тогда, тоже так. Чуть не умер. Били меня. Каждый день давали только кукурузные пампушки — одну, потом еще одну. Все время голодный был. Иногда на собрания выводили. “Шпион, шпион, шпион”. Все время ругали. Чуть не стал сумасшедшим.

Один порвал на мне рубашку. Я его обругал: “Подожди, придет время, и купишь мне хорошую рубашку!” Они хотели найти эту бумагу, где было написано, что я уничтожил не документы, а ерунду. Я лежал на полу и думал, как быть, куда спрятать эту бумагу. Если они у меня ее отберут, то будут говорить, что я уничтожил документы, и тогда ничего не поделаешь. Потом я порезал тюбик с зубной пастой и выдавил всю пасту в туалет. И спрятал бумагу в тюбик. Никто не заметил. Они сказали: “Поехали обратно в Тайюань!” Я сказал: “Хорошо”. — “Собирайся!” Они думали, что увидят ее, когда я буду собирать вещи. Я сказал: “У меня нет вещей”. Стучали по полу, чтобы ее найти. Они не могли догадаться, что эта бумага в тюбике. Спросили, где она. Я сказал: “Вон, в туалете, я вчера уже ее использовал”. Когда вернулись в Тайюань, снова меня мучили, будто я уничтожил важные документы. Думали, что этой бумаги уже нет. И тогда я показал ее на собрании перед всеми. Но больше всего меня мучили не хунвэйбины, а те преподаватели, у кого у самих родители помещики или были расстреляны, или те, кто реально исповедовал правый уклон. Чтобы выгородить себя, они мучили меня. Я показал ее и опять спрятал на груди. Это моя жизнь. Если хотите взять ее, пожалуйста, режьте меня. А потом те преподаватели, которые овладели властью и стали руководителями революционного комитета, исключили меня из института. Они писали в городское управление, чтобы меня отправили в шахту добывать руду.

Когда меня заперли, еще заставляли трудиться. Преподаватели-хунвэйбины следили за мной. Когда я после работы ложился спать, они кричали: “Володя, иди за водой!” Шел к колодцу за водой. А я слабый, голодный, сил мало. Один раз пытался поднять ведро, упал, ведро разбило мне голову. Однажды они сказали: “Володя, тебе скучно, мы знаем. Но смирись”. — “Как

смириться?" — "Вот вывинти лампочку из потолка и вставь туда пальцы". И я понял, что им больше нечего придумать, как меня дальше мучить. Я смеялся: "Дальше у вас дороги нет, чтобы меня мучить". Я сказал: "Пока на горе есть лес, будут дрова". Я считал, если я выживу, у меня будет хорошее будущее.

Я сказал городскому начальнику: "Это неправильно. Я не поеду копать уголь". И он вдруг сказал: "У тебя есть ноги. Иди куда хочешь. Мы не будем мешать".

Во время "культурной революции" Мао Цзэдун думал, что Советский Союз будет с нами воевать. Поэтому наш институт переехал далеко в горы. Я поехал оттуда в правительство провинции. Оказалось, что мое имя уже вычеркнули из институтской домовой книги. А без выписки из этой книги нельзя было купить хлеб. Показал свою бумагу начальнику палаты образования. Он сказал, что, пока мое имя не впишут обратно, другие преподаватели тоже не смогут получать хлеб. Значит, все-таки есть хорошие люди среди коммунистов. А ночью ко мне постучались два преподавателя. У одного из них отец-помещик был расстрелян, другой сам был правый уклонист. "Надо добавить твое имя в книгу". — "Почему?" — "Без тебя мы не можем получить хлеб". Я опять хохотал. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

А потом в конце "культурной революции" они писали на красном плакате: "Извините, Володя, мы виноваты". А до этого каждый месяц давали мне только тридцать юаней. Не было заработка. А тут еще и компенсацию дали — две тысячи юаней. Тогда я был как сумасшедший. Ходил по всему институту, показывал деньги и смеялся: "Ха-ха-ха, я победил!" Потом руководитель их революционного комитета сказал: "Володя гордый. Почти сумасшедший. Я все время его ругал. Он здесь, я ругал его. Он там, я ругал его. Он на собрании, я ругал его. Я сдаюсь".

Вскоре министерство сталелитейной промышленности собралось строить завод в Ухане. Понадобился переводчик английского языка. Мой знакомый стал заместителем министра этого министерства и направил меня с женой в Ухань. И мы стали переводчиками. Три года мы там работали. Тогда Мао Цзэдун умер. И все хорошо было. Когда построили завод, собрались ехать в Шанхай строить другой завод. А я — уханец. Я попросил ректора института, где я учился, написать ее другу, другому ректору, чтобы меня оставили в Ухане преподавателем английского языка. Потом я стал профессором английского языка. После выхода на пенсию я поехал в Россию. Работал

переводчиком русского языка. Когда я вышел на пенсию и первый раз оказался в Москве, как раз на Красной площади коммунисты проводили митинг. Против происходящего. Тогда уже власти и Советского Союза не было. Много народа там было, шумно. Мой друг сказал: “Профессор, власть пала, а это коммунисты протестуют”. Я очень удивлялся, как так.

Но все-таки я верю, что партия была хорошая. Только руководители плохие. Так и в Советском Союзе, и в Китае было. А большинство коммунистов Советского Союза и Китая — хорошие люди. Я так считаю. Я тогда на митинге хотел вместе с ними тоже гулять, но друг не разрешил... Там молодые были.

Я написал Тамаре Мосиной: “Я скоро поеду домой через Свердловск. Я привезу подарки тебе”. Тамара ждала меня на перроне. Было только три часа утра. Еще темно. Поезд останавливается, я выхожу из вагона. Никого нет. Потом вижу вдали — человек. Я закричал: “Мосина!” Сразу подбежала ко мне. “Володя!” Плакала. Я тоже плакал. “Ты стал такой солидный, я не узнаю тебя”. Я отдал ей подарки и сказал: “Тамара, я опоздал. Мама умерла, папа умер”. Я спросил: “Тамара, ты вышла замуж?” Она сказала: “Да. Муж нехороший. Весь день пьяный. Не работает. Мы уже разошлись”. Она мне рассказала, что теперь уже не Свердловск, а Екатеринбург. Я не запомнил тогда. Я сказал: “Тамара, когда будет возможность, приезжай к нам в гости”. — “Хорошо”. Я спросил ее: “Брат где?” Она сказала, что он сейчас работает где-то. После этого брат мне написал письмо.

А потом я несколько лет работал переводчиком в Москве, Владивостоке, Чите, Томске. Очень был занят. И потерял с ней связь.

Потом моя родная мама заболела, и я вернулся домой. Она вскоре умерла. Внук учился в средней школе, я ему помогал. Преподавал английский язык. И когда он поступил в американский университет и поехал в Америку, дочка попросила меня приехать в Гуанчжоу. Мне было неохота ехать. Этот город мне не нравится. Жарко. Пища невкусная. Дочка сердилась. “Мой сын — это тоже твой внук! Не хочешь за ним ухаживать! Помогать мне не хочешь!” Я сказал: “Хорошо, поеду. Но два условия — никто мне не будет мешать, если я захочу уехать, и мы будем жить отдельно, не с вами”. Она сказала: “Хорошо”. И сейчас я живу в соседнем с ней корпусе.

Я решил помочь профессору найти Тамару. Мой друг родом из Екатеринбурга. Его родственник служит в полиции. Он передал мне ад-

рес и телефон Мосиных. Сказал, что квартира записана на ее сына. В юности он был судим, сейчас работает на Уралмаше. А о самой Тамаре никаких сведений нет. Может быть, она уже умерла. Так что я звонил, слегка нервничая. К телефону подошла женщина.

— Я звоню из Китая, – сообщил я. – Скажите, пожалуйста, как найти Тамару Мосину?

— Это я, – ответила она.

От неожиданности я на секунду запнулся. Потом перевел дух и спросил:

— Вы помните китайца Володю?

— Конечно, помню, что с ним?

— С ним все в порядке. Он будет звонить вам.

— Я буду ждать, – ответила Тамара.

На следующий день я дал ее номер профессору.

— Наберите вы, – попросил он.

Я набрал номер и передал ему трубку.

— Тамара, – кричал в трубку профессор и плакал, – как брат? Как ты живешь? Я летом поеду в Россию! Мы отправляем студентов на стажировку. Может быть, в Свердловск! Так что тогда я приеду! Мы обязательно увидимся!

После разговора он долго не мог прийти в себя. Выходил в ванную сморкаться, снимал очки и вытирал слезы. Потом, наконец, успокоился. Снова стал улыбаться. Казался счастливым и умиротворенным. Мы продолжили наш разговор.

Я не думал, что снова буду работать в институте. Тем более преподавать русский язык. Но однажды увидел объявление в газете, что университет ищет преподавателя русского языка. Позвонил начальнику отдела кадров. Спросил: “Вам нужен преподаватель русского языка?” — “Да”. — “Но знаете, мне уже восемьдесят лет”. Он сказал: “Ничего, нашему ректору восемьдесят три года. Он старше вас”. Я закричал: “О, такой ректор, храбрый, умный, талантливый! Даже таких стариков хочет принимать на работу”. Мне было интересно, какой он человек. Я думал — посмотрим, что он из себя представляет. Через день мне позвонили. “Наш ректор хочет повидать вас и поговорить с вами”. Я сказал: “Ладно, я приду посмотреть на такого храброго ректора, который принимает стариков”. Когда мы увиделись, он спросил: “Какой институт окончил?” Я сказал: “Харбинский”. Он: “Я тоже — Харбинский”. Он: “Такого-то, такого-то знаешь?” Я: “Да, это мой друг”. И все. Я сказал: “Я приехал сюда только из интереса посмотреть на такого храброго ректора”. Он сказал: “Я старше тебя. Я — твой старший брат. Ты еще молодой, не старик, можешь работать не меньше трех-пяти лет”. Я ответил: “Ладно, попробую”. А

до поступления на работу в институт я преподавал у себя в районе школьникам английский язык. Бесплатно. Почти все потом поступили в институт. Хороший институт.

Я считаю, талант не может взрасти в богатых семьях. В богатых семьях все есть. Не надо стараться заниматься, работать. Может быть, я бы тогда у приемного папы хулиганом стал. А теперь я — профессор. Выпустил несколько тысяч студентов. Я считаю, богатство — это не счастье. Счастье для человека — не только деньги. Любовь и дружба тоже играют важную роль. Поэтому мне нравится “Анна Каренина”. Любовь важнее всего. У русских характер прямой. Русский человек — настоящий. Если любовь — так любить. Нет любви — так нет. Русские работают самоотверженно, как мой русский приемный отец. Он был старый рабочий. Литейщик чугуна. Однажды произошел такой случай. У нас был очень большой цех. Ящика для литья не хватило бы. Так что металл лили не в ящик, а в яму. Сверху положили огромный стальной лист, на него и лили. Много очень металла налили. Мосин думал — достаточно. Между краем листа и землей оказался зазор. В него сталь протекала на землю. В эти дни шел снег, дождь. Воздух холодный проникал. А температура литья — две тысячи градусов. Мосин еще не видел дыру, запах учуял. Мы отдыхали в кабинете. Он мне серьезно и тайно сказал: “Володя, будет опасность”. Я спросил: “Почему?” — “Сталь льют на землю. Может быть взрыв”. Я: “Надо сказать директору завода”. Он: “Уже сколько тонн стали налили. Если мы сейчас дадим приказ ‘стоп’, то получится, много денег выбросили на ветер”. Он опять в цех. Снова нюхал. Сразу в кабинет. Написал предложение тут же остановить литье, а то будет взрыв. Он только написал, я еще не успел перевести, тут — грохот. Взрыв! Он плакал: “Бог мой!” Он мне сказал: “Володя, иди в цех смотреть, что там”. Я сказал: “Вместе”. — “Не хочу. Может быть, много рабочих погибло”. Я пошел, но там в земле было ничего не видно. Везде пыль. А потом узнали — семь рабочих погибли, более двадцати ранено. Из-за этого он заболел, целую неделю лежал в больнице. Не пил, не ел, все время плакал. Он был настоящий русский человек.

А пять лет тому назад в Гуансийском университете был день русского языка. Меня пригласили приехать. Подарили цветы. Вот на этой фотографии я, это профессор русского языка, старше меня на два года, а это тот самый полукровка Андрей. А это заместитель ректора Гуансийского педагогического университета. Это он срывал с меня рубаху и бил меня. Почти че-

рез сорок лет я его не узнал. Старый. “Володя, извините”. Я улыбался: “Ничего, это уже прошлое”. И все.

Сейчас я живу хорошо. Небогато, небедно. Я сейчас опять преподаю русский язык, хотя мне 83 года. С детства до сих пор русский язык вместе со мной. Хотя я такой старый, продолжаю работать. Я часто говорю студентам: “Я преподаю вам русский язык. Это в память о моей бабушке. Русский язык — это ее язык. Я желаю вам хорошо работать, хорошо заниматься. Вы будете посредниками между народами России и Китая, чтобы эта дружба продолжалась дальше и дальше”.

Десять лет тому назад я написал письмо о том, где я и что со мной, родственнику, у которого была связь с Тайванем. Когда тайваньцам разрешили к нам приезжать, служащие моего приемного папы [генерала Лю Шана. — *И. Ф.*] приехали к нам домой. Когда они увидели маму, сразу встали на колени. Подарили золотые деньги. Тогда я узнал, что случилось с папой. Он уже умер. Сначала он жил в Индонезии, а потом приехал на Тайвань.

А мой родной папа умер от голода в 1961 году. Тогда он жил в одном городе провинции Хубэй, близко от Уханя, а я в Гуйлине. Он тогда копал уголь, а мама работала няней в детском саду. Его к тому времени уже из армии отправили домой. Он вначале работал в магазине, продавал поросят. Тогда было трудно их купить. Один человек дал ему сто юаней, чтобы он ему продавал. В отделе безопасности сказали “Это неправильно” и отправили его в тюрьму. Конечно, это произошло из-за того, что он был из Гоминьдана. А потом отправили копать руду, и он умер от голода. Тогда ему было 68 лет. А мама ему тоже не могла помогать, она работала просто няней.

После моей свадьбы мама жила вместе со мной. Мама помогала нашей семье все время. Вырастила моего сына и дочь. Когда она умерла, ей было 88 лет.

Вы спрашиваете, что случилось с моим младшим братом? Когда я учился в институте в Харбине, был таким бедным, что не мог даже купить марки. Стал худым, как бамбук. Когда окончил институт, у меня ничего не было. Только дырявая простыня и термос. На работу ходил в рваных брюках. Русские меня жалели и помогали.

За три месяца до окончания института я сказал: “Когда буду работать, помогу брату”. Но он умер. Тем летом было очень жарко. Его школа находилась на берегу реки. А старшая школа была в городе. Но он хотел дальше учиться в Советском Союзе. Но заболел. Три дня была высокая температура. А потом умер. Мама в это время работала няней у

одного учителя из этой школы. У него было четверо сыновей. Тяжело работала. Получала мало-мало денег.

Вот такая история одного китайского интеллигента. Я — обычный китайский профессор. Я — прямой человек. Я благодарен навек России и русскому народу. Никогда их не забуду. Если кто-то против русских — это мой враг. Если у русских какая-нибудь трудность, я самоотверженно помогу.

В этот раз мы заговорили о политике. Я вспомнил, что профессор называл Дэн Сяопина главным коррупционером. Спросил его почему.

Почему я говорю, что Дэн Сяопин отец коррупции? Он сказал: “Неважно, кошка черная или белая, главное, что она может поймать мышь, поэтому это хорошая кошка”. Еще он сказал: “Неважно, что такое коммунизм и что такое капитализм. Самое хорошее — это зарабатывать деньги”. Неважно эти деньги от капитализма или от социализма. Еще он сказал: “Тот, кто получает много денег, тот — передовой. Его надо принять в компартию”. Тогда у простых людей ничего не было — ни прав, ни власти. Они хотят денег, но откуда, каким образом их получить? Нельзя украсть, нельзя убить — тюрьма ждет тебя. Только у сыновей и дочерей Дэн Сяопина и его приближенных есть права. У них есть власть. У них есть возможность получить деньги. Тогда по плану разные материалы — сталь, чугун, железобетон — продавались дешево. Например, тонна стоила сто юаней. Кому-то по плану она выписывалась за сто юаней, а на рынке он уже продавал за тысячу. А у простых людей ничего не было. Так вместе сосуществовали плановая и рыночная экономика. Это первое. Второе. Тогда у нас не было телевизоров и холодильников. Мы не умели их производить. Только экспортировали из Америки и Японии. Если какая-нибудь компания хотела купить телевизоры в Японии, то она должна была получить квоту. Без этой квоты ничего не купишь. А если импортировать за границу наш лес, тоже нужно получать квоту. Без этих квот ничего не сделаешь — ни купишь за границей, ни продашь за границу. Кто может получить квоту? Дети Дэн Сяопина и его приближенных. А третье — продавать землю. Чтобы строить многоэтажки. У народа есть земля, но нет денег. Крестьяне продавали свою землю. Четвертое. Например, я — руководитель деревни. Я хочу стать руководителем города. Надо дать деньги их детям. Они получали деньги — и все, руководитель города превращался в руководителя провинции. И поэтому дети революционеров стали богатыми. Они послали свои деньги за границу, в Америку. И сами поехали в Америку. Теперь

многие богатые люди там живут. Богаче самих американцев. Держат деньги в швейцарских банках. Никогда не узнаешь, кто там что спрятал. Еще Дэн Сяопин сказал: “Из каждой семьи революционера только один человек может стать чиновником. Остальные должны открывать компании”. Старший сын Дэн Сяопина Дэн Пуфан организовал компанию, по классу равную министерству. Многие компании дали ему деньги. Он сразу разбогател. Он председатель Всекитайской ассоциации инвалидов. Налогов она не платит. Младший сын Дэн Сяопина Дэн Чжифан своровал много денег и сейчас убежал в Америку. Две его дочки тоже очень богатые. Самые дорогие пароходы на реке Янцзы принадлежат одной из них. Другая владеет крупнейшей компанией недвижимости “Poly”. Детям Дэн Сяопина можно получить деньги, и детям Цзян Цзэминя тоже можно. Цзян Цзэминь учился у Дэн Сяопина. Сейчас сын Цзян Цзэминя управляет связью всего Китая. Цзян Цзэминю можно. А Ли Пэн [бывший премьер-министр при Цзян Цзэмине. — *И. Ф.*], конечно, учится у них. Сейчас его сын и дочь руководят энергетикой Китая. А Ху Цзиньтао просто слушает Цзян Цзэминя. Его сын тоже руководит компанией. Еще Вэнь Цзябао [тоже бывший премьер-министр Китая. — *И. Ф.*]. Его сын и жена управляют производством ювелирных изделий. Вэнь Цзябао — известный артист, он обманывал всех. Мать Вэнь Цзябао уже слепая. Ей, наверное, 90 лет. Она руководит страховой компанией. Эти дети революционеров так делали. А дети руководителей провинций учатся у них. А дети руководителей городов — у них. И даже дети руководителей деревень. Поэтому я говорю, что Дэн Сяопин заложил этот фундамент. Это вся интеллигенция знает. А простые люди не знают.

Си Цзиньпин постепенно начал с этим бороться. Чжоу Юнкан [член Политбюро партии, приговорен к пожизненному заключению. — *И. Ф.*] — родственник Цзян Цзэминя. Люди вокруг Цзян Цзэминя начали падать. Один упал, второй упал...

Это первое, в чем виноват Дэн Сэопин. Второе — площадь Тяньаньмэнь. Туда ехали студенты со всей страны и там сидели. Выступили против плохих людей. Они были не против коммунистической партии, нет. Они были не против социализма, нет. Только против таких плохих людей. Было жаркое лето. Они сидели там, наверное, дней двадцать. Потом Дэн Сяопин приказал 38-й армии войти в город. Она стояла недалеко от Пекина. Но командующий армией отказался действовать. Он сказал: “Эти студенты — наш народ”. Тогда Дэн Сяо-

пин попросил своего родственника Ян Шанкуня. Ян Шанкунь попросил родного брата, который работал в провинции Шаньси. Большой армейский начальник. И он пришел со своими танками на Тяньаньмэнь. И расстрелял студентов. А потом Дэн Сяопин сказал: “Они – контрреволюционеры. Мы просто успокоили их”. Работа армии – охранять границу. У них нет права убивать народ. Дэн Сяопин поставил очень трудный вопрос перед руководителями коммунистической партии. Убиты контрреволюционеры или контрреволюционеры убили народ. Сейчас никто не может ответить на этот вопрос. Кто контрреволюционер? Кто? Эти студенты – они контрреволюционеры? Они воевали с вами? Они выступали против коммунистической партии? Они выступали против социализма? Нет, нет, совсем нет. Почему они контрреволюционеры? Значит, они – народ. Но убить народ могут только контрреволюционеры. Сейчас Си Цзиньпин против таких людей. Но он тоже не может ответить на этот вопрос. И поэтому молчит.

Я – интеллигент. Раньше я не обращал внимания на политику. Я боялся политики. Хотел только хорошо работать и писать книги. А сейчас каждый день я интересуюсь политикой, потому что сейчас политика хорошая. Си Цзиньпин хороший человек, хороший руководитель. У него такие же идеи, как у тех, кто тогда сидел на площади. Но ему трудно ответить на этот вопрос. Потому что если он скажет, что это было движение контрреволюционеров, и вы убили контрреволюционеров, то его спросят: “Вы считаете, что студенты – контрреволюционеры?” Они выступали против коммунистической партии? Нет. Они против социализма? Нет. У них было оружие? Нет. Они воевали с вами? Нет. Какие тогда они контрреволюционеры? Это значит, они – народ. Кто убивает народ? Только контрреволюционеры! Контрреволюционер – не только Дэн Сяопин, а коммунистическая партия.

Поэтому я против Дэн Сяопина, против Цзян Цзэминя, против Ху Цзиньтао. Си Цзиньпин хорошо начал. Он сказал: “Вначале я поймаю тигров, а потом уже маленьких мышей”. А самые большие тигры – сын и дочь Цзян Цзэминя, сын и дочь Дэн Сяопина, дети Ли Пэна, Вэнь Цзябао. Надо бить их. Они самые большие.

Я работал почти в десяти местах. Работал в Пекине, Харбине, Гуйлине, Чэнду, Ухане, Тайюане, Гуанчжоу. Почему? Потому что начальники коммунистической партии были почти безграмотные, крестьяне. Они любили тех, кто им прислуживал.

Им были не нужны талантливые люди. Я не хотел прислуживать. Если считал, что работа плохая, я сразу же увольнялся. А не меня увольняли. Считалось, что декан вначале должен был быть коммунистом, а потом преподавателем. Поэтому он ничего не знал. Мнение у него неправильное, приказы неправильные. А если преподаватель способный, ему нужно каждый день писать, читать, у него нет времени прислуживать декану. Я был против таких деканов. Ехал еще куда-нибудь. И хотя я уже старый, мне 83 года, я работаю самоотверженно, потому что хочу воспитать студентов, чтобы они стали мостом между Китаем и Россией. Я сейчас сам декан, но уважаю своих преподавателей, все время помогаю им, не как те, неправильные, начальники, которые все время критиковали меня. У меня хороший ректор, он действительно талантливый ректор. Я тоже учусь у него. Хотя я получаю маленькую зарплату, но ничего, у меня есть еще пенсия. Если заболею, бесплатно получу помощь. Я очень устал. Но русский язык спасал меня. И сейчас я снова работаю, как молодой.

P. S. На этот раз я пришел к профессору вдвоем с женой. При молодой девушке профессор раздухарился. Все время шутил, заливисто хохотал. Я спросил его, почему все-таки приемный отец забрал его к себе. Чем он ему так понравился? Почему приемный отец назвал умненьким двухлетнего малыша, который даже не умеет говорить? Профессор окончательно развеселился.

— Вы, – кричал он мне, грозя пальцем, – разгадали мой секрет! Только никому не рассказывайте!

И он заново поведал историю своего рождения и усыновления. Только теперь она приняла совсем другой оборот. Я не знаю, какой из вариантов правдивый. Но знает ли это сам профессор? Или его буйная фантазия так преображает реальность, что он сам не отличает правду от вымысла? На это ответа я никогда не узнаю.

Когда моя мама была молодая, она была студенткой. Вместе с другими соученицами она бросила университет и пошла в армию Гоминьдана в начале антияпонской войны. Тогда приемный папа был как раз их руководителем. И он заметил маму — такая стройная, красивая, воспитанная. И он пригласил ее к себе домой работать. Она работала начальницей всех служанок. А через некоторое время она оказалась в положении. Первая, вторая и третья жены сердились. И он отослал ее далеко, чтобы она вышла замуж. А через два года он специально поехал к нам, посмотрел на меня и привез к себе домой. “Это мой приемный сын”. Так я стал приемным сыном правой руки Чан Кайши генерала Лю Шана.

М*ой город*

Пришло время рассказать о моем городе. Гуанчжоу, он же Кантон.

Да, я по праву называю его своим — здесь я живу, работаю.

Здесь я женился.

Я познаю его по крупицам.

Но познал ли я его?

Вначале он предстал передо мной шумным торговым центром.

Думаю, таким он предстает и перед большинством моих соотечественников, ежегодно прибывающих на ярмарку “Canton Fair”.

Облик города менялся. Небоскребы и телебашня росли на моих глазах. Заха Хадид соорудила похожий на инопланетный корабль Большой театр. На башне и небоскребах зажглась ночная подсветка.

Стоило отойти чуть в сторону, я оказывался в трущобах. Узкие темные переулки, дома с противоположных сторон тянутся друг к другу, опираются друг на друга своими балконами. Машина бы не протиснулась сюда. Я жил в таких трущобах, когда первый раз приехал к моей будущей жене. Она была еще студенткой. Мы сняли квартиру в селе напротив ее университета. В кровати под циновкой обитали полчища маленьких тараканов. Пару раз в квартиру забегала крыса. Сидела на столе и смотрела мне в глаза. Единственной отрадой для меня было гулять по парку на горе Байюнь, у подножия которой расположен университет. Я уходил вглубь парка, подальше от людей, бродил дикими тропками среди куц молодого бамбука, скользил по склонам вдоль ручьев, придерживаясь за тонкие нити глициний.

Постепенно я узнал географию города. Он тянется вдоль Жемчужной реки. Вдоль реки идет и главная торговая магистраль — Чжуншаньдадао. На севере — горы Байюньшань, Маофэншань, Нютоушань, Хуолушань. На востоке — новый, современный центр города, район Тяньхэ, на западе старый. Районы Юесю, Ливань. Мой товарищ Шамиль, преподаватель русского языка из университета, в котором училась моя жена, говорит, что в Гуанчжоу нет старого города. Это не так. Его не нужно искать. Его нужно заметить. Да, дома безжалостно ломали. Но структура улиц много где сохранилась. Остались храмы. Традиционные сигуаньские дома вокруг озера Ливань. На входе в них трехслойные деревянные двери — вначале подобие четырехстворчатых калиток, затем выдвижная рама с поперечными тонкими брусками, а за ними

собственно двери из камфорного или красного дерева с медными молотками-кольцами. Остались торговые дома с аркадами, "цилоу", смесь китайской и западной архитектуры, возведенные в XIX – начале XX веков. Одна из улиц таких домов, Эньнинлу, идет от озера Ливань в сторону острова колониальной архитектуры Шамянь. Ее удалось отстоять от сноса в 2007 году, благодаря неожиданно развернувшейся в прессе шумихе. Редкий, почти невозможный здесь случай. Закинув ноги на спинки бамбуковых стульчиков, торговцы спокойно дремлют под сенью аркад. Но долго ли продлится это спокойствие? Ведь планы по сносу не отменили, а лишь отложили на время.

Я нахожу брошенные и полуразрушенные сигуаньские дома и брожу по ним. Весь в пыли, продираюсь сквозь сетку паутины. Разбуженные мной огромные косматые пауки удирают вдаль. На полу валяются остатки деревянных дверей, поломанной мебели. Разбитые фарфоровые чашки.

Постепенно я знакомлюсь со здешней, южной, линнаньской архитектурой. Изучаю резьбу по дереву и камню, крыши и барельефы семейных храмов. Каменные узоры из птиц, цветов и фруктов, настенную буддистскую живопись, пляшущих деревянных человечков-архатов. В центре города сохранилась академия клана Чэнь, превращенная в музей народных ремесел. Но вокруг небоскребы. Мне же интересен контекст. Я нахожу менее туристические места. Влившиеся в черту города деревни. Древний городок Шавань, ухожу от него вдаль по разбитым неотреставрированным улицам соседнего села. Деревня художников Сяочжоу, раскинувшаяся среди мутно-зеленых вонючих каналов. Со всех сторон Сяочжоу окружена фруктовыми садами. На лотках продавцов – крупные плоды папайи. Шумят пилы и молотки. Возводятся новые дома. Но среди них затесались дюжины храмов и древних усадеб. Я ищу дальше. На пустынном биоострове, посреди города, нахожу наполовину снесенную бульдозерами деревню. Уцелевшие храмы здесь превращены в ресторанные кухни. Квохчут куры, тявкают собаки на цепи. Утопая в зарослях по шею, продираюсь дальше. Еще один храм, испещренный западными граффити. За ним второй. Рядом груды камней. Медленно перешагиваю с камня на камень, рискуя поломать ноги.

Сколько еще осталось этим храмам? Из зарослей выныривает пожилой человек с палкой. Рассказывает о том, какие чиновники плохие. Продали деревню компании недвижимости. А компенсацию жителям выплатили мизерную. Тогда жители отказались переезжать. Их дома сносят бульдозерами. Он остался здесь жить, на семейных развалинах. Человек

ругает компартию почем зря. Я продираюсь дальше. В доме напротив на стене покосившаяся фотография старушки. На полу валяется фотография старика. Я поднимаю ее и вешаю рядом. Поправляю табличку с именами предков под столиком. Пододвигаю к ней горшок с благовонными палочками.

Что я ищу? Интересно ли самим китайцам их прошлое? Или только мне. Мои знакомые считают меня странным. Почему мне не сидится на месте? Где я все время брожу? Куда бегаю?

Но что является старым? Что несет в себе это понятие? Китайцы уверены, что их цивилизации пять тысяч лет. Может быть, поэтому они так легко расправляются со своим прошлым? Ведь дома всего в каких-то пару сотен лет не имеют для них никакой ценности. С другой стороны, храм, объявленный старым, часто не является таковым. Во время "культурной революции" от него решили избавиться и снесли, а потом построили заново. Могли снести и совсем недавно, из благих целей, просто в качестве реставрации, возведя затем точно такой же и повесив табличку — "старый". Здесь так водится. Чем старое отличается от нового?

В городе Кайпин, неподалеку от Гуанчжоу, сохранились боевые дома-башни "дяолоу", в массе своей сооруженные в лихие разбойничьи времена начала XX века. Это эклектика, смесь западного и китайского стилей, с удивительными беседками и греческими колоннами на крышах. Их строили вернувшиеся с заработков на Западе китайские эмигранты. Я ликовал, когда в одной из деревень случайно наткнулся на первый прообраз "дяолоу", возведенный якобы еще в период 1522—1566 годов. Сначала я увидел старые дома у пруда, но почувствовал, что не стоит на этом останавливаться. Я искал что-то более значительное. Углубился внутрь деревни. Один переулок, второй, и я уткнулся в четырехэтажную средневековую крепость, сложенную из массивных каменных глыб. Как посчастливилось уцелеть этому одинокому исполину? Ведь во всей округе никого из его собратьев не пощадило время.

Я знакомлюсь с южной, линнаньской живописью. Посещаю музей Гуанчжоу, музей искусств Гуанчжоу, музей искусств провинции Гуандун и другие музеи. Линнаньская школа искусств была основана тремя мастерами — братьями Гао Цзяньфу и Гао Цифэном и Чэнь Шужэнем. Видный представитель этой школы Чжао Шаоан любил рисовать тигров. Его тигры, как настоящие, смотрят на меня из кустов. Но в Южном Китае не осталось ни одного тигра. Их истребили по приказу Мао Цзэдуна, который объявил их вредителями и врагами народа. Теперь на них можно спокойно любоваться на полотнах Чжао Шаоана.

Именно в Гуанчжоу в живописи и архитектуре так причудливо смешались китайский и западный стили. С 1757 по 1842 годы Гуанчжоу был единственным морским портом, которому разрешалось торговать с Западом. Он первым в Китае впитывал в себя все европейское, новое и модное.

Я изучаю историю города. Мало кто знает, что Гуанчжоу был столицей трех китайских династий – Южная Юэ (203–111 до н. э.), Южная Хань (917–971 н. э.) и Южная Мин (1644–1662 н. э.). В начале XX века здесь зарождались революционные движения. Проходили съезды компартии и Гоминьдана. Провинцией Гуандун руководил генерал-анархист Чэнь Цзюнмин. Первый китайский президент Сунь Ятсен тоже родом отсюда. В октябре 1917 года здесь было сформировано его правительство. Здесь собрался парламент, разогнанный в Пекине генералом Юань Шикаем. Революционная власть находилась здесь вплоть до 1926 года, когда Чан Кайши начал отсюда свой Северный поход – с целью подчинить остальной Китай.

Ученые пишут, что Кантон был всегда источником свободы и вольномыслия. Где сейчас эта свобода? Свобода для меня – часть культуры. Не может не быть культурным город семидесяти университетов и институтов. Но я хорошо представляю затхлую университетскую атмосферу. Там слишком мало простора для свободы. Это вам не начало прошлого столетия, когда в недрах Пекинского университета зарождалось "движение за новую культуру". Ее лидерами были будущие основатели китайской компартии: декан университетского колледжа гуманитарных наук профессор Чэнь Дусю и профессор экономики и директор университетской библиотеки профессор Ли Дачжао. В движении участвовал помощник Ли Даджао по библиотеке двадцатипятилетний Мао Цзэдун. Тогда где же сейчас культура? Может быть, она прячется в книгах? Пусть в массе своей кантонцы не читают книг. Но в Гуанчжоу полно книжных магазинов. На улице Тяньхэлу – пятиэтажный "Гоушучжунсинь", типа нашего "Библио-Глобуса". Неподалеку, в торговом центре "Тайгухуэй", более модный и элегантный "Фансо".

Бэйцзинлу, Пекинская улица. Торговый центр старого города. Но если приглядеться, не только торговый. В соседнем переулке – театр Наньфан, где играют кантонскую оперу. На самой улице – магазин исторической книги, за ним – технической. Рядом магазин сети "Xinhua Books".

А дальше, кажется, то, что я искал. Независимый книжный магазин "Libreria Borges", названный так в честь писателя Борхеса. Здесь проходят выставки и литературные выступления. На полках стоят переведенные на китайский книги Луи Альтюссера, Ролана Барта, Умберто Эко, Мишеля Фуко, Франца Каф-

ки, Алена Роб-Грийе, Сэмюэла Беккета, Роберта Музиля, Сьюзен Сонтаг, Жака Деррида, Эдмунда Гуссерля, Владимира Набокова, Марселя Пруста, Жиля Делеза, Федора Достоевского, Джеймса Джойса, Эдгара По и Льва Троцкого. Основатель магазина, художник Чэнь, говорит, что его магазин фокусируется на тексте как искусстве. Работу магазина он воспринимает как само искусство. "Мы используем литературные методы, чтобы делать искусство, и художественные методы, чтобы делать литературу". Я жадно вчитываюсь в его слова, ища в них откровения. Они кажутся мне созвучными высказыванию средневекового поэта Су Дунпо о его предшественнике поэте и художнике Ван Вэе: "В его стихах — картины, в его живописи — поэзия".

"Libreria Borges" — не только магазин, но и издательство. Сегодня здесь проходит встреча с французским писателем Бенуа Питерсом. Издательство, специализирующееся в основном на французской философии и литературе, выпустило книгу его интервью с Аленом Роб-Грийе.

Я пододвигаю пластиковый стул и сажусь в заднем ряду. Не то чтобы я большой поклонник современной французской философии и литературы. Зачастую знакомство с ней, пусть весьма поверхностное, считается правилом хорошего тона. Это дань моде. У каждого уважающего себя современного художника и интеллектуала на полочке обязательно присутствует том Делеза или Лакана. Не мода ли движет слушателями? Ведь китайцы так любят копировать все западное. От стиля до целых городов. Или это искренние искатели смысла? Что иное, как не французская литература и философия несут в себе заряд вольнодумства? Знакомство с ними способно пробудить сонное сознание. Но, с другой стороны, какое мне вообще дело? Ведь так важен контраст. Понять меня может тот, кто каждый день сталкивается в метро и на улице с попавшими в город толпами деревенских жителей. Несуразно одетыми, плюющимися на асфальт и швыряющими мусор себе под ноги. Я быстро устаю от шума. И с детства боюсь толп. Так разве это не то, что я хотел найти? Тихий островок культуры посреди шумных торговых площадей?

Т*еща*

Зачем люди читают книги?

Раньше я никогда не задавался этим вопросом.

Пока не произошел мой спор с тещей.

Но тут нужна предыстория.

Летом я ездил в Казань на книжный фестиваль.

Делал там доклад о жизни в современном Китае.

Как всегда поносил и высмеивал современных китайцев.

Нелицеприятно отзывался об их интеллектуальных способностях.

Хвастался своими.

Рассказал, например, о том, как у нас в университетском банкомате сломался экран.

И мне нужно было вслепую извлечь свою карточку.

Я догадался нажать клавишу “отмена”.

А стоявшая рядом студентка не догадалась.

Чуть не плача, обратилась ко мне за помощью.

Я ее выручил, достал карточку.

Но потом у банкомата столпилась целая очередь студентов.

Никто не мог сообразить, что делать.

Или вспомнил, как у нас на острове перекрыли дорогу из-за ремонта.

Натянули цепь.

Поставили фонарь.

Посадили полицейский пост.

Повесили табличку с иероглифом и указатель объезда.

Я, иностранец, ехал на скутере.

Увидел цепь, прочитал иероглиф, посмотрел на стрелку и спокойно повернул направо.

А рядом со мной ехали на мотоцикле два китайца.

И так и продолжили ехать прямо.

Врезались в цепь.

Их мотоцикл отбросило назад.

Они приземлились на задницы на асфальт.

И остались сидеть на дороге с открытыми от удивления ртами.

Я рассказывал и наблюдал за реакцией зала.

Все улыбались моим историям.

В первом ряду зала сидел один явный китаец.

Больше всех почему-то радовался моим выпадам в адрес китайского народа.

Громче всех смеялся и хлопал в ладоши.

Подошел ко мне после лекции.

Он оказался очень маленьким.

Ростом доходил мне едва до груди.

Представился.

Выяснилось, что он не китаец, а японец.

Все сразу стало на свои места.

Японец — его звали Акира — поведал, что живет в Казани. Фотограф. Работает на одного американского еврея. Тот — из-

вестный журналист, печатается чуть ли не в "Нью-Йорк таймс" и является лауреатом престижных премий. Выдает себя за специалиста по Японии. Пишет аналитические статьи о связях корпораций и японской мафии якудза. За эту информацию потенциальные инвесторы в японскую экономику платят ему много денег. Ведь они не хотят нести риски и иметь дела с мафией. Поэтому не становятся инвесторами. Но на самом деле статьи строчит за него мой японец. А американец должен отщеплять ему тысячу долларов в месяц. Но придерживает выплаты. Уже задолжал двадцать тысяч. Японец, в принципе, не возражает против этой ситуации. Писал бы под своим именем — убили. А так все-таки есть работа. Главный его информатор — последний якудза. У него на руке не хватает нескольких пальцев. Ему их отрезали за проколы в работе.

Японец говорил и говорил. Он был явно пьян. От него разило крепким алкоголем. Я немного скучал. Тут он сказал, что является поклонником творчества моей художественной группы. Оно такое анархическое. В его духе.

Я сразу приободрился. Стал внимательнее слушать.

Японец рассказал, что у него черный пояс по дзюдо. Еще он занял второе место на чемпионате страны по самбо. Правда, самбо в Японии занимаются всего шесть человек.

В итоге он сообщил, что хочет быть моим самураем. Охранять меня в Казани, Москве и Китае.

Я сказал, что пока что собираюсь в Йошкар-Олу. Посмотреть родину предков. Готов его взять на испытание.

Испытание японец выдержал с честью. В Йошкар-Оле я остался жив-здоров. Правда, он перепутал обратные автобусы. Мы приехали не на тот вокзал. В результате, нужный автобус уехал без нас. А следующий был только через час. Я рисковал опоздать на свой московский поезд. Пришлось ехать в город Волжск. Оттуда в Казань понеслись на такси.

Но в целом я остался доволен поездкой. Осмотрел новый центр города — президент республики выстроил целый квартал в стиле Брюгге с набережной, украшенной памятниками Грейс Келли с супругом и Лоренцо Медичи. (Инициалы имени президента совпадают с инициалами Лоренцо Медичи — Л. М., но вот при чем здесь Грейс и Ренье осталось загадкой.) Посреди разноцветных европейских домиков возвышается Кремль в древнерусском стиле. Вокруг множество православных храмов — президент опасается, что многочисленные марийские шаманы нашлют на него порчу и, чтобы ослабить их силу, повсюду возводит церкви.

Нашел дом своего прадеда — в пятнадцати минутах ходьбы от чистого центра, посреди бездорожья, ухабов и слякоти.

В общем, я пригласил японца к себе в Москву.

А потом в Китай. Пообещал сделать выставку его фотографий у нас в университете. И он приехал.

В тот же день к нам заселилась теща.

Я надеялся, что выставка японского фотографа станет моим счастливым билетом.

Дело в том, что в прошлом семестре я делал выставку русского фотографа.

Тот оказался чудовищным пьяницей. Каждый вечер валялся у нас в квартире на полу. Не мог доползти до кровати.

Моя жена на него орала:

— Степан, иди мыться! Степан, меняй трусы!

Он терпел целый месяц.

А перед отъездом надулся:

— Кто она такая? Молокососка! Мне уже пятьдесят лет, а она: “Степан, иди мыться. Степан, меняй трусы!”

Потом у нас в Гуанчжоу проходил международный поэтический фестиваль. Я обнаружил там в списке участников одного русского поэта. Он оказался моим приятелем. Пригласил его с выступлением к нам в университет. Он приехал в 10 утра. Пьяный в стельку. Я приготовил целый перформанс. Его стихи переведены на китайский. Так что он должен был читать по очереди со студентами. Одно стихотворение он по-русски, другое — студент по-китайски. Студенты должны были меняться через каждый стих. Чтобы им было не скучно сидеть и слушать. И они читали. Но поэт не смог. Забыл свои строчки. А потом и вовсе упал со сцены.

Так что меня вызвали к ректору. Сказали, хватит уже русских гостей. Я долго извинялся. Пообещал, что зато японец будет нормальный.

В первый же день поездки Акира отведал сладкого китайского бальзама. Так развеселился, что стал играть пластиковыми парковочными столбиками в футбол. На территории кампуса. Они залетали в окна домов. Потом у него с ноги слетел ботинок. В окне нашего профессора разбилось стекло.

Меня снова вызвали к ректору.

А к нам приехала теща.

Жена решила поправить свое здоровье.

Поправить здоровье по-китайски — это значит подкормиться.

И теща приехала ее кормить.

Поселилась у нас в квартире.

Я спросил:

— Где будет жить Акира?

Жена сходила к ректору.

Выбила Акире отдельную квартиру на нашем же этаже.

И это стало началом моего падения.

В своей квартире я больше не мог находиться.

Посреди гостиной теперь неизменной каменной пагодой возвышалась теща.

С утра до вечера громко по-китайски ревел телевизор.

Я изредка заходил.

За стаканчиком. Или за штопором. Теща принюхивалась и комментировала:

— Они пили алкоголь!

Тогда мы сменили тактику. Уходили в город гулять.

Когда я появлялся вечером, теща говорила:

— Бесцельно шляется! А уедет в Москву, будет там два месяца шляться!

Потом Акира улетел в Алма-Аты. До моего отъезда в Москву на зимние каникулы оставалось еще три дня.

Теперь я сидел дома. Телевизор по-прежнему орал на всю квартиру.

Наконец, я не выдержал:

— Тетя, не пойти ли вам погулять?

— Вот еще, зачем это?

— Для здоровья полезно.

— А может, я хочу поскорее сдохнуть!

— Тетя, а когда у нас родится малыш, кто же будет за ним приглядывать?

— Пусть твой отец приглядывает!

— Но он же старый!

— Вот узнайте, сколько стоит няня, мне предложите, тогда, может, и соглашусь приглядывать!

Я временно отступил. Чтобы сделать новый заход. Сказал уже прямо:

— Сколько можно смотреть телевизор?

— А ты что делаешь?

— Книжки читаю.

— А книжки читать — можно зарабатывать?

Я не сразу же нашелся. Огрызнулся:

— А телевизор смотреть — можно зарабатывать?

— Я уже свое заработала! Теперь на пенсии, что хочу, то и делаю!

Тогда я все-таки напряг мозг. Сказал:

— Книжки читать — можно зарабатывать! Если много читаешь, то у тебя много знаний. А чем больше знаний, тем больше и заработаешь.

— А ты почему так мало зарабатываешь?

Сраженный железной логикой, я молчал. Теща не унималась:

— Вот у нас повар в ресторане напротив в три раза больше тебя зарабатывает! А ни одной книжки не читал!

Перед моим отъездом мы втроем пошли в кафе. С целью примирения. Заказали блюда. Пока их готовили, я начал изучать иероглифы в меню. Многие были мне не знакомы. “Хорошо бы все знать”, — подумал я. Чтобы почаще ходить в кафе одному.

Дело в том, что я самоучка. Лучше говорю, чем читаю. Поэтому могу попасть впросак.

Решил спросить у жены значения некоторых иероглифов.

Теща вновь принялась орать:

— Отстань от моей дочки! Пусть тебя студенты учат! Ты их русскому, а они тебя китайскому!

Нервы, наконец, сдали. Я ушел, хлопнув дверью.

Тяга к знаниям до добра не доводит.

Скоро я улечу из Китая. Не знаю, вернусь ли вновь.

Умберто Эко писал, что, читая о чужих жизнях, ты проживаешь их вместе с героями. Живешь множеством жизней. Тем самым продлеваешь свою.

Но вряд ли этот ответ устроил бы тещу.

Александр Ливергант
Вирджиния Вулф. Моменты бытия

Фрагменты биографии

...что может быть занятнее, чем биография писателя?

В. Вулф *Я – Кристина Россетти*

Что поделаешь, читая биографию, мы всё видим в несколько ином свете.

Там же.

Глава первая. Гайд-парк-гейт, 22: Радости

Когда в 1875 году сорокатрехлетний радикал, атеист, вольнодумец, издатель и автор первого издания многотомного “Словаря национальной биографии” сэр Лесли Стивен потерял умершую в расцвете лет жену, – он посчитал, что жизнь кончилась. Она же только начиналась: накануне смерти жены, младшей дочери Теккерея, Харриет Мэриан, женщины не слишком красивой, не слишком умной и не слишком заметной, в доме Стивенов впервые появилась близкая подруга Харриет, сама, несмотря на юный возраст, вдова с тремя детьми, миссис Герберт Дакуорт, урожденная Джулия Джексон. Очень скоро Джулия сблизилась с домочадцами покойной Харриет, в особенности же с главой семьи, и спустя два с половиной года, в марте 1878-го, вышла за Лесли Стивена замуж: ученый муж воспылал к своей утешительнице и советчице мгновенной и нешуточной любовью. Поначалу был – больше для приличия – отвергнут безутешной вдовой, говорившей, что после смерти мужа “вся жизнь казалась кораблекрушением”, однако продолжал осаду и своего добился. И тем самым убил, так сказать, двух зайцев. Не только обрел верную и заботливую жену, с которой прожил в мире и согласии без малого двадцать лет, но и избавился от весьма обре-

© Александр Ливергант, 2017

менительной опеки своей золовки Энни, сестры покойной жены, взбалмошной, сверхчувствительной болтушки, одолевавшей сэра Лесли чтением вслух своих бездарных романов, таких же многословных, как и она сама.

За последующие пять лет Джулия родила сэру Лесли четверых детей, двух мальчиков — Тобиаса и Адриана, и двух девочек — Ванессу, самую старшую из четверых, и Вирджинию. Детей, впрочем, на попечении у сэра Лесли и Джулии в общей сложности было вдвое больше. Помимо Ванессы, Тобиаса, Вирджинии и Адриана, в доме на Гайд-парк-гейт, 22 росли еще трое детей Джулии от первого брака. Два сына, Джордж и Джералд, и дочь Стелла — своим именем Ванесса обязана ей[1]. Была еще и Лаура, дочь сэра Лесли, и тоже от первого брака, — девушка, как и ее бабка, жена Теккерея, психически неполноценная. Жить Лауре предстояло не с единокровными братьями и сестрами в лондонском доме Стивенов, а в психиатрической клинике, куда ее поместили еще в младенчестве.

У известного елизаветинского драматурга Бена Джонсона есть пьеса "Всяк в своем нраве" — вот и в детской, на последнем этаже дома на Гайд-парк-гейт, каждый из детей тоже был "в своем нраве". Ванесса взяла на себя, как старшей дочери и положено, роль эдакой матроны, доброй, но строгой нянюшки. Тоби, крепкий, веселый, шумный, общительный — весь в своего дядю Джеймса Фитцджеймса Стивена — был всеобщим любимцем, строгая и принципиальная Ванесса все брату прощала и опекала его больше и заботливее остальных. Младшие же дети были антиподами. Адриан, любимчик матери, — тихий, незаметный, какой-то забитый, точь-в-точь как отец в его возрасте. Розовощекая, зеленоглазая Вирджиния — напротив, говорлива, требовательна, вспыльчива; Ванесса вспоминала, что, когда младшая сестра была чем-то недовольна, ее личико становилось "очаровательно огнедышащим" ("the most lovely flaming red"). Невозможно было предвидеть, что "козочка", как в течение многих лет домашние называли Вирджинию, вытворит в следующий момент, как себя поведет, что учинит. Будет ли распевать песни, или куда-то убежит, или, в ожидании молока с печеньем, станет яростно колотить кулачками по столу. Или начнет задавать братьям и сестрам совершенно неожиданные и "неполиткорректные" вопросы, вроде: "Кого ты больше любишь, папу или маму?" Столь же трудно было предвидеть, что с возрастом "огнедышащая" круглолицая светловолосая девочка превратится в высокую, худую темноволосую,

1. Стелла Джонсон и Ванесса (Эстер) Ваномри — подруги и корреспондентки Джонатана Свифта.

задумчивую, погруженную в себя, словно вылепленную из мрамора красавицу, какой мы привыкли видеть Вирджинию Вулф на портретах и фотографиях.

Учили детей дома, сначала — гувернантки, швейцарка и француженка, потом — сами родители; сэр Лесли обучал детей математике и рисованию, Джулия — латыни, истории и французскому. Сам сэр Лесли рисовал отменно, да и Джулия неплохо знала латынь и бойко говорила по-французски. А вот педагогическими способностями ни тот ни другой похвалиться не могли. Обоим не хватало терпения и настойчивости, сэр Лесли легко выходил из себя и больше всего любил не учить детей, а читать им вслух — в особенности, подобно мистеру Хилбери из раннего романа Вирджинии "День и ночь", своего любимого Вальтера Скотта. Учили сестер также танцам, музыке, живописи и пению — наукам, без которых устроиться в жизни, то бишь удачно выйти замуж, невозможно. Ванессе, у которой рано определились недюжинные способности к живописи, с учителем, мистером Эбенезером Куком, повезло. Вирджинии же повезло меньше: учительница пения оказалась надутой религиозной ханжой вроде мисс Килман из "Миссис Дэллоуэй", и Вирджиния поступила с ней по-свойски: на невинный вопрос мисс Миллз, что такое Рождество, семилетняя девочка, давясь от смеха, заявила, что на Рождество празднуют распятие Христа...

В доме сэра Лесли ежедневно, как по нотам, разыгрывалась викторианская комедия нравов, которую Вирджиния много позже назовет "школой викторианских гостиных и чайных церемоний". Воскресным утром всей семьей чистили столовое серебро. В будни, в первую половину дня, у младшего поколения Стивенов жизнь была несхожая, как теперь говорят, "по интересам". "Мы были освобождены от гнета викторианского общества", — напишет Вирджиния в "Зарисовке прошлого"[1], несколько свою свободу от викторианского общества преувеличив. Джордж, Джералд, Тоби и Адриан, как и полагалось подросткам их социального положения, учились в закрытых частных школах, в Итоне (Джордж), в Клифтон-колледже (Тоби), в Вестминстере (Адриан), и большую часть времени дома отсутствовали. Старшая из сестер, Ванесса, натянув синюю художническую блузу, отправлялась на красном автобусе или на велосипеде в художественную школу мистера Коупа, где готовилась поступать в Академию художеств. Или же рисовала с натуры под присмотром мэтров живописи Принсепа, Улесса либо даже самого Сарджен-

1. Очерк "Зарисовка прошлого" здесь и далее цитируется в переводе Н. И. Рейнгольд. В кн.: Вирджиния Вулф. День и ночь. — М.: Ладомир: Наука, 2014. — С. 389–412.

та. А по возвращении обрабатывала карандашные рисунки фиксатором. Вирджиния же читала "Республику" Платона, или разбирала партию греческого хора, или учила языки, а в перерывах между штудиями прогуливалась в Кенсингтонском саду под звон колоколов церкви Святой Маргариты.

Но с приходом вечера жизнь начиналась общая — строго регламентированная, светская, публичная. В половине восьмого следовало тщательно причесаться перед чиппендейловским зеркалом, а ровно в восемь — появиться в гостиной в вечернем платье с открытыми плечами и шеей — чисто вымытой. Одеваться следовало со вкусом, но скромно — не дай бог "перенарядиться". Светское общение сыновей и дочерей сэра Лесли состояло в основном в том, чтобы подавать гостям булочки на тарелках и спрашивать, что гости желают к чаю — сливки или сахар, или и то и другое. А также, что было куда сложней (Вирджинии, во всяком случае), — улыбаться и помалкивать; вести светскую беседу, тем более высказывать *свое* мнение, категорически запрещалось. Вирджиния не раз это правило нарушала; однажды, к всеобщему ужасу, небрежным тоном поинтересовалась у сановной леди Карнаврон, читала ли та Платона.

Руководил светским воспитанием братьев и сестер сводный братец Джордж. Comme il faut с детства, он заботился о реноме семьи ("как бы чего не сказали люди") и умело сочетал строгость, даже въедливость наставника хороших манер с не по-родственному пылким увлечением красотками Ванессой и Вирджинией, которым делал подарки, водил с собой на вечеринки, развлекал и баловал и с которыми в качестве компенсации не раз позволял себе распускать руки. Обучаться у двадцатисемилетнего красавца-брата "науке страсти нежной" сестры, однако, упорно отказывались.

С возрастом юных Стивенов ожидали чаепития, приемы и пикники, а также посещения Национальной галереи, выезды в театр и в оперу вместе с Джорджем; домашний arbiter elegantiae перед выходом из дома с пристрастием осматривал туалеты сводных братьев и сестер. А перед вагнеровским "Кольцом Нибелунгов" предстоял обед в "Савое", тот самый, про который Джордж твердил, что там будут "нужные люди":

Запомнились слепящие огни, кураж и холод; я поднимаюсь по лестнице, свет бьет в глаза; мираж; восторг; паралич, — *вспоминала Вирджиния.*

И еще одно, куда более ответственное, испытание — сезон балов. Длинные атласные вечерние платья, белые перчатки, белые бальные туфли, на шее нитка жемчуга или аметистовое колье, под ногами на крыльце у входа в особняк, куда они при-

глашены танцевать, расстелен огромный красный ковер, а на верхней ступеньке, согласно незыблемым правилам викторианского этикета, встречает гостей хозяйка дома. Бал никак нельзя было считать развлечением, то был экзамен на зрелость, от выступления на балу зависела твоя женская судьба: ждет тебя в жизни успех или нет. Танцевать же Ванесса, тем более Вирджиния, так и не научились, уроки танцев в прок не пошли. И искусством обхождения и светской беседы, несмотря на все старания Джорджа, не овладели тоже. А потому сестры стояли в стороне, бессловесные и пунцовые от напряжения, и с нетерпением ждали, когда же кончится эта пытка и можно будет, наконец, поехать домой. И сесть за дневник:

Мы часто говорим друг другу, что мы — неудачницы. В самом деле, мы не в состоянии блистать в обществе. Как этого добиться, я не знаю. Мы никого не интересуем, забьемся в угол и сидим, точно немые в ожидании похорон. А впрочем, в этой жизни есть вещи и поважнее...

"Вещью поважнее" был дом сэра Лесли. Дом, казавшийся тесным из-за хаотичного семейного быта — "гротескного и комичного" (напишет в 1921 году в очерке "Старый Блумсбери" Вирджиния Вулф[1]). Из-за "всей той взбудораженной, накаленной атмосферы, которую создавала вокруг себя взъерошенная, любопытствующая молодежь". И не только молодежь.

В моей семье, — *говорится в дневнике Вирджинии (12 января 1915 года)*, — любая, самая ничтожная перемена в жизни вызывала всеобщую тревогу, влекла за собой бесконечные споры, обсуждения... Дом был заполнен горячими эмоциями молодежи, бунтовавшей, впадавшей в отчаяние, переживавшей головокружительное счастье и невероятную скуку на приемах знаменитостей и разных зануд...

Заполнен эмоциями, людьми и книгами. И людьми известными: гостями Стивенов были коллеги и друзья сэра Лесли — видные историки, издатели, философы, литераторы. Являлись "в силе и славе своей" крупные политики, юристы, живые классики викторианской литературы и живописи: Роберт Луис Стивенсон, Томас Гарди, властитель "искусствоведческих дум", автор пятитомника "Современные художники" Джон Рёскин. Прозаик, автор нашумевшего "Эгоиста" Джордж Мередит, запомнившийся Вирджинии своим раскатистым голосом и тем, как залихватски кидает он в чай кружочки лимона. Поэт и литературный критик Джон Эддингтон Саймондс, с нервным белым

1. Очерк "Старый Блумсбери" здесь и далее цитируется в переводе Н. И. Рейнгольд. В кн.: Вирджиния Вулф. День и ночь. — М.: Ладомир: Наука, 2014. — С. 412–423.

лицом и галстуком в виде шнурка с двумя желтыми плюшевыми шариками. Художники Эдвард Колли Бёрн-Джонс и Джордж Фредерик Уоттс, с аппетитом поедавший взбитые сливки. Бывали в доме и американцы: уже прославившийся прозаик Генри Джеймс, променявший Новую Англию на старую. Вирджинии запомнилась его манера говорить: "качающаяся, уточняющая, жужжащая, мурлыкающая". А также поэт-романтик, близкий друг слывшего американофилом сэра Лесли и крестный отец Вирджинии Джеймс Рассел Лоуэлл, у него, вспоминала Вирджиния, был длинный вязаный кошелек с вшитыми колечками, через которые проходил шестипенсовик. Между крестным отцом и крестной дочерью установились теплые, дружеские отношения. Первый образец обширного эпистолярного наследия будущей писательницы адресован ему:

мой дорогой крестный отец, — *пишет Лоуэллу шестилетняя Вирджиния,* — побывал ли ты в Адирондакских горах видел ли диких зверей и птиц в гнездах ты плохой что не пришел сегодня до свидания любящая тебя вирджиния.

Перебывал на Гайд-парк-гейт и целый сонм родственников Джулии; у ее матери было шесть сестер, урожденных Пэттл, из высшего лондонского общества середины викторианского века со связями в артистических и литературных кругах. Одна из теток Джулии, Джулия Маргарет Кэмерон, уже в преклонном возрасте стала известным фотографом, родоначальницей этого ныне почтенного художественного ремесла. Получив в подарок фотоаппарат или камеру, как ее тогда называли, она фотографировала — прямо как сегодняшние туристы — все и всех подряд. От слуг, которых с этой целью заставляла наряжаться в средневековые кафтаны и доспехи, до Теннисона и Гладстона, которых ставила под живописно раскидистое дерево, и — гласит семейная легенда — однажды, напрочь про них забыв, заставила великих людей не один час терпеливо дожидаться спасительной вспышки. Спустя много лет Вирджиния, уже известная писательница, напишет о тетке Кэмерон пьесу (свою единственную) "Фрешуотер", где роль Джулии Маргарет, долгое время жившей на острове Уайт, сыграет в домашнем спектакле Ванесса, а ее супруга — муж Вирджинии Леонард Вулф. Другая тетка, Сара, впоследствии миссис Тоби Принсеп, владела некогда знаменитым особняком в Кенсингтоне Литтл-Холланд-хаус, где не раз бывали сливки викторианского общества: политики Гладстон и Дизраэли, писатели Теннисон и Теккерей, художники-прерафаэлиты; Уоттс и Бёрн-Джонс часто и охотно Джулию писали.

И было что писать: будущая жена сэра Лесли была самой хорошенькой — и любимой — из трех дочерей Марии, четвертой из сестер Пэттл, бабки Вирджинии. Замуж Мария, по усто-

явшейся семейной традиции, вышла за англоиндийца, процветающего врача из Калькутты Джексона. У своего заокеанского супруга миссис Джексон переняла любовь к медицине и к своему шаткому здоровью, состоянием коего не уставала делиться с Джулией, чей ангелоподобный лик писали Холман Хант и Бёрн-Джонс, не раз запечатлевала на своих дагеротипах тетка Джулия Маргарет и воспевал после смерти Джулии безутешный сэр Лесли Стивен, говоривший про жену, что она так хороша, что сама этого не осознает.

Что же до необъятной библиотеки сэра Лесли, собрания книг по решительно всем областям знания, от античных комедиографов до современных политических трактатов, то она была "отдана на откуп" Ванессе и Вирджинии, Вирджинии в первую очередь. Сестры, как водилось в викторианские времена, образование получали, в отличие от братьев, родных и сводных, домашнее, Вирджиния, которая всю жизнь считала себя "недоученной", называла его "ненастоящее"; Оксфорд и Кембридж были для сестер Стивен закрыты.

Вирджиния, таким образом, обучала себя сама, росла среди нескончаемых разговоров о литературе, живописи, музыке. И, пока старшая сестра под присмотром кузена покойной Джулии Вэла Принсепа рисовала с натуры, — неустанно читала все подряд. "Как и многие неученые англичанки, я люблю читать все подряд", — напишет она спустя много лет в суфражистском эссе "Своя комната"[1]. Были у нее, однако, и свои фавориты: любила романы Вальтера Скотта и Джейн Остин (со временем напишет, и не раз, об обоих), дневники романистки и мемуаристки XVIII века Фанни Бёрни, эссе Сэмюэля Джонсона, у которого многому научилась. Увлекалась Диккенсом ("Лавка древностей", "История о двух городах"), "Воспоминаниями" и "Французской революцией" Карлейля, а также совсем не детским автором, английским философом Джоном Стюартом Миллем, который, как видно, привлек будущую феминистку своим трактатом "Подчинение женщин".

Феминистская тема всегда интересовала автора "Своей комнаты": говоря о "недетском" чтении девочки-подростка, нельзя не назвать и трехтомник "Три поколения английских женщин"; проштудировав его, пятнадцатилетняя Вирджиния так вдохновилась этой темой, что взялась за перо сама: попробовала написать "Историю женщин". "Историю женщин" не написала, но неутешительный и вполне оправданный вывод сделала: женщина в викторианском обществе — человек второго сорта, ей все запрещается и ничего не разрешается: учиться в колледже нель-

1. Эссе "Своя комната" здесь и далее цитируется в переводе Н. И. Рейнгольд.

зя, выражать свои чувства нельзя, говорить на "заповедные темы" (коих большинство) тоже нельзя. Так считал сэр Лесли, так считал образцовый викторианец Джордж, так считал покладистый, льнущий к авторитетам и не слишком задумывающийся о жизни старший брат Тоби, игравший в семье Стивенов роль эдакого Николая Ростова, не слишком далекого, простодушного и всеми любимого.

С помощью авторитетного, и по сей день не устаревшего, словаря древнегреческого языка Лидделла и Скотта штудировала древних: трагедии Эсхила и Еврипида, "Республику" Платона. И раз в две недели брала частные уроки латыни и греческого. Древним языкам жадную до знаний, способную, красивую, развитую не по годам девочку учила ставшая в дальнейшем ее близкой подругой Джанет Кейс, а до нее – Клара Пейтер, сестра знаменитого эстета Уолтера Пейтера, автора "Исследований по истории Ренессанса" и "Марио Эпикурейца".

Имелось и хобби (чем только юные девицы Стивены не занимались!) – переплетное дело; им Вирджиния одно время очень увлекалась, словно знала наперед, что оно ей в жизни пригодится. А еще – это в девять-то лет! – Вирджиния вела дневник, который назвала "Вдохновенная ученица" ("A Passionate Apprentice"), а также в течение нескольких лет выпускала на пару со старшим братом еженедельную домашнюю газету "Новости Гайд-парк-гейт", для которой придумывала забавные рубрики вроде "Простолюдин обрабатывает землю" или "Опыты отца семейства". Теперь, когда читаешь эту газету, писавшуюся совсем еще девочкой, многие ее тексты воспринимаются своеобразной пробой пера, на удивление искусной стилизацией под журналистские опусы или расхожие, чувствительные романы; в ее возрасте девочки любят играть в переодевания – Вирджиния "переодевалась" в журналистов и романистов. Вот, например, как она – напыщенно, велеречиво, в духе душещипательного романа – описывает свое возвращение домой к брату после прогулки:

Как же сладостно было вновь узреть его! Сидит, опустив голову, а глаза сверкают от радости! Сколь же выразительны наши глаза!

Вот описание того, как младшие Стивены отпустили нагадившую на ковер бродячую собаку:

И мальчик спустил ее с поводка на все четыре стороны. И она исчезла, словно капля воды, пустившаяся на поиски такой же, как она, капли в безбрежном океане. И больше о ней, об этой дворняжке, ничего и никогда слышно не было.

А вот пародия на светскую хронику:

Мисс Милисент Воган [кузина Вирджинии. — *А. Л.*] удостоила семью Стивенов своим присутствием. Как и полагается примерной родственнице, мисс Воган только что побывала в Канаде, где гостила у своей уже давно проживающей там сестры. Мы очень надеемся, что она, столь озадаченная матримониальными планами, сумела подавить в себе приступ зависти, находясь в доме сестры, столь удачно вышедшей замуж. Но мы отвлеклись от нашей темы, как это не раз случается со старыми людьми. Мисс Воган прибыла к нам в понедельник и в доме 22 по Гайд-парк-гейт находится по сей день.

И еще одна — на любовный роман в письмах:

"Вы обманули меня самым бессовестным образом", — пишет мистер Джон Харли мисс Кларе Димсдейл. На что та ему резонно отвечает: "Поскольку я никогда не хранила Ваших писем, забрать их у меня Вы не можете. А потому вместо писем возвращаю Вам почтовые марки с конвертов".

Летом, когда семья переезжала из Лондона в Корнуолл, в Талланд-хаус с видом на залив Сент-Айвз, в дом, снятый сэром Лесли в 1881 году, незадолго до рождения Вирджинии и начала своей многолетней работы над "Словарем национальной биографии", — интеллектуальные увлечения сменялись физическими. И не только у детей, но и у взрослых: сэр Лэсли с раннего утра отправлялся в длинные пешие прогулки, проделывая порой по тридцать миль в день. Детям же на морском берегу было полное раздолье, они, можно сказать, расцветали после зимних бдений над книгами и учебниками. Надоедала, приедалась, впрочем, не только учеба. Разве можно было сравнить летнее вольное озорство в Талланд-хаусе, где Стивены прожили без малого пятнадцать лет, пока дети не выросли и перед их домом не возвели заслонявшую море сельскую гостиницу, с навевавшими скуку ежедневными чинными прогулками в Кенсингтонском саду? Или — тем более — поездками "на поклон" к жившей в Брайтоне бабушке миссис Джексон? Не говоря уж о наскучивших уроках музыки:

Этот день, 11 мая 1892 года, — *читаем в очередном номере "Новости Гайд-парк-гейт"*, — ознаменовался для младшего поколения Стивенов двумя вещами. Во-первых, мороженым. А во-вторых, сообщением о том, что мадам Мао, которая, к сведению наших читателей, обучает юных Стивенов музыкальному искусству, будет приезжать дважды в неделю!!! Этот удар, впрочем, был смягчен следующим обстоятельством: в этом году Стивены едут в Сент-Айвз намного раньше обычного. Что вселяет вселенскую радость в души молодых людей, ибо Сент-Айвз они обожают и получают неизменное наслаждение от пребывания там.

Весь год дети, и не только младшие, ждали той минуты, когда от платформы Паддингтонского вокзала в 10.15 утра отой-

дет Корнуоллский экспресс “Паддингтон—Бристоль”, и можно будет, поедая шоколадку “Фрай” и листая любимый журнал “Лакомства”, раздумывать о предстоящей жизни “на воле”. Даже книгочей, “книжный червь”, как ее называли в семье, Вирджиния — читаем в “Заметках о детстве Вирджинии”, воспоминаниях старшей сестры о младшей, — отдавала в Сент-Айвз предпочтение катанию на лодке, купанию, возне с братом Тоби на лужайке перед домом, рыбной ловле и крикету, в котором, говорят, весьма преуспела. Вместе с другими детьми увлеченно ловила бабочек, устраивала пышные похороны птицам и полевым мышам. А еще любила слушать волны:

Детская в доме в Сент-Айвз, кроватка за желтой шторой, ты лежишь — то ли спишь, то ли бодрствуешь — и слышишь, как волны набатом — раз-два, раз-два, а потом брызги дробью вдоль берега, и потом снова удар — раз-два, раз-два. Слышно, как ветер надувает желтую штору, и та колышется, таща за собой по полу небольшое грузило в виде желудя. Невообразимый, чистейший восторг: лежать, слушать волну, видеть свет, знать про себя, что это почти невероятно — быть здесь[1].

Или, лежа в детской перед сном, рассказывать сестре Ванессе (Нессе, как ее называли дома), сидевшей в кроватке в обнимку с мартышкой Жако, выдуманные истории про семейство Дилков, соседей Стивенов по Гайд-парк-гейт, и про их хитроумную гувернантку мисс Розальбу. Или — пускать кораблики в пруду; Вирджиния потом вспоминала, каким значительным событием стал для нее день, когда ее корнуоллский парусник, благополучно доплыв до середины пруда, внезапно, у нее на глазах, камнем пошел под воду... Больше же всего ей нравилось смотреть на проходящие на горизонте корабли и светившийся вдалеке маяк “Годреви”.

Воскресным утром, — *читаем в “Новостях Гайд-парк-гейт” от 12 сентября 1892 года*, — мистер Хилари Хант и мистер Бейзил Смит пришли в Талланд-хаус и позвали мистера Тоби и мисс Вирджинию Стивен сопровождать их на маяк, ибо лодочник Фримен сказал, что дует отличный попутный ветер. Что же до мистера Адриана Стивена, то он был крайне разочарован тем, что ехать ему не разрешили.

А спустя четверть века про тот же маяк “Годреви” Вирджиния Вулф напишет совсем иначе: “Маяк тогда был серебристой смутной башней с желтым глазом, который внезапно и нежно открывался по вечерам”[2]. Тогда? Когда еще была жи-

1. “Зарисовка прошлого”.
2. Роман “На маяк” здесь и далее цитируется в переводе Е. Суриц.

ва миссис Рэмзи — свою героиню Вирджиния Вулф писала с покойной матери.

Глава вторая.
Гайд-парк-гейт, 22: Горести

Джулия Дакуорт-Стивен, как и миссис Рэмзи, ушла из жизни рано, почти на десять лет раньше мужа, и ее смерть знаменовала собой конец светлой, безмятежной полосы в жизни Стивенов. Джулия была центром семьи (и вселенной), ее все — и муж, и дети, и прислуга — любили, от нее все зависели, на нее все полагались. Ради "терпимости и любви в доме, ради того, чтобы все в доме ощущали себя в безопасности"[1], Джулия, как и мать Клариссы Дэллоуэй из самого известного романа Вирджинии, была готова на все. И ее смерть нанесла Стивенам тяжкий удар — главе семьи в первую очередь.

С терпимостью и любовью в доме Стивенов было покончено. Сэр Лесли, как это часто бывает с далекими от жизни, витающими в эмпиреях мудрецами, "туманно-эфирными символистами", как называл таких ученых мужей герой "Улисса" Леопольд Блум, был выбит из колеи, потерял опору существования — еще бы: Джулия жила главным образом ради своего мужа. Лишился, если так можно выразиться, доверия к жизни, после смерти жены писал в "Книге памяти", в буквальном переводе — в "Мавзолейной книге" ("Mausoleum Book"), что "инстинктивному знанию жены можно было доверять гораздо больше, чем моим рационалистическим построениям".

Рационалистом, впрочем, сэр Стивен был на бумаге, никак не в жизни. С ним, человеком вспыльчивым, деспотичным, требовательным, нерешительным, всегда было непросто. Он и в молодые-то годы был юношей нервным, замкнутым, чувствительным, "маменькиным сынком", как мы бы сказали, — не в пример своему старшему брату, судье и журналисту, баронету Джеймсу Фитцджеймсу, прозванному в Кембридже за бурный нрав и готовность в пылу спора пустить в ход кулаки "британским львом". Он и при жизни любимой, заботливой жены, случалось, перетрудившись, терял вдруг сознание, страдал бессонницей. Когда же, наконец, засыпал, внезапно пробуждался от "приступов ужаса", как он именовал свои ночные кошмары.

Теперь же, в свои шестьдесят три года, вдовец в одночасье превратился в капризного, взбалмошного, всем и всеми

1. Роман "Миссис Дэллоуэй" здесь и далее цитируется в переводе Е. Суриц.

недовольного, дряхлого, глухого старика. Очень напоминающего “сварливого, шаркающего старикана” Джастина Парри, отца Клариссы Дэллоуэй. Он, трудоголик по натуре, перестает работать и к себе в кабинет поднимается теперь крайне редко. Часами сидит молча, погруженный в тоску, или же скрипит от ярости зубами, стенает, рыдает, зовет смерть. Его стенания раздаются по всему дому, однажды вечером домочадцы услышали, как старик, с трудом взбираясь по лестнице к себе в спальню, громко сетует — нет, не о потере жены, своем одиночестве и болезнях, а о том, что у него перестала расти борода: “Ну почему, почему, у меня не растет борода?!”. Стенает, жалуется и всего боится. Боится — по крайней мере, на словах — нищеты, ему и его детям, конечно же, не грозившей. И считает — и не без оснований — что исписался. Что его все забыли. Те же немногие, кто его еще помнил, старались навещать сэра Лесли пореже: ему ничего не стоило, к примеру, в присутствии посетителя задаться не слишком вежливым вопросом: “И когда же он, наконец, уйдет?” или же свистящим шепотом заявить напрямую излишне разговорчивому собеседнику: “Какой же вы все-таки зануда, голубчик!”.

Требует от домочадцев покорности. Вирджиния вспоминала, как отец говорил Ванессе: “Если я грущу, и ты должна грустить, если сержусь, и тебе следует рыдать”. Либо устраивает скандалы, изводит детей своими истериками и жалобами на жизнь, на свою участь. Дочерей в первую очередь: сэр Лесли — типичный викторианец, к женщине он относится как к рабыне, не то что к мужчинам, с которыми, немногими оставшимися друзьями и знакомыми, он неизменно вежлив и кроток.

Больше всего доставалось от него Стелле, дочери Джулии от первого брака. Она заняла в семье место покойной матери и безропотно взвалила на себя тяжкий груз забот по дому. По уходу за сводными братьями и сестрами, прежде всего за Вирджинией и Адрианом, которого надо было утром водить в школу. Главное же — за строптивым, обессилившим отчимом, к которому относилась как к родному отцу. Даже выйдя замуж за подающего надежды юриста и будущего политика Джона Уоллера Хиллза, которому, к слову, дважды, прежде чем согласиться, отказывала, не желая покидать осиротевших Стивенов, она поселилась с мужем по соседству и продолжала заботиться о сэре Лесли. Утешала его, прилежно выслушивала его ламентации (“мое счастье теперь мало кого интересует” — прозрачный намек на то, что Стелла поспешила выйти замуж), обустраивала его быт. По первому сигналу бросалась к нему помочь со слуховой трубкой, подставляла стул, когда старик садился к столу, помогала спуститься с ле-

стницы, подсаживала в наемный экипаж, поддерживала разговор, расспрашивала о здоровье, которое большей частью было "ни к черту". И, пережив мать всего на два года, в июле 1897-го, спустя три месяца после свадьбы, попала в больницу с перитонитом и умерла беременной на операционном столе, чем, понятно, еще больше осложнила ситуацию в семье.

Вскоре после смерти Стеллы, — *вспоминала Вирджиния Вулф в "Зарисовке прошлого"*, — наша жизнь превратилась в борьбу за собственное жизненное пространство. Мы все время что-то отвоевывали: свободу от чужого вмешательства, открытое обсуждение вопросов, равные права.

Уточним, под "чужим вмешательством" имелось в виду, конечно же, вмешательство сэра Лесли: "Главным камнем преткновения мы считали отца".

Обязанности Стеллы в доме "достались" теперь старшей дочери сэра Лесли Ванессе, будущей художнице. И ее отношения с отцом в оставшиеся семь лет его жизни (сэр Лесли умрет от рака в 1904 году) с каждым днем становились все хуже, напряженнее. В отличие от покойной Стеллы, мягкой, податливой, жертвенной, Ванесса, девушка с сильным характером, к тому же практичная, благоразумная, упрямая и злопамятная, не шла на поводу у самодура-отца, по любому поводу впадавшего в тревогу, которая, как правило, сопровождалась неконтролируемыми вспышками гнева, даже бешенства. В этих вспышках, вспоминала Вирджиния, "прорывалась какая-то зловещая, слепая, животная, первобытная сила. Он не понимал, что творил. Объяснения не помогали. Он страдал. Страдали мы. О взаимопонимании не было и речи. Ванесса держала глухую оборону. Он бесился".

Главная буря обычно разражалась в среду. В этот день отцу показывали бухгалтерскую книгу, где были отмечены семейные расходы за неделю. Если они превышали одиннадцать фунтов, ленч превращался в пытку. Как сейчас помню, кладут перед ним отчет: стоит гробовая тишина, он надевает очки, пробегает глазами цифры — и как стукнет кулаком по столу! Как зарычит! Лицо багровое, вена на виске дергается. Бьет себя в грудь, ревет: "Вы меня разорили!" В общем, целый спектакль, рассчитанный на то, что зрители проникнутся жалостью к несчастному, отчаявшемуся родителю. Он разорен, он при смерти... Ванесса и Софи доконали его своей бездумной расточительностью. "Стоишь как истукан! Разве тебе меня не жалко? Хоть бы слово отцу сказала!" — и все в том же духе. Ванесса стоит, не проронив ни слова. Как он ее только не пугает — в Ниагару бросится и прочее. Она все молчит. Тогда в ход идет другая тактика. Тяжело вздохнув, он тянется дрожащей рукой к перу, берет ручку трясущимися пальцами и выписывает чек. Не глядя, усталым жестом бросает его Ванессе. Гроссбух и ручку уносят под аккомпанемент стенаний и вздохов. Он опускается в крес-

ло и замирает, опустив голову на грудь. Спустя какое-то время замечает книгу, поднимает глаза и говорит жалобно: "Джиния, ты не занята? Ты мне не почитаешь?" Внутри у меня все кипит, а сказать ничего не могу — в жизни не испытывала подобной фрустрации[1].

Джиния, как ее называл отец, не скрывает своего раздражения, "фрустрации", как она выражается. Она убеждена, что отец ведет себя непростительно:

Даже сейчас, спустя столько лет, мне нечего сказать в его оправдание: он вел себя жестоко. С таким же успехом он мог бы пустить в дело кнут вместо слов.

И все же Вирджиния, в отличие от сестры, которая решительно отказывалась играть двойную роль рабыни и ангела-утешительницы, до самого конца сохранила с отцом, насколько это было в ее силах, сносные отношения. Спустя много лет она напишет, что испытывала к отцу "безмерную нежность и столь же неистовую ненависть". Жалела его, старалась не замечать его слабостей, утешала себя тем, что сэр Лесли и сам до конца не сознает, какой он деспот: "Скажи ему кто-то прямо: 'Вы — тиран! Перестаньте третировать девушку!' — и он пришел бы в ужас".

Как и ее героиня Кларисса Дэллоуэй, была с отцом заботлива, прощала ему скандалы, постоянные нравоучения и неконтролируемые всплески эмоций. И служила своеобразным громоотводом в конфликтах между сэром Лесли и горячо любимой старшей сестрой, не раз вставала на сторону отца, да и тот, в свою очередь, испытывал к Джинии особую нежность. "Джиния, — писал он в 'Книге памяти', — по-прежнему добра ко мне, она — мое утешение... Умеет быть совершенно обворожительной".

"Каждая женщина гордится отцом", — заметил Питер Уолш, друг детства и воздыхатель Клариссы Дэллоуэй. Вот и Вирджиния гордилась сэром Лесли. И как видным критиком и литературоведом, специалистом, прежде всего по восемнадцатому веку — это благодаря сэру Стивену, истинному просветителю, автору знаменитой книги "Английская литература и общество в восемнадцатом веке", она на всю жизнь полюбит эпоху Просвещения, Свифта, Дефо, доктора Джонсона, Стерна. Гордилась и как редактором в свое время весьма авторитетного журнала "Корнхилл мэгэзин", участвовавшим в становлении крупных писателей конца викторианской эры: Гарди, Стивенсона, Генри Джеймса. И постоянно — и после смерти сэра Лесли тоже — перечитывала его книги, многое помнила чуть

1. "Зарисовка прошлого".

ли не наизусть. В эссе "Лесли Стивен: философ в домашней обстановке. Воспоминания дочери" отдавала отцу должное, писала, сколь многим, в первую очередь культурным кругозором, она отцу обязана. Не раз говорила, что, случается, испытывает чувство, будто слышит его голос. "С удовольствием просматривала книгу отца про Поупа, — читаем в ее дневнике от 25 января 1915 года. — Очень остроумно, живо, ни одной мертвой фразы". Есть, однако, и такая, гораздо более поздняя, дневниковая запись (Вирджинии Вулф в это время уже сорок шесть):

День рождения отца. Сегодня ему бы исполнилось девяносто шесть... Но, слава Богу, этого не произошло. Его жизнь перечеркнула бы мою. И что бы было? Я бы ничего не написала, не выпустила ни одной книги. Непостижимо! Не проходило и дня, чтобы я не думала о нем и о матери...

О матери — особенно:

Образ матери преследовал меня как наваждение. Я слышала ее голос, она мерещилась мне, я мысленно разговаривала с ней между делом, представляя, как она поступила бы в том или другом случае. Словом, она была для меня одним из тех невидимых собеседников, присутствие которых в жизни каждого человека играет огромную роль[1].

Ее смерть явилась для Вирджинии "величайшей катастрофой, какая только могла произойти". И привела к тяжелому нервному срыву — первому в череде многих. Эти приступы, или срывы, или, как их еще называют, психические кризисы, и сильные и слабые, протекали примерно одинаково. Сперва учащенный пульс, так, словно Вирджиния чем-то очень взволнована, повышенная температура, сильное возбуждение. Потом — то, что она впоследствии назовет "эти ужасные голоса", они будут долго и неустанно звучать у нее в ушах. Одновременно с этим — страх людей: она испытывала ужас, встречаясь даже с хорошими знакомыми, густо краснела, если с ней заговаривали, не могла себя заставить посмотреть в глаза прохожему. И страх улицы: она никак не может забыть, как на ее глазах под омнибус попала девочка-велосипедист, а ведь произошло это несколько лет назад. Эти страхи, "суетливость" ("my fidgets") сменялись подавленностью и непреходящим, мучительным чувством вины. В продолжение приступа писать Вирджиния была совершенно не в состоянии; не обращая внимания на советы врачей дать мозгу отдых и побольше бывать на свежем воздухе, сидела в четырех стенах и читала с утра до ночи.

1. "Зарисовка прошлого".

После смерти отца — а умирал сэр Лесли долго и мучительно — приступ повторился, но был намного сильнее и длительнее, чем за девять лет до этого. Со смертью отца Вирджиния еще раз пережила смерть матери, эти две невосполнимые потери соединились, слились в ее сознании, усилили одна другую, заставили ее еще раз с нежностью и благодарностью вернуться в свое безмятежно счастливое детство. Вот что она записала в дневнике много позже, за два с половиной месяца до собственной смерти:

До чего же красивыми были мои старики — я говорю о папе и маме, — до чего простыми, до чего чистыми, до чего прямыми. Я погрузилась в старые письма и отцовские воспоминания. Он любил ее: ох, каким же он был искренним, и разумным, и ясным. У него был утонченный и изысканный ум, тренированный образованием, ясный. Их жизнь встает передо мной спокойной и веселой; никакой грязи, никаких омутов. И так человечно — с детьми, и легким притворством, и детскими песенками[1].

Второй приступ начался, как и первый, с сильного возбуждения, сопровождавшегося и на этот раз страхами, чувством одиночества, мучительными головными болями, а также видениями и тяжкими угрызениями совести: отец умер из-за меня, это я явилась причиной его смерти. Я не жалела его, не говорила ему, как люблю его и высоко ставлю. Мучили ее в это время и ночные кошмары. Ей снилось, что отец жив, что, возвратившись домой с прогулки, она застает его дома, он такой же добрый, отзывчивый и умный, каким был в прошлом.

Не помогали ни лекарства, ни "перемена мест"; весной 1904 года, через три месяца после смерти отца, Стивены всем семейством отправились в Италию, где Вирджиния раньше никогда не была. Но не помогла и Италия: Ванесса наслаждалась картинными галереями Венеции и Флоренции, а Вирджиния досадовала, что поехала, ее все раздражало:

Слишком много немцев, вокруг гостиницы толпятся какие-то странные гномы в женском обличье, похожие на дьявольские существа, выступающие из мрака на свет. Да и гостиница чем-то напоминает черную пещеру... Наше путешествие оказалось совсем не таким лучезарным, каким мы его себе представляли. Не было еще на свете нации более отвратительной, отвратительны и их железные дороги, и улицы, и магазины, и нищие, и их обычаи, – *писала она в письме подруге 25 апреля 1904 года.*

1. В. Вулф. Дневник писательницы / Перевод с англ. Л. И. Володарской. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2009. Запись от 22 декабря 1940 г.

На обратном пути произошло ухудшение, и это несмотря на то, что возвращались домой Стивены через Париж — французская столица во все времена справлялась с депрессией лучше любых врачей. По возвращении в Англию к ней были приставлены сразу три медсестры, и все три представлялись ей воплощением вселенского зла; Вирджиния яростно сопротивлялась всем попыткам ее накормить — как бы не отравили. Когда же ее почти силой отвезли за город, она однажды попыталась выброситься из окна — предвестье того, что произойдет без малого сорок лет спустя. После окончания маниакальной фазы Вирджиния целые дни проводила в постели, и ей мнилось, вспоминала она впоследствии, будто птицы за окном щебечут хором по-древнегречески, а в кустах, среди азалий, спрятался и сквернословит король Эдуард VII.

Помимо медсестер за больной ухаживала приятельница семейства Дакуортов тридцатисемилетняя Вайолет Дикинсон, высокая, некрасивая, но добросердечная, веселая и энергичная женщина, про которую сэр Лесли говорил, что "ее единственный недостаток — шесть футов роста". Вайолет перевезла Вирджинию к себе в Бернам-Вуд, и больная, которая провела в доме Вайолет все лето, ни на минуту ее от себя не отпускала, вела с ней доверительные беседы, что никак не вязалось с присущими ей сдержанностью и замкнутостью. Знакомы, впрочем, они были давно, и Вирджиния еще тогда, в первые дни знакомства, отдала должное этой трогательно нелепой, веселой, вечно смеющейся "каланче", как ее за глаза называли:

Несмотря на свой огромный рост и довольно комическую внешность, в ней было несомненное достоинство... Она болтала не переставая, хохотала и с юношеским пылом вступала в любой разговор. По достоинству оценить ее нрав удавалось далеко не сразу, лишь со временем становилось понятно, что у этой веселой, оживленной, суматошной женщины случались минуты подавленности, что она умеет быть сдержанной, погруженной в себя. И вместе с тем она всегда готова посмеяться вместе с вами — и в этом ее обаяние...

А вот еще один портрет Вайолет; они с Вирджинией дружат уже многие годы, но отношение к ней писательницы — столь же ласково-ироничное, а отношение Вайолет к Вирджинии, часто болевшей и впоследствии, столь же трогательно-заботливое:

Невозможно не услышать ее джазовый распев, когда она, входя в холл, заговаривает с Лотти: "Где мое повидло? Как миссис Вулф? Ей лучше? Где она?" Одновременно она снимает пальто, отдает зонтик и не слушает ответов. Потом является ко мне в комнату, невероятно высокая, в сшитом на заказ костюме, с перламутровым дель-

фином на черной ленте... Погрузневшая, с выпуклыми голубыми глазами на белом лице, с как будто отбитым кончиком носа. И маленькими прелестными аристократическими ручками[1].

Подобное "однополое" увлечение было у Вирджинии Вулф не первым. За несколько лет до этого она, тогда еще совершенно здоровая, столь же неожиданно и страстно увлеклась Мэдж Саймондс, по мужу — Воган, дочерью уже упоминавшегося Джона Эддингтона Саймондса. Насколько сильным было это увлечение, страстное и совершенно невинное, мы видим по ее письмам, а также по дневнику, которому, как и все шестнадцатилетние девицы, Вирджиния поверяла свои душевные радости и горести.

Я была у себя наверху, как вдруг почувствовала, как забилось у меня сердце, забилось, а потом замерло, я изо всех сил стиснула ручку кувшина, который держала в руке, и воскликнула: "Мэдж здесь, она сейчас у нас".

В Мэдж Вирджиния нашла родственную душу: романтическая внешность, меланхолия, непосредственность, любовь к живописи и литературе; впоследствии она выведет подругу (придав ей кое-какие карикатурные черты, о чем еще будет сказано) в образе Салли Сетон в "Миссис Дэллоуэй". "Ближайшая подруга Клариссы, — вспоминал Питер Уолш, — красивая, большеглазая, темноволосая, считалась по тем временам очень смелой". Как и Салли Клариссу, Мэдж подкупала Вирджинию этой смелостью, бесшабашностью. А еще — независимостью, совершенным безразличием к окружающим, "будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть". А еще — цельностью, рыцарственностью, "совершенно бескорыстным чувством, — напишет позже Вирджиния, — которое может связывать только женщин". "Только женщин": половые предпочтения, как видим, уже намечаются. Они переписывались, а когда встречались, болтали ночи напролет, говорили о жизни, о том, как они переделают мир. Мэдж давала Вирджинии читать Уильяма Морриса, они собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, бороться за права женщин. Однако время, как это не раз бывает, развело прообраз и литературный образ: в отличие от своего прототипа, Салли Сетон с возрастом перебесится, выйдет замуж за богача и поселится в роскошном особняке под Манчестером...

Выздоровление, хотя и не полное, наступило только осенью. Вирджинию еще мучили головные боли и кошмарные

1. Дневник писательницы. 16 февраля 1922 г.

сны, но ей хотелось поскорей снова сесть за письменный стол, доказать всем, в том числе и самой себе, что "со мной всё в порядке, хотя уже тогда появился страх, что это не совсем так". Да и мысли о покойном отце уже не были столь мучительны.

О, моя Вайолет, — *писала она в это время своей подруге и сиделке.* — Если бы на свете был Бог, я бы поблагодарила Его за то, что он спас меня от страданий последних шести месяцев! Вы не можете себе вообразить, какую несказанную радость доставляет мне ныне каждая минута моей жизни, и я молюсь только о том, чтобы дожить до семидесяти. Очень надеюсь, что я вышла из болезни не такой самонадеянной и самолюбивой, какой была раньше, и что теперь чаяния других людей станут мне ближе и понятнее. Печаль, которую я испытываю сейчас в отношении отца, немного утихла, стала естественней, и жить теперь опять хочется, хотя жизнь и стала более тоскливой. Не могу передать Вам, чем Вы были для меня все это время, и, если любовь хоть чего-то стоит, любить Вас я буду всегда.

Оправившись после болезни, Вирджиния в январе 1905 года вернулась в Лондон. Но не в родительский дом на Гайд-парк-гейт, 22, где Стивены больше не жили, а в Блумсбери, куда братья и сестра, отправив совсем еще слабую Вирджинию в Кембридж, к тетке, сестре отца Кэролин-Эмилии, несколькими месяцами раньше переехали — подальше от грустных воспоминаний. По возвращении Вирджиния чувствовала себя много лучше, хотя о полном выздоровлении еще не могло быть речи, что хорошо видно из письма Ванессы Мэдж Воган:

Сейчас она вполне здорова, вот только спит неважно. Здорова и очень активна. Много гуляет, но уходить далеко и надолго ей нельзя. Утром, прежде чем сесть за письменный стол, она в течение получаса гуляет одна, а потом выходит еще раз, и тоже на полчаса, перед обедом. Во второй же половине дня одна она из дому не выходит, кто-то обязательно должен ее сопровождать... Спать она ложится очень рано, в остальном же ничем от остальных не отличается.

Отличается, и очень. Слабое здоровье будет у нее всю жизнь, и страдать она будет не только от психических недугов, но и от телесных. Из хронологии жизни Вирджинии Вулф, дотошно составленной автором ее двухтомной биографии Квентином Беллом[1], — "по совместительству" ее племянником, сыном Ванессы, — следует, что не проходило и месяца, чтобы Вирджиния не слегла с головной болью, или не жаловалась на сердце, или не заболела тяжелым гриппом.

1. Quentin Bell. Virginia Woolf. A Biography. — London: The Hogarth Press, 1972 (1st volume); 1976 (2nd volume).

Или же просто “очень плохо себя чувствовала” — настолько, что врачи, боясь рецидива психического срыва, надолго предписывали ей постельный режим, и она месяцами не садилась за рукописи и даже за свой любимый дневник.

Переехали Стивены гораздо дальше, чем им казалось. Перебравшись в Блумсбери, они, по существу, переселились из викторианской эпохи в эдвардианскую, в чем Вирджиния отдаст себе отчет много позже:

Когда мы с Ванессой стояли перед отцом, а он метал в нас громы, и мы, дрожа от страха, понимали, как он смешон, это значило одно: мы смотрели на него глазами людей, которые видят что-то иное на горизонте. Видят то, о чем сегодня знает каждый юноша и каждая девушка в свои шестнадцать или восемнадцать лет. Злая ирония состояла в том, что наши мечты о будущем находились в полном подчинении у прошлого... По натуре мы с Ванессой — искательницы, революционерки, реформаторы, а мир, в котором мы жили, отставал от века по меньшей мере лет на пятьдесят...[1]

Осенью 1904 года у младшего поколения Стивенов начиналась новая, независимая, самостоятельная жизнь. Теперь их мечты больше не находились “в подчинении у прошлого”. Они больше не отставали от века — они опережали его.

Глава двадцать четвертая. “И потом точка точка точка”

1.

Войну — Вторую мировую — Вирджиния Вулф с писательской дальнозоркостью разглядела года за три до ее начала. Увидела в ней угрозу для своей частной жизни и в то же время поймала себя на том, что ее жизнь — по крайней мере, жизнь внутренняя — от этой угрозы, с каждым месяцем всё более явной и неотвратимой, никак не меняется; психиатры назвали бы это “вытеснением”.

... до чего близко подошли опять орудия к нашей частной жизни, — *читаем запись в ее дневнике от 13 марта 1936 года.* — Я могу ясно видеть их и слышу гул, хотя продолжаю, как обреченная мышь, грызть свои странички... По обыкновению, надеюсь, что обойдется. А что еще остается делать?[2]

1. “Зарисовка прошлого”.
2. В этой главе приводятся фрагменты из дневника В. Вулф 1936 – 1941 г.

Остается провожать глазами санитарные поезда из Испании, смотреть на нескончаемый, похожий на караван в пустыне шлейф беженцев из Бильбао — первые предвестия предстоящей большой войны. В глаза бросаются жакеты из грубой шерсти, серые платки у женщин, дешевые картонные чемоданы и постукивающие при ходьбе ярко-синие эмалированные чайники. В первую же очередь — обращенные внутрь себя, пустые взгляды — "как это часто бывает с изгнанниками".

Остается смотреть и думать невеселые думы. О том, что за последние годы ушли из жизни самые близкие: Литтон Стрэчи, Роджер Фрай, Джанет Кейс, Оттолайн Моррелл. И, совсем недавно, — любимый племянник, старший сын Ванессы Джулиан Белл: погиб в Испании в июле 1937 года неполных тридцати лет от роду. О том, что война — это "тьма, насилие, возможно, смерть". Что о свободе, о жизни "не заботится ни один человек, от мясника до премьер-министра". Что "моя книга может стать вроде бабочки, танцующей над костром, — еще мгновение, и она сгорит". Сравнение, к слову, не случайно: читатель помнит: "Волны" первоначально назывались "Бабочками".

Не может не думать и о том, что ее жизнь, жизнь близких зависит от

смехотворного человечка, чей сумасшедший, визгливый голос доносится из Нюрнберга.

Что в преддверии войны люди, еще недавно такие разные, начинают ощущать стадный инстинкт, у всех появляются одинаковые чувства, вся Англия думает об одном и том же. И не способна

отвести изумленного взгляда от построенного ребенком песочного замка, по необъяснимой причине превратившегося в настоящий огромный замок, для разрушения которого понадобится много пороха и динамита.

Не может не думать о том, что грядущая война, победоносная или проигранная, все превратит в абсурд: нельзя будет ничего спланировать, ни о чем договориться, ни в чем быть уверенным. Нельзя, незачем будет писать — не для кого:

Исчезло письменное "я". Нет издателя. Нет аудитории. Нет отклика. Это частичная смерть.

Да, вся Англия думает об одном и том же — и ничего не предпринимает. Вирджиния в том числе. Когда война разразилась, когда Гитлер "привел в действие убивающую машину", все происходящее стало казаться ей полной бессмыслицей:

Мой разум как будто свернулся клубочком и не желает принимать решения.

Да и о каких решениях может идти речь, если война воспринимается ею неизлечимой болезнью, которая неизвестно откуда взялась и известно чем кончится?

Разве что о решении покончить с собой. В случае победы Гитлера и вторжения немецких войск на территорию Великобритании (а летом и осенью 1940 года, когда пала Франция, такая перспектива казалась более чем реальной; казалось, только Уинстон Черчилль был настроен на победу) еврею-социалисту и его жене не рассчитывать было не на что. А потому Вулфы в это время не раз заводят разговор о самоубийстве, подумывают о том, чтобы отравиться в гараже выхлопными газами или же принять яд; Адриан передал сестре смертельную дозу морфия. И не только заводят разговоры, но и "репетируют" собственную смерть. Во время одной из первых бомбежек Родмелла Вирджиния представила себе, как будет умирать:

Вот стараюсь представить, как умирать под бомбой... Смерть: треск и хруст, уничтожение моей тени у меня на глазах... Процесс исчезновения света – болезненный? Потом потеря сознания, усыхание... два три вдоха в попытке вернуть сознание. И потом точка точка точка.

Но до точки еще довольно далеко.

В "Дневнике писательницы" этих лет навязчиво звучат мотивы безысходности, ужаса, неспособности оказать сопротивление сильному, коварному, боеспособному противнику:

Они быстрые, бесстрашные, готовые на любую хитрость. Немцы кажутся юными, сильными, предприимчивыми. Мы отстаем.

"Распалась связь времен" – этот классический шекспировский образ точнее всего передает настроение В. Вулф, и не ее одной, в это время:

Обескровлена вся общественная жизнь, никаких кино и театров. Никаких писем... В стране смотреть не на что... День словно скрипит на зубах... Люди доведены до предела... Совершенство уничтожено и разграблено.

Фразы в ее дневниковых записях стали короче, суше, почти нет метафор, колоритных образов, привычных броских поэтических сравнений. Разрушается прежняя жизнь. Разрушается ее город. И, вместе с ними, разрушается, обесцвечивается, сжимается, точно шагреневая кожа, привычный стиль:

Теперь я буду менее словоохотливой. Никакого смысла заполнять слишком много страниц.

Весной и летом 1940 года воздушные налеты на Лондон учащаются, становятся все более регулярными и губительными, воспринимаются англичанами, как своего рода прелюдия к предстоящему вторжению, с точки зрения многих, почти неминуемому:

Восемь из соборов моего города разрушены... С транспортом плохо; улицы пострадали от взрывов, между руинами я добралась до моих старых площадей. Серая грязь и выбитые стекла. Дом [На Мекленбург-сквер. — *А. Л.*] еще тлел. Огромная груда кирпичей. Под ней люди, которые были в этом доме. Клочья одежды на пустых, еще не обвалившихся стенах. Зеркало, подумала я, качается. Напоминает выбитый зуб — пустое место.

Бросаются в глаза притяжательные местоимения первого лица в первых двух предложениях: *мой* город, *мои* старые площади. У Вирджинии война отбирает то, что *ей* принадлежит, то, что *она* любит. Узнав, что в ее доме на Мекленбург-сквер, куда они с Леонардом переехали с Тависток-сквер перед самой войной, выбиты стекла и обрушились потолки, она повторяет слова Черчилля: "Нам потребуется все наше мужество". Она понимает, говоря словами Ахматовой, "что́ ныне лежит на весах", однако мужество ее покинуло; она оплакивает "измученный" Лондон, точно покойника: "Могучий немой бык лежит с поднятой головой". А впрочем, может, еще не все потеряно? Немой, лежит — но ведь могучий и с поднятой головой.

Как же не похож ноябрьский Лондон под бомбежками на июньский Лондон двадцатилетней давности! Благополучный, процветающий Лондон, по которому погожим летним днем ходили Кларисса Дэллоуэй и Питер Уолш.

Разрушенный отель похож на раковину... Дыра в начале Чансери-лейн, она еще дымилась... Старые, измученные женщины застыли в дверях домов; грязь, убогость... Скоро сирена, потом звук порванных струн... Кого сегодня убьют? Надо надеяться, не нас... Очередь в бомбоубежище на случай ночного налета... Наш дом разрушен до основания... Я вижу кусок стены моей студии; камни, за которыми я написала столько книг...

И этот полуразрушенный Лондон Вирджиния любит не меньше прежнего. В ней просыпаются патриотические чувства, настолько сильные, что ей как-то даже за них неловко. Подобных чувств и в помине не было во время Первой мировой — как не было тогда и непосредственной угрозы отечеству.

Удивительно, как часто я думаю с любовью о Лондоне, — *пишет она в феврале 1940 года, называя столицу вслед за Черчиллем "нашим вели-*

чественным городом". — Это моя Англия. Я хочу сказать, что, если бомба разрушит одну из тамошних маленьких улочек с медными карнизами, пахнущими рекой, и с обязательной читающей старухой, я буду чувствовать — ну, то, что чувствуют патриоты.

Грохот бомб, больше, впрочем, похожий не на раскаты грома, а на визг пилы, пылающие пожары, истошные крики раненых и умирающих причудливо сочетаются в записях писательницы первых двух военных лет с ощущением вдруг навалившейся тишины, пустоты, безжизненности.

Как-то там тихо — и Лондон стал тихим... очень тягостно, скучно, сыро....

И эта невесть откуда взявшаяся тишина ("Наш остров — необитаемый"), оторванность от мира ("Ну вот мы и одни на нашем корабле"), ощущение конца пути ("Мы живем без будущего, мы уперлись в закрытую дверь") вызывают у Вирджинии не панику, которая перед войной и первые военные месяцы ее охватила, а покой. По принципу: чем хуже, тем лучше. Так разглаживаются перед смертью черты лица у тяжело больного. В эти месяцы, последние месяцы ее жизни, она словно бы воплотила свою старую идею устраниться от жизни, стать к ней невосприимчивой.

Быть невосприимчивой, — *записывает она в дневнике почти десять лет назад, в июле 1932 года,* — означает существовать в стороне от трудностей, стархов и страданий... Иметь достаточно, чтобы жить без лести и стремления к успеху. Не нуждаться в приглашениях. Не мучиться оттого, что хвалят других. Сидеть и свободно дышать за своей перегородкой. Сидеть одной — этого достаточно. Быть сильной, довольной собой. Радоваться, что никто о тебе не думает. Сознавать: что-то в жизни сделано, и теперь можно успокоиться. Быть хозяйкой своего времени. Отвлечься от всего, что обо мне говорят... Невосприимчивость — это благословенная невозмутимость, желанное состояние...

Она отвлеклась от тяжкой, суматошной лондонской жизни, осела, прихватив двадцать четыре тетради своих дневников, в Родмелле — по необходимости: жить в Лондоне уже было негде. И испытала облегчение, чувство свободы от бремени имущества; облегчение это испытала, собственно, еще в Лондоне, когда увидела свой дом на Тависток-сквер, разрушенный до основания:

Со вздохом облегчения посмотрела на груду развалин... Теперь я свободна... Удивительно — облегчение от того, что что-то потеряно. Я бы хотела начать жизнь на земле, почти без ничего — но свободная идти, куда хочу...

2.

И осенью 1940 года, сказав себе, что “любая идея реальнее любого числа военных несчастий” и что “надо придумать книгу, чтобы подавить ужас от войны, страх смерти”, – утешилась. Так, по крайней мере, Леонарду казалось.

Конец придает живость, даже веселость и беззаботность каждодневной беспорядочной жизни..., – *записывает она в дневнике.*

Бомбы, падавшие рядом с “Монашеской обителью”[1], больше ее не волнуют. Теперь она вновь, как встарь, ведет размеренную жизнь, которую называет “приятностью”. Один день сулит много “приятностей”:

Одна “приятность” за другой. Завтрак, работа, прогулка, чай, чтение, сладкое, постель.

Так оно и было. Леонард, как и раньше, приносит ей завтрак в постель. Она читает, подолгу не встает, потом, и тоже долго, принимает ванну, после чего идет в свой “садовый кабинет”, пишет, против обыкновения, легко, со вкусом, с удовольствием. Работает до полудня. Потом, выкуривая сигарету, просматривает газеты и еще час, до часа дня, перепечатывает написанное. Потом вместе с мужем садится обедать. Пишет длинные шутливые письма Вите[2], благодарит подругу за масло и молоко, которые та шлет Вирджинии со своей фермы:

Жаль, что я не королева Виктория, вот тогда бы я тебя поблагодарила по-настоящему, “от всего своего разбитого вдовьего сердца”... “Боже всемогущий, – вскричала я, когда мы обнаружили масло в коробке. – Целый фунт настоящего масла!” И, сказав это, я отломила кусок и съела его, как есть, без хлеба!.. Пожалуйста, поздравь от меня и корову и молочницу, мне бы хотелось запечатлеть в истории имя теленка, коего назову Леонард, или телки, каковую нареку Вирджинией...[3].

После обеда снова, уже дольше, обстоятельнее, читает газеты, идет прогуляться, возится в саду – собирает яблоки. А после чая пишет письма, опять печатает на машинке, читает, ведет дневник, после чего сама (кухарки уже нет) готовит нехитрый ужин (пикша и колбасный фарш), а после еды дремлет под музыку в кресле или разговаривает с мужем. Чем не семейная идиллия! Мирная семейная идиллия.

1. Дом в Корнуолле “Monk’s House”, где Вулфы жили с 1921 г.
2. Вита Сэквилл-Уэст – писательница; близкая подруга В. Вулф.
3. Письмо Вите Сэквилл-Уэст от 29 ноября 1940 г.

Случается, ездит в Чарльстон к сестре и даже в Кембридж, принимает у себя гостей, два дня провела в "Обители" писательница Элизабет Боуэн, хозяйку дома она застала стоящей на коленях у окна и подшивающей порванную занавеску. "Вирджиния, — вспоминает Боуэн, — громко смеялась своим заразительным, задыхающимся, обворожительным, почти что детским смехом".

Любуется пейзажем. В ноябре 1940-го в Родмелле было очень красиво, дни стояли ясные, немецкая бомба угодила в каменный парапет, и река Уз затопила луга, ее прозрачные воды плескались теперь у самой садовой ограды. Вирджиния не отрывает взгляд от этого внезапно разлившегося озера, от голубоватой ледяной воды, накрывшей луга, дороги и холмы, которые она досконально изучила за тридцать лет жизни в "Монашеской обители". И, вооружившись палкой и взяв с собой спаниеля Салли, чуть ли не каждый день бродит, что-то бормоча себе под нос (сочиняет на ходу?) по окрестностям, иной раз по щиколотку в воде. Однажды даже провалилась в воду с головой и написала Этель Смит[1]:

> Пустилась домой бегом, отряхиваясь, точно мой спаниель.

Эти прогулки действуют на нее умиротворяюще, имеют почти такой же терапевтический эффект, как работа.

А работы, по счастью, хватает. В двадцатых числах ноября 1940 года Вирджиния Вулф заканчивает первый вариант "Между актов", которым, против обыкновения, остается довольна: с романом, конечно, еще придется немало повозиться, но тон, казалось ей, взят верный. В это же время она садится за автобиографию, начинает описывать "семь несчастливых лет" между смертью Стеллы и кончиной отца, — однако в декабре рукопись бросает. Жалуется их с Леонардом приятельнице из Брайтона, психологу Октавии Уилберфорс, что дальше писать не в силах — слишком еще живы и мучительны потери близких. Не признак ли это надвигающегося, пятого по счету, нервного срыва? Пока этим вопросом никто не задается, даже Леонард. А впрочем, он, очень может быть, просто не подает виду: Вирджинии ни в коем случае нельзя дать понять, что ее состояние вызывает тревогу. В преддверии кризиса она наотрез отказывается признавать, что заболевает, что ей нужен врач, тревога мужа за нее может вызвать неконтролируемый приступ гнева, ускорить развитие болезни.

1. Композитор, дирижер; приятельница В. Вулф.

Вновь, как и четверть века назад, обращается к малому жанру — пишет рассказы. В "Символе", начатом в день окончания работы над "Между актов", женщина пишет письмо, сидя у окна на альпийском курорте, и невольно становится свидетельницей гибели поднимающихся на гору скалалазов. Увиденное производит на нее столь сильное впечатление, что

сказать вам по правде, у меня не осталось никаких чувств. Я... не даю себе труда даже ногти почистить. И не причесываюсь. Сажусь за книгу и не могу ее дочитать... Суета сует, все — суета. На доктора я, как видно, произвела тяжелое впечатление. И все же он догадался: у меня теперь только одно желание — постоянно видеть эту гору...

Рассказ "Наследство", дописанный месяцом раньше, заказал Вирджинии Вулф популярный нью-йоркский женский журнал "Харперс-базар", однако так его и не напечатал. И не удивительно: рассказ в духе Мопассана или О. Генри, где муж после внезапной смерти жены узнает, просматривая ее дневники, о ее измене, — если и женское чтиво, то лишь на первый взгляд. Далеко не все читательницы популярного журнала оценили бы тонкую иронию, с какой Вулф описывает обычай "примерной" Анджелы Клендон (а заодно и автора рассказа) поверять дневнику ("пятнадцать томиков в зеленых сафьяновых переплетах"[1]) свои задушевные тайны.

Больше же всего трудов стоил Вирджинии Вулф крошечный рассказ, который первоначально был назван "Что было видно в подзорную трубу", потом — "Сцена из прошлого" и только в окончательной версии — "Прожектор". Подобно "Ненаписанному роману" или "Дому с привидениями", "Прожектор" — очередное "мгновение бытия": мальчик, прадед рассказчицы, смотрит из башни в подзорную трубу на небо, "на зелень и голубизну, на зелень и голубизну, без конца и края"[2]. Но вот он опускает трубу, чтобы поглядеть на землю — и обнаруживает среди деревьев ферму и девушку в голубом платке, которая станет впоследствии его женой. Но и подзорная труба, и деревья, и розовые цветы — все это в далеком идиллическом прошлом. Теперь же, когда немолодая уже миссис Айвими рассказывает гостям историю своего появления на свет, по ночному лондонскому небу, среди звезд, шарят в поисках самолетов противника ослепительные прожекторы. И этот контраст (подзорная труба — прожектор) задает романтической зарисовке тревожное настроение тех дней, когда этот рассказ писался.

1. Перевод М. Лорие.
2. Перевод Д. Аграчева.

Одновременно с никак не дававшимся “Прожектором” берется Вирджиния Вулф и за еще один литературный — а точнее литературно-критический — проект, который первоначально называет “Чтение наугад, или Переворачивая страницы” и который в чем-то продолжает два цикла “Обыкновенного читателя”. Продолжает и развивает: в отличие от “Обыкновенного читателя”, по замыслу писательницы, авторы, которым посвящены эссе, должны были располагаться в хронологическом порядке и представлять собой таким образом нечто вроде истории английской литературы. Для себя Вирджиния определила эту книгу как “этапы художественного вымысла” (“Phases of Fiction”), где особое внимание уделяется не теории, а практике — конкретным авторам, их жизнеописанию, их текстам.

Идея этой книги, — *записала Вирджиния Вулф в дневнике*, — в том, чтобы распутать клубок, найти его конец и начало... отыскать тайный источник, пробивающийся из-под грязи.

Однако распутан “клубок” так и не был: Вирджиния Вулф успела, да и то вчерне, набросать лишь три первые главы “Чтения наизусть”. В первой речь должна была идти об английской “седой старине”, во второй — о читателе шекспировского времени. В третью же она предполагала включить эссе о двух знаменитых англичанках — актрисе Эллен Терри и приятельнице Сэмюэля Джонсона миссис Трейл; и то и другое эссе было опубликовано в марте 1941 года.

Помимо литературной работы хватало и работы по дому: постоянной домработницы после ухода Мейбел Хаскинс у Вулфов больше не было, Луи была служанкой приходящей, и Вирджинии приходилось, пусть и не каждый день, самой убирать дом и ездить на велосипеде в Льюис за продуктами (ассортимент которых буквально с каждым днем становился все меньше), а по возвращении еще и готовить, как мы бы сказали, “суп из топора” или, как выражалась Вирджиния, “воображаемый пудинг”. Готовила она, впрочем, в основном для Леонарда — сама почти ничего не ела, худела на глазах (как это бывало и раньше в преддверии нервного срыва).

Исхудали оба, — *вспоминала Октавия Уилберфорс, той зимой частая гостья в Родмелле*, — но особенно Вирджиния, она была худа, как спичка, и руки у нее были ледяные, как сосульки.

И то сказать, зима 1940—1941 года выдалась в Суссексе очень холодной и сырой, и Вирджиния жаловалась, что ут-

ром, садясь за работу, “не может водить пером по бумаге”. И не только от холода: у нее, в точности как у Леонарда, появился тремор (Леонард страдал этим всю жизнь) — правда, одной руки, а не обеих, как у мужа.

Не могла “водить пером по бумаге” и по причине куда более серьезной и в то же время тривиальной — ей не писалось. В конце декабря она садится за редактуру “Между актов”, романа, который еще совсем недавно ей нравился, и приходит к выводу, что “книга совершенно бессмысленная” и что (признается она той же Октавии Уилберфорс) “я потеряла всякую власть над словами, ничего не могу с ними поделать”. Неудачей считает не только “Между актов”, но и “Орландо”, и биографию Роджера Фрая. 1 января записывает в дневнике:

Какой смысл сочинять столько страниц? Нет ведь больше ни типографий, ни читателей.

Последнее время ее вообще не покидает чувство, будто в ее жизни никого не осталось.

О том, что депрессия налицо, свидетельствует и набросок, написанный ею в самом конце года и озаглавленный “Зимняя ночь”:

Странно, что где-то светит солнце и поют птицы. Ибо здесь черным-черно; здесь, в маленькой пещере, где я сижу. Такова печаль женщины, которая не может пожаловаться на отсутствие способностей.

Все понятно, впрочем, и без “Зимней ночи”. В середине марта 1941 года, в разговоре с глазу на глаз, Вирджиния говорит Октавии, что она “чудовищно подавлена”: ее последняя книга никуда не годится, да и сама она ни на что не годна. Пускается в воспоминания: рассказывает Октавии о своей семье, о том, как вел себя с ней и с Ванессой сэр Лесли после смерти Джулии и Стеллы, как его поведение повлияло на всю ее дальнейшую жизнь, лишенную, как она выразилась, “телесных радостей”.

Тогда-то Октавия Уилберфорс и забила тревогу, ее тревога передается Леонарду, он безудержно хвалит “Между актов”, но если раньше похвалы мужа Вирджинию успокаивали, вселяли в нее уверенность, то теперь она приходит в невероятное возбуждение и раздражение, пускается с мужем в спор, говорит, что ее книга никому не нужна и печатать ее нечего, о чем в тот же день ставит в известность Джона Ле-

манна[1]: “Книга глупая и банальная”. После этого разговора Леонард впервые после долгого перерыва помечает в дневнике: “В. нездорова”. И предупреждает о болезни жены Ванессу, которая в тот же день, 18 марта, во вторник, приезжает к Вулфам из Чарльстона. А по возвращении домой пишет сестре письмо, из тех, призывающих к здравому смыслу писем, которые по большей части производят обратный эффект.

Я все думаю о нашей с тобой сегодняшней беседе, и мне кажется, что я выразилась недостаточно ясно. Ты *должна* быть разумной, то есть исходить из того, что мы с Леонардом судим о происходящем более здраво, чем ты. Верно, последнее время мы с тобой видимся редко, но я часто замечаю, что у тебя усталый вид, и я уверена: если ты дашь себе отдых и не будешь ничего делать, то сама ощутишь, насколько ты переутомилась, и будешь рада немного перевести дух. Сейчас ты пребываешь в том состоянии, когда невозможно отдать себе отчет в происходящем, но в теперешней ситуации тебе ни в коем случае нельзя разболеться.

Что мы будем делать, если придут немцы, а ты превратишься в беспомощного инвалида? Что бы делала я последние три года, если б не твоя поддержка? Ты не понимаешь, насколько я от тебя завишу. Поэтому, пожалуйста, будь благоразумной. Делай то, что говорит тебе Леонард, и не скреби полы — по мне, пусть остаются грязными! И Леонард, и я всегда считались людьми разумными — положись на нас.

Твоя В. Б.[2]

На днях позвоню узнать, как обстоят дела.

В воскресенье, 23 марта, Вирджиния написала Ванессе ответное письмо; написала, но не отправила. Ответным, впрочем, его назвать трудно: никакой реакции на советы старшей сестры в нем не было, и по содержанию, и по тону оно было прощальным. Вирджиния, которая и раньше, и теперь лучше всяких врачей знала, что с ней происходит, пишет, что опять сходит с ума, что слышит голоса, что мысли у нее путаются. Леонард очень обо мне заботится, пишет она, пусть Ванесса передаст ему это. И пусть знает: она, Ванесса, и ее дети всегда очень много для Вирджинии значили. О том, что записка эта предсмертная, со всей очевидностью свидетельствует заключительная фраза: “Я сражалась с болезнью, но больше не в силах”.

За два дня до этого, 21 марта, Октавия Уилберфорс приезжает в “Обитель” к чаю, и они с Леонардом, когда Вирджи-

1. Джон Леманн — директор издательства “Хогарт-пресс”.
2. В 1907 г. Ванесса вышла замуж за искусствоведа Клайва Белла.

ния выходит из-за стола, делятся своими опасениями. Октавия готова осмотреть Вирджинию, но, как на беду, по возвращении из Родмелла в Брайтон простужается и несколько дней не встает с постели. Поэтому в Брайтон Леонард и Вирджиния, которая пусть и не сразу согласилась показаться Октавии, смогли приехать только спустя почти неделю, 27 марта.

Консультация не удалась. Вирджиния с места в карьер заявила, что с ней все в полном порядке, что никакой врач ей не нужен и что отвечать на вопросы она не станет. И только после того как Октавия пообещала ей, что не положит ее в лечебницу и что единственным "лекарством" от ее болезни будет отдых от работы и, в самом крайнем случае, постельный режим, — больная согласилась дать себя осмотреть. И в конце концов призналась Октавии, что слышит голоса и боится, как бы опять не начались сверлящие головные боли. Больше же всего боится, что не сможет писать. Октавия нашлась и тут: вас ведь в прошлые разы удавалось поставить на ноги, успокоила она Вирджинию, — удастся и на этот раз; душевные травмы заживают ничуть не хуже физических.

Вирджинию эти слова вроде бы немного успокоили. И Леонарда, соответственно, тоже. Вулфы вернулись в Родмелл, а наутро, 28 марта (день выдался ясный, холодный), Вирджиния, как всегда, спустилась в свой "садовый кабинет" и, как обычно в это время, села писать. Но не роман, не статью и не рецензию, а письмо. Письмо Леонарду. Письмо Ванессе, как мы знаем, уже несколько дней назад было написано. В 11 утра она сказала Леонарду, что ей нужно повозиться на кухне, а потом, перед обедом, она выйдет прогуляться. Ответив жене, чтобы она с полчаса полежала перед прогулкой, Леонард уединился в кабинете. Луи видела, что Вирджиния опять направилась в садовый кабинет, вернулась в дом, поднялась в верхнюю гостиную и положила на камин два письма в синих конвертах, одно Ванессе, другое Леонарду. После чего надела зимнее пальто, взяла толстую палку, с которой, как когда-то сэр Лесли Стивен, ходила по округе по несколько миль в день, спустилась в сад, вышла за ограду и, миновав церковь, спустилась к реке. Возившиеся на берегу местные жители видели, как она направилась в сторону моста — ее обычный маршрут, и не обратили внимания, что, подойдя к реке, в этом месте быстрой и глубокой, она подобрала большой камень, сунула его в карман пальто и вошла в воду.

Все биографии Вирджинии Вулф — а их десятки, и не только по-английски — кончаются одинаково. Письмом Вирджинии

Леонарду. Выйдя среди дня из кабинета послушать новости, Леонард, узнав от служанки, что “миссис Вулф ушла, сказала, что скоро будет”, обнаружил на камине два голубых конверта, на одном из которых значилось его имя.

Пока он дрожащими руками рвал конверт, а потом лихорадочно, перепрыгивая глазами со строчки на строчку, читал написанное, утопившуюся Вирджинию в наглухо застегнутом зимнем пальто, с оттопыренным от камня карманом сильным течением несло под мост через Уз.

Вот это письмо:

Дорогой, я чувствую, что снова схожу с ума. Я уверена в этом, как и в том, что повторения этого кошмара мы просто не вынесем. Я знаю, что больше уже никогда не приду в себя. Я опять слышу голоса и не могу сосредоточиться. Поэтому я собираюсь сделать то, что кажется мне единственно правильным. Ты подарил мне счастье, больше которого не бывает. Ты был для меня всем, всем во всех смыслах. Наверное, мы были самой счастливой парой на свете, пока не началась эта жуткая болезнь, с которой я не в силах больше бороться. Я знаю, что порчу тебе жизнь, что без меня ты смог бы работать. И ты будешь работать, я верю. Видишь, я даже простую записку и ту уже не способна написать. Я не могу читать. Просто мне хотелось сказать, что именно тебе я обязана всем, что было хорошего в моей жизни. Ты был невероятно терпелив и удивительно добр. Мне хочется это сказать, хотя это и без того всем известно. Если кто-то и мог бы меня спасти, так только ты. Я потеряла всё, кроме уверенности в твоей доброте. Я не могу больше портить тебе жизнь. По-моему, мы с тобой были самыми счастливыми людьми на свете.

В.[1]

На оборотной стороне листа значилось: “Уничтожь все мои бумаги”.

1. Перевод Дмитрия Веденяпина.

Андрей Шарый

Балканы. *Очерки об окраинах империи*

Фрагменты книги

...Больших рек нет. Больших гор тоже нет, но те, что есть, весьма живописны. Столица — Экарест. Население — в основном, разбойники. Хобби — убийства королей и государственные перевороты.

Агата Кристи *Тайна замка Чимниз, 1925*

ДВЕСТИ с небольшим лет назад никто в Западной Европе и понятия не имел о том, что такое Балканский полуостров, ведь немецкий географ Август Цойне запустил этот термин в широкое научно-популярное обращение только в 1808 году. Тщательный Цойне, как считается, воспользовался опытом английского путешественника Джона Морриса — тот в конце XVIII столетия совершил вояж из центра Старого Света на его окраину, в Стамбул, и, похоже, на обратном пути захватил с собой в христианский мир экзотическое словечко. Попытки лучше определить неточно обозначенную территорию западноевропейцы предпринимали и раньше. К примеру, на исходе XV века итальянский дипломат Филипп Буонакорси описывал в меморандуме в Ватикан далекий край, обитатели которого называли свою горную родину Балканами. Но вообще вплоть до середины XIX века в просвещенной Европе "восточными странами" — l'Orient — считали все то зыбкое, что уходило по карте вправо и вниз за пределы обозримого из главных тогдашних столиц мира: Россию, Польшу, иногда Богемию, изредка даже Испанию. "Азия начинается за Ландштрассе", — сказал однажды австрийский канцлер Клеменс фон Меттерних, имея в виду восточный пригород Вены. Джордж Гордон Байрон в поэме "Паломничество Чайльд-Гарольда", одна песнь которой целиком посвящена путешествиям по и впечатлениям от Алба-

© Андрей Шарый, 2017

нии и Греции, ни разу не упомянул Балканы. Я искал напрасно: лорд, по-видимому, этого слова просто не знал.

На западе континента обширные территории за реками Савой и Дунаем до начала прошлого столетия часто именовали *Европейской Турцией* (что соответствовало реальности, потому что практически весь Балканский полуостров на протяжении четырех или пяти веков составлял часть Османской империи), а иногда и цветистее — *Европейским Левантом.* В 1863 году основоположник албанистики Иоганн Георг фон Ган предложил термин *Восточно-Европейский полуостров*; постепенно дипломаты, ученые, политики заговорили о *Юго-Восточной Европе* как о территории с общей судьбой. Кровавое второе десятилетие XX века, которое наряду с распадом нескольких империй принесло Европе появление или утверждение на бывших османских и австро-венгерских территориях шести разнородных государств (Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Турции, Югославии), закрепило в мировой политике представление о Балканах как о непредсказуемо непростом целом. Сейчас Балканский полуостров вмещает в себя дюжину стран, и в каждой задают себе вопросы о прошлом и настоящем, ответы на которые почти всегда непозволительно сглажены.

В Османской империи раскинувшиеся "по ту сторону" Босфорского пролива владения именовали *Румелией – страной ромеев* (Рум, Рим — так арабы обозначали Восточную Римскую империю; подданные ее были известны как ромеи, римляне). В византийское тысячелетие на землях полуострова — за исключением тех периодов, когда их отвоевывали тюркские или славянские варвары, — размещался десяток военно-административных округов: *фем*; некоторые (как Фракия или Македония) сохраняли древнеримские названия. "Римская нарезка" была крупнее: в эпоху поздней античности на полуострове помещались шесть имперских провинций целиком и три — частично.

Даже в начале времен у всего были имена, пусть и мифологические. Среди персонажей античного эпоса числился фракийский царь Гем (сын ветра Борея), соединивший свою судьбу с нимфой Родопой (дочерью музы Каллиопы или музы Эвтерпы). Боги Олимпа разгневались, когда эта супружеская чета осмелилась уподобить себя Зевсу и Гере. Как рассказал нам Овидий, в наказание Гем был превращен в Гемские горы, а Родопа — соответственно в горы Родопские:

> Снежные горы теперь, а некогда смертные люди,
> Прозвища вечных богов они оба рискнули присвоить.

В мифах Древней Греции насчет Гемских гор встречается еще одно, более жестокое, разъяснение, согласно которому это название происходит от слова “αἷμα” – *кровь*. Свою кровь пролил на безымянные прежде вершины великан Тифон, олицетворяющий огненные силы земли. Тифон мог бы сделаться властелином над богами и смертными, если бы Зевс не поверг чудище в бездну ударом молнии. В эллинистической традиции Балканский полуостров целиком тоже назывался Гем. С географических карт это название в наши дни исчезло, чтобы, подобно другим античным топонимам, подняться в небеса: Гемские горы теперь находятся на Луне, окаймляют там берега моря Ясности.

Понятие *Балканы* тюркского происхождения и означает *горы, поросшие лесом*. В болгарской историографии закрепилась теория, согласно которой племенам кочевников-булгар, в VII веке вторгшимся в пределы Юго-Восточной Европы, под этим названием был известен протяженный, ровно в 555 километров, хребет (все те же Гемские горы), в новые времена переназванный на славянский манер Стара-Планина (букв. старая гора). Однако историки из других стран категоричны: документальных подтверждений использования в доосманский период термина *Балканы* применительно к привычным для нас теперь балканским землям нет.

Однако само понятие достаточно древнее, потому что в Евразии — в частности, и в тех краях, откуда сначала в Анатолию, а потом и в Румелию пришло османское племя, — есть свои Балканы. На западе пустыни Каракумы тянется к Каспийскому морю хребет Большой Балкан (Балхан). В предгорьях туркменских Балкан хорошеет на углеводородных деньгах город Балканабат, административный центр нефтедобывающего Балканского велаята. В башкирской глубинке, у озера Асылыкуль, есть вершина Балкан (Балкан-тау). Балкантау также — важная улица казахстанской столицы Астаны.

Тюркская (точнее, наверняка татарская) топонимика добралась и до Москвы: в районе трех вокзалов сохранился Большой Балканский переулок (прежде существовал и Малый). Добавлю еще, что какие-то странные остряки присвоили название “Балкан” запущенному в России в производство в конце 2000-х годов автоматическому станковому гранатомету АГС-40. Это страшное оружие массового убийства (самое совершенное в своем классе, чем и гордятся его создатели), если только смерти требуется совершенство.

Первые километры собственно Балканской гряды, Стара-Планины, естественным образом продолжают Южные Карпаты, словно перерезанные дунайским ущельем Железные

Ворота. А последний, самый восточный горный балканский километр — черноморский мыс Эмине, сложенный, как уточняет геологический справочник, из вулканических порфиров. На крутой порфирной скале в шестьдесят метров высотой расположен старый маяк. На болгарском языке слово "мыс" звучит точно и смешно — "нос". Нос Эмине, кончик носа фирменных балканских гор, считается беспокойным местом: здесь часты морские бури, сильны свежие ветра, этот берег вообще опасен для судоходства.

Типология Балкан в общем и целом соответствует их тюркскому наименованию: здесь и теперь множество возвышенностей, поросших буками, дубами, пихтами или соснами, хотя в последние десятилетия почти повсюду велась массовая вырубка деревьев: леса сменяются сначала зарослями вереска и можжевельника, потом лугами, еще ближе к небу простирается царство лысых камней. Балканская горная область не рекордсменка по высотности в Европе, она уступает и Кавказу, и Альпам, и Пиренеям. Вечных льдов здесь нет: в самой холодной точке Балканского полуострова, на вершине Мусала (2925 метров), снежный покров держится семь или восемь месяцев, а в последние годы и того меньше. "Крышу Европы" следует искать в иных краях.

Мусала (ударение на последнем слоге) находится в Болгарии, несколько неожиданно для меня оказавшейся самой высокогорной балканской территорией: в этой стране, представьте себе, насчитали 55 вершин за 2500 метров. В этом отношении Болгария опережает приподнятые к небу Грецию, Черногорию и Сербию, потерявшую многие свои высотные ресурсы после провозглашения независимости Косова[1]. Мусала известна тем, что на ее склонах часто замечают стенолазов — забавных серо-красных птичек, которые умеют, опираясь на хвосты, быстро и ловко лазать по утесам и обрывам.

Самый главный мифический саммит Балканского полуострова, священный греческий Олимп (совсем точно — его высший пик Митикас), немного, но уступает Мусале; шести- или семиметровая разница — один из источников болгарской национальной гордости. Всего в горном массиве Олимп 52 вер-

1. Парламент Косова объявил о независимости края в феврале 2008 г. К середине 2015 г. о признании государственной самостоятельности Республики Косово заявили 108 из 193 стран — членов ООН; в этом списке нет Сербии, России, Китая, Индии, Бразилии, пяти стран Европейского союза, в их числе Испании. Рассказывая в этой книге о Косове, я исхожу из международно-правового определения "частично признанное государство".

шины разной сложности доступа, а Митикас, как почему-то считают романтики, всегда скрыт за облаками. Это неправда: я фотографировал верхушку Олимпа, находясь от нее в непосредственной близости, и могу засвидетельствовать: голубизна неба высоко над Митикасом элегантно сочетается с голубизной Эгейского моря далеко за Митикасом. Истина в другом: там, наверху, всегда холодно и всегда дует сильный ветер. То есть сусальные картинки придворных живописцев, на которых дюжина полураздетых, словно в бане, античных богов в расслабленных позах восседает на облаках, предаваясь праздности, не соответствуют правде жизни: боги быстро замерзли бы.

Олимп вырастает из земель Фессалии и Македонии неожиданно для стороннего взгляда — огромным и довольно четко очерченным каменным горбом. Мы подобрались к этому нагорью с севера, через ничем не примечательный город Катерини, и обогнули Олимп полукругом, потому что собирались начинать восхождение с юга. Один из маршрутов к олимпийским вершинам начинается у базы греческих десантников и ведет ложем слаломной трассы мимо пика Святого Антония на пик Сколио, а он на шесть метров ниже рекордсмена Митикаса, 2912 метров. Для мужчины средних лет весом почти в центнер, но еще энергичного и не одышливого, такое горное путешествие — испытание серьезное, но задача по плечу. На КПП военной базы поднимающихся в небеса встречает улыбчивый автоматчик в лихо заломленном зеленом берете, проверяет документы, записывает номер мобильного телефона, — наверное, чтобы знать, кого придется спасать, — инструктирует насчет возвращения не позже 18.00 и пропускает через расположение части. Переводя на современный городской жаргон, паломничество на Олимп — 400 этажей вверх и 400 этажей вниз: двенадцатикилометровая трасса с перепадом высот в 1250 метров.

Путь вверх — труден, но интересен, спуск с Олимпа — легок, но неприятен, поскольку приходится постоянно концентрироваться, чтобы не угодить ногой на острый камень или в коровью лепешку. Экспедиция выглядит примерно так. Сначала ты с азартом карабкаешься по склону и вовсю вертишь головой по сторонам, потом тебе перестает хватать дыхания, потом ты начинаешь чувствовать мышцы ног, потом чувствовать, как эти мышцы сводит, а потом тебе становится все равно и уже ничего не надо, но ты все карабкаешься, лезешь, упираешься, пыжишься, обливаешься по́том и вот, наконец, подобно гигантскому таракану, торжественно восходишь на вершину, с которой открывается открыточный вид

на сияющие горные пики напротив, на зияющие провалы внизу, на синее Эгейское море и белый город Катерини, за которым, где-то в туманной дымке за сотню километров — Салоники, на соседние горы Пинда и вообще на Вселенную, сотворенную промыслом божьим.

И вот ты глазеешь на вершину Трон Зевса (она же, в православной терминологии — святого Стефана), и проводник Павел, родившийся в Ташкенте сын греческого коммуниста-партизана, эвакуированного в СССР в 1949 году по милости товарища Сталина, показывает тебе, что эта скала и вправду похожа на трон. В настоящий момент трон никем не занят. Да, думаешь ты, на Олимпе вряд ли обитают боги, потому что им в этой пустоте делать совершенно нечего. Здесь не летают орлы, потому что они тут не обитают, а в зените — вместо солнца — у тебя над макушкой барражирует тактический истребитель НАТО.

Каков же практический смысл восхождения на Олимп? Сделать селфи, унести с вершины камешек, загадать по просьбе любимой желание. Можно сунуть мятый клочок бумаги с записью "Мы на Олимпе! Ура! Ура!" в прикованный к бетонному столбику с обозначением высоты почтового облика ящик, к которому никогда не придет почтальон. Можно сложить пирамидку из плоских камней, как это непонятно зачем уже сделали десятки побывавших здесь до тебя путешественников. Ты вспоминаешь, чем пугал путеводитель: "Каждый год Олимп уносит несколько жизней", и в шутку осведомляешься, не потому ли тут стоят пирамидки. Павел весело машет рукой: тут и правда гибнут, но единицы, исключительно по неосторожности и почти всегда зимой, хотя бывает и летом. Тебе почему-то не смешно, и на пути назад ты высматриваешь траурные памятные знаки, но обнаруживаешь только один, и не совсем в тему. Это бюст погибшего в 1941 году при обороне родины от оккупантов генерала-героя Яниса Папарродаса, с высеченным на мемориальном камне вполне древнегреческим стихом с великой первой строкой "Приветствую тебя, о смерть!". Наверняка как раз у этого памятника молодые парашютисты получают значки отличников боевой подготовки.

Проводник Павел — отличный мужик, он все понимает, смотрит в твои выпученные глаза и задумчиво говорит, что на Митикас, пожалуй, сегодня не взойти, поскольку тогда мы не успеем спуститься к военбазе до темноты. До пика Митикас, молчаливого и прекрасного, на самом деле рукой подать, нас разделяют только солнечный ветер и прозрачный воздух, но ползти к этой вершине нужно еще примерно час: сна-

чала по горному хребту, а потом наверх по голой скале едва ли не на четвереньках. А у тебя и без того мелко трясутся ноги, а в голове оглушительно бухают мысли и кровь. Поэтому ты делаешь мужественную паузу — но немедленно соглашаешься очень быстро вернуться. Уже через два часа дневальный солдатик на КПП козыряет тебе — усталому, но довольному, — как старому знакомому, и тут ты понимаешь, что прожил один из важных дней своей жизни. Потому что почти наверняка никогда в жизни ты больше не увидишь этих скал и этих заоблачных гор, больше никогда не достанешь дрожащими пальцами сигарету из своей заветной балканской пачки на самой крыше Олимпа и не затянешься в суровом молчании, глядя в лицо каменной вечности.

Все, что тебе останется — сожалеть об упущенной возможности покорить Митикас и небрежно рассказывать друзьям, что ты поднялся на священный купол Гема и Древнего мира, на гору высотой в неполных три тысячи метров.

Ничуть не больше. Но и ничуть не меньше.

В историко-культурном смысле балканские края осмыслены и изучены несколько хуже, чем самые знаменитые горы — Альпы, иначе говорилось бы не альпинизм, а балканизм, не альпеншток, а балканшток, и луга между поясами кустарника и камня не назывались бы альпийскими. Согласно геологической классификации балканские горы не старые и не молодые: им около 250 миллионов лет, они образовались на стыке мезозойской и палеозойской эр. Нынешние очертания полуострова окончательно сложились в результате движений земной коры два с половиной или три миллиона лет назад. Кора до сих пор колышется, тектоническая активность продолжается, и землетрясения случаются едва ли не каждый год. Последняя по времени большая катастрофа произошла в 1963 году, когда семибалльные подземные толчки разрушили македонскую столицу Скопье, которая потом хотя и была поднята из руин общими усилиями югославских республик, особой красоты так и не приобрела.

Истории, впрочем, знакомы бедствия и поужаснее: доказано, что три с половиной тысячелетия назад извержение вулкана Санторин на эгейском острове Тира (острова Греции тоже считаются частью Балканского полуострова) вызвало мощнейшее цунами, утопившее минойскую цивилизацию на Крите. Легенда гласит: так погибла Атлантида. А вулкан Нисирос на одноименном острове до сих пор "дышит", прогревая почву. Поэтому, когда соберетесь туда, надевайте башмаки на толстой подошве.

ДЕТИ БАЛКАН: АЛИ-ПАША ЯНИНСКИЙ, МУСУЛЬМАНСКИЙ БОНАПАРТ

Османский сановник, управитель обширных земель, занимавших территории современных Албании и севера Греции, Али-паша из города Тепелени стал популярным героем европейской романтической литературы. Колоритная фигура паши, описанная Байроном, Александром Дюма, Мором Йокаи[1], соответствовала "балканскому канону", каким его вывели на Западе. Характер этого человека и в самом деле сочетал коварство и жестокость с острым умом и благородством, повадки разбойника и восточного деспота — с тягой к просвещению и мудрой политике, жажду власти и славы — с искусством переговорщика и религиозной терпимостью. Дюма-отец писал об Али-паше в "Истории знаменитых преступлений" безапелляционно:

Во всей Вселенной он видел лишь себя самого, только себя самого любил и только ради себя старался. Природа наградила его зачатками всех мыслимых страстей, и он посвятил всю свою долгую жизнь их развитию и удовлетворению.

Али-паша родился в 1740 году в семье османского чиновника, албанца из этнической группы тоски. С юных лет промышлял разбоем, принесшим ему деньги и влияние в горных деревнях, затем за взятку был назначен надзирателем над дорожным хозяйством в местной администрации. Храбрость, деньги и хитрость обеспечили быстрое продвижение по службе. В 1788 году Али-паша получил в управление пашалык со столицей в Янине (сейчас административный центр округа Эпир в Греции) — городе, ставшем центром греческого просвещения в Османской империи. Правитель Янины навел порядок в округе, расправился с горской вольницей, установил беспощадный режим налоговых сборов. Заметки о встречах в 1809 году с Али-пашой оставил Байрон, на которого "именитый разбойник", очаровавший гостя приятными манерами, произвел, тем не менее, устрашающее впечатление:

Это безжалостный тиран, повинный в чудовищных жестокостях, прославленный своими победами настолько, что его называют мусульманским Бонапартом.

К началу XIX века власть султана на местах стала непрочной. Управляя Янинским пашалыком в течение 35 лет, Али-паша про-

1. Мор Йокаи (1825—1904) — венгерский романист. Многократно переводился на русский язык, в 2009 г. вышло собрание его сочинений в 8-ми тт.

водил независимую политику: заключал тактические союзы то с англичанами, то с французами, во время Русско-турецкой войны (1787–1791) позволял себе переписку с князем Григорием Потемкиным. Наполеон дважды предлагал паше королевскую корону Албании, рассчитывая в борьбе с Османской империей добиться поддержки одного из самых влиятельных ее феодалов. Некоторые историки полагают, что объективно Али-паша способствовал развитию греческого освободительного движения, хотя и любил проводить карательные акции против повстанцев. Так или иначе, паша очевидно склонялся к сепаратизму, и в 1819 году султан Махмуд II решил покарать зарвавшегося наместника. Описанию трагической гибели Янины Александр Дюма посвятил главу прославленного романа. Пленительная наложница графа Монте-Кристо Гайде – проданная Фернаном Мондего в рабство дочь Али-паши; тот же негодяй Мондего, если верить Дюма, сдал армии султана защищавшую город крепость за две тысячи кошельков золота. Но реальность более прозаична: после многомесячной осады Янины 82-летний паша был застрелен в бою, и его отрубленную голову выставили на обозрение в столице империи. В Тепелени Али-паше установлен памятник, его мавзолей в Янине стал адресом исламского паломничества.

Кое-кому из специалистов балканские горы кажутся несчастливыми: они не таят в своих недрах значительных запасов полезных ископаемых, они часто оказывались недостаточно высокими, чтобы защитить местных жителей от вражеских армий, но всегда были достаточно рельефными, чтобы разъединять соседние племена и народы. Ключевым фактором выживания и самосохранения здесь испокон века считалось тесное семейное, групповое сотрудничество. Фигурально говоря, понятие “род” во многих районах Балкан значило больше, чем понятие “народ”. У многих из тех, кто считает балканские земли своими, есть общая, невзирая на национальность и веру, эмоциональная особенность: сильная привязанность к своему краю, прямо-таки пассионарная гордость за своих “прямых” предков. Это и есть пережившее века чувство балканской родины, имеющее мало общего с государственными границами.

По данным статистической службы “Eurostat”, население Балканских стран в 2015 году составило примерно 72 миллиона человек. Но эти данные вовсе не окончательные, по крайней мере, с мировоззренческой точки зрения. Едва ли вы встретите словенцев, хоть с горного севера республики, хоть с ее приморского юга, которые согласились бы с балканской принадлежностью своей страны. В Любляне и Марибо-

ре предпочитают говорить о Центральной Европе, об Альпийском или Средиземноморском регионе, что справедливо географически, но не совсем корректно с точки зрения истории и политики. Итальянцы из Триеста даже постановку вопроса о Балканах применительно к своей провинции воспримут с недоумением. Уже четверть века, с первого дня государственной самостоятельности, стремится выйти вон из Балкан Хорватия, половина территории которой лежит в пределах полуострова. В Загребе обращают внимание не на правду науки, а на теорию *центральноевропейской и средиземноморской идентичности хорватского народа*, которому кое-кто из местных научных патриотов приписывает не славянское, а кельтское или даже древнеперсидское происхождение. Напротив, Турция и Румыния — важные страны юго-востока Европы, лишь краешками задевшие Балканы, — не скрывают своих интересов в этой зоне и не стыдятся сопричастности ей. Самый центр, сердце полуострова, я разместил бы где-нибудь в Македонии или Косове — их территории так плотно со всех сторон прикрыты сухопутными государственными границами, что кажется: это сделано специально, чтобы оттуда не выветрился особый балканский дух. Может, это география таким образом вмешивается в историю и политику? Ведь жить на горе, под крутой горой, между горой и морем, в окружении гор, на берегу реки, у границы, в окружении близких границ, на острове — означает по-разному смотреть на мир. Отсюда дробление национальных психологий и коллективного сознания. Когда сербы из Воеводины говорят о сербах из Герцеговины или сербах из лесистого нагорья Златибор: “Они совсем другие, не такие, как мы”, — то имеют в виду именно это. География оставила Балканам множество “карманов”, где время идет по своим часам, где консервируются нравы и обычаи, а современность такова, что сразу ее не примешь и не поймешь.

Прав словенский поэт Борис Новак, заметивший, что определение балканских границ — *вопрос не науки, а сердца.* Важнее географических дефиниций оказывается популярное восприятие Балкан как беспокойного общественно-политического пространства, “пороховой бочки”, буйного края, из которого и происходят локальные и всеобщие войны, потоки беженцев и переселенцев, горе да нищета. Такое представление формировалось в XVIII–XIX веках, когда после нескольких столетий доминирования Османской империи христианская Европа обнаруживала, изобретала свой юго-восточный пятачок заново. Порабощенные турками европейские пространства долго представали на Западе сплош-

ным темным пятном, подсвеченным рассказами чудаков-авантюристов и байками оборотистых негоциантов. Эту этнически нерасчлененную территорию едва ли не более плотно, чем живые люди, населяли всяческие тени и вурдалаки. Уроженцев Балкан, оказавшихся зачем-нибудь в просвещенных столицах, часто по *византийской, ромейской* привычке принимали за греков, ставя знак равенства между национальностью и конфессиональной принадлежностью к *греческой вере*, пока не разобрались, что чаще всего эти странные люди бывают славянами.

Так на юго-востоке Европы вызревал "восточный вопрос", в конце концов оказавшийся в центре политики великих держав. По мере того как слабела и отступала к Босфору Османская империя, на полуострове четче прорисовывались новые политические границы. Древнегреческое прошлое на фоне новогреческого восстания 1820-х годов, воспетого стыдившим местных крестьян за трусость лордом Байроном, не оставило европейцев равнодушными. Они сочувствовали румынской, болгарской, сербской эмансипации, потом сопереживали восстанию славян-македонцев, заказывая к обеду в модных ресторанах салат *macédoine,* составленный из разных ингредиентов, подобно тому как на Балканах "мелко нарезались и тщательно перемешивались" разные народы и их обычаи.

Упомяну в этой связи два литературных имени, пусть и не первой величины — французских писателей Пьера д'Эспанья и Кловиса Уга.

Первый из них, названный в справочнике, который я откопал в одной букинистической лавке в Охриде, *страстным исследователем недостаточно известных географических пределов*, посвятил жизнь экзотическим путешествиям. На переломе XIX и XX столетий д'Эспанья побывал в Колумбии, затем отправился в западноафриканскую колонию Ривьер-дю-Сюд (нынешняя Гвинея), а еще позже — скорее всего, по причинам авантюристического толка — в турне по Европейской Турции. В 1901 году д'Эспанья приступил к сочинению романа на македонские темы "Перед побоищем", работу над которым завершил через год на Берегу Слоновой Кости, после чего скончался там же от желтой лихорадки. Его тираноборческая книга посвящена идеалам южнославянской независимости и завершается лозунгом "Да здравствует революция!", под которой понимается всеобщее вооруженное восстание против Османской империи.

Кловис Уг — сторонник Парижской коммуны, депутат, публицист и поэт. По молодости лет он так решительно защищал свои политические взгляды, что не побоялся драться из-за них на дуэли, исходом которой стала гибель противни-

ка. В опубликованном в 1903 году трехчастном стихотворении "За македонцев!" Уг обратился к античному прошлому Балкан, а затем воззвал к совести и чести западноевропейских правительств: они должны были оказать немедленное давление на султана с тем, чтобы восточный сатрап облегчил положение христианских подданных.

Но в политических кабинетах с высокими потолками и аристократических салонах с яркими люстрами кривой треугольник на юго-востоке Европы вызывал, увы, легкое презрение, поскольку его обитатели, как считалось, лишь в малой степени обладали добродетелями, которыми просвещенный свет наделял сам себя: порядком, чистотой, самоконтролем, уважением к закону, чувством справедливости, эффективными социальными институтами. Поведение пусть и симпатичных, но неотесанных горцев не соответствовало представлениям цивилизованного мира о том, каким этот мир быть должен. Да и сами горцы, кажется, не особенно пытались соответствовать высоким международным стандартам. Европейцы поэтому наделяли их, как и детей дальнего Ориента, сомнительной, с точки зрения викторианской морали, триадой качеств: ленью, негой, жестокостью. Едва ли не единственным положительным отличием балканских окраин была характерная для этих краев веротерпимость, пусть относительная, но все же, на фоне кровавых религиозных войн Старого Света, похвальная.

После освобождения балканских народов от власти Османов разные германские королевства и княжества (однажды еще и Дания) выслали в Афины, Софию, Бухарест своих высокородных, но небогатых представителей: формировать новые монархические династии. Немцы и австрийцы осуществили, спускаясь по Дунаю, цивилизаторскую миссию, французы и англичане действовали с помощью займов и кредитных билетов, а Россия поставляла кровь своих солдат, несла православный крест и панславянскую идею. Обслуживавшие этот исторический поход интеллектуалы сконструировали из Балкан образ *другого*, находящегося рядом с *нами*, — близкого, но чужого. Неравного.

В 1844 году почтенный британский путешественник и всемирно известный египтолог сэр Джон Гарднер Уилкинсон совершил вояж на юго-восток Европы, где стояла привычная для Балкан военная пора. Обеспокоенный увиденным, Уилкинсон обратился с письмом к владыке Черногории Петру II Петровичу Негошу с призывом отказаться от обычая отрезать поверженным врагам головы и выставлять их на всеобщее обозрение. Британский историк попытался объ-

яснить своему корреспонденту разницу между "цивилизованной войной" и войной, в ходе которой применяется *шокирующе антигуманная практика.* Петр Негош (православный митрополит) вежливо отказал чужеземцу в его странной просьбе: черногорцы не считали антигуманной традицию мести османским завоевателям, зато полагали кощунством медицинские эксперименты над телами покойных, широко распространенные в продвинутых европейских столицах. Отрубая неприятелям головы, горцы всего лишь фиксировали исчезновение смертельной угрозы для самих себя.

Американский историк Марк Мазовер, анализируя этот диалог глухих, напоминает, что в середине XIX века в западноевропейских странах, критиковавших Балканы за дикость, и не думали отменять публичную смертную казнь. Во Франции, например, преступникам рубили головы на городских площадях вплоть до начала Второй мировой войны. Упоминая об этнических чистках и массовых расстрелах в Боснии и Герцеговине в ходе вооруженного конфликта 1990-х годов, Мазовер резонерствует:

> Опыт нацистского концентрационного лагеря в Маутхаузене показывает, что австрийцы немногому могли научиться у боснийских сербов по части насилия... В конце концов, и ГУЛАГ был придуман не на Балканах.

Американский политический географ Джон Лампе подмечал: тем не менее современная наука вовсе не случайно употребляет понятие "балканизация", превратившееся в синоним сразу нескольких неприятных терминов — "дезинтеграция", "трайбализм", "возвращение к варварству".

На Балканах на западное пренебрежение реагируют с обидой, еще и потому, что не хотят забывать и не устают напоминать: европейская цивилизация, насчет которой вы теперь так надуваете щеки, начиналась именно здесь, на Олимпе и Парнасе. Константинополь столетиями оставался самым большим и самым цивилизованным городом мира. Именно здесь, в византийских пределах, христианская цивилизация сумела уберечь свои традиции, когда Западная Европа в сумерках Средних веков оказалась под властью вчерашних варваров. Именно на этих просторах животворящий золотой крест после многих сражений одержал верх над зеленым полумесяцем, причем вклад в общую победу народов, оказавшихся на линии огня и надолго утрачивавших или вовсе не приобретших государственность, остается недооцененным.

Процитирую американского историка Джудит Херрин:

Самое главное, чтобы вы поняли — современный западный мир не мог бы существовать, не будь он защищен и вдохновлен тем, что происходило на Востоке.

Любой уважающий себя иностранный исследователь Балкан почитает за долг начать монографию об истории Юго-Восточной Европы с упреков в адрес западного общества: не разобрались, самоустранились, проявили высокомерие, не проявили великодушия. Это все правда: до сих пор балканские страны по большому счету томятся в прихожей *Старой Европы*, но если и течет в жилах европейской цивилизации новая и свежая кровь, то эта кровь — балканская. Вот вам Марина Абрамович, вот вам (молодой) Эмир Кустурица, вот вам упаковавший мир в оберточную бумагу Христо, вот вам нобелевские лауреаты Иво Андрич, Элиас Канетти и Орхан Памук, вот Исмаил Кадаре, вот постсоветский кумир Милорад Павич, вот Константин Бранкузи и Эжен Ионеско, вот Мария Каллас и Вангелис, наконец. А если вы не такие высоколобые, если вас не проймешь Аристотелем, афонскими старцами и Славоем Жижеком, то послушайте хотя бы, как зажигают с эстрады Таркан или свадебно-похоронный оркестр Горана Бреговича.

Главным источником балканских невзгод новейшей истории принято считать этническую чересполосицу, вызвавшую в 1990-е годы и формирующую уже на нашей общей памяти представление о сегодняшнем дне как о череде кровавых вооруженных конфликтов, ведущих к заметному изменению политической карты. Если смотреть в корень проблемы, то она, конечно, в запоздалых — по меркам общественных наук — процессах государственного строительства, ведь неслучайно некоторые "политические нации" на Балканах складываются до сих пор: поколение спустя после провозглашения суверенитета. Да, так случилось, и факт есть факт: именно на Балканах столкнулись углами тектонические плиты ислама, православия и западных христианских конфессий. И именно эти европейские фронты (в течение всего последнего тысячелетия и до сих пор) даже важнее просуществовавшего всего полвека железного занавеса.

По большому историческому счету, как считается, цивилизационные швы уже сошлись, но в прорехи просыпалось время и провалилась европейская утонченность. Американские университетские профессора Деннис П. Хупчик и Харольд Э. Кокс, авторы и составители "Краткого историче-

ского атласа Балкан", так описывают эпизод балканского хаоса периода Второй мировой войны:

Албанцы, венгры, немцы из Воеводины убивали сербов на землях под своим контролем. Болгары заставляли славян-македонцев признать себя болгарами. Усташеский режим Павелича в Хорватии пытался либо истребить сербов и евреев, либо обратить их в католицизм. Мусульмане в Боснии поднялись против сербов, чтобы отплатить им за прежние унижения. Сербы отвечали, как только и чем только могли. Образовалось огромное поле битвы между культурами.

Двадцатилетием ранее между Грецией, Болгарией и Турцией произошел принудительный обмен населением: около двух миллионов человек вынужденно сменили страны своего жительства. Малоазийские греки отправились на историческую родину, греческие и болгарские турки — в Малую Азию, а славяне из греческой части Македонии — в Болгарию. Через полвека после победы над нацизмом в ходе вооруженного конфликта (свыше ста тысяч убитых, концлагеря, военные преступления) и в результате этнических чисток два миллиона человек покинули Боснию и Герцеговину. Так на Балканах создавались — и доформировываются до сих пор — исповедующие молодой агрессивный национализм государства.

Так что это хороший вопрос: зарубцевались ли швы?

Максим Осипов

Свента

Путевой очерк

Памяти родителей

ВНУКОВО — самый маленький, самый камерный аэропорт из московских, и, когда прилетаешь в него, да еще в субботу в одиннадцать вечера, столпотворения не ждешь. Отметки в паспорте, чемодан, все быстро:

— Откуда?

— Из Вильнюса.

— Что везем?

Ничего особенного: книжки, сыр. Нормы ввоза продуктов тобой не нарушены — проходи.

Но именно тут, на выходе, тебя ожидает сюрприз: мужчины, плотной толпой. Столько народу может встречать, например, самолет из Тбилиси, но нет, не похожи они на грузин. Нету и приставаний — "Такси, такси в город, недорого", как-то странно тихо, несмотря на толпу. Протискиваешься через нее, а она не редеет, люди не расступаются, но и не мешают нарочно — стоят. Крепкие мужики средних лет, безбородые, в темных пальто и куртках, они как будто не видят тебя. Не огрызнутся, не сделают замечания, если колесами чемодана проехаться им по ногам. Кажется, можно щипать их, колоть — не сдвинутся. Непонятная, темная сила из сна: кто они, куда собрались — в паломничество, на хадж? Сейчас выясним: где тут охрана, полиция?

Пробравшись к стеклянной двери, обнаруживаешь, что она заперта, — там, на улице, тоже толпа, но другая, более пестрая, разнополая. Караулит дверь полицейский, в руке у него какой-то сосуд — как же поздно ты все понимаешь! — да ведь это лампада: вечер Великой субботы, люди замерли в ожидании, скоро благодатный огонь прилетит.

— Спецрейсом, из Тель-Авива. Ждем борт.

"Рак зэ хасэр лану" — только этого нам не хватало — весь известный тебе иврит.

© Максим Осипов, 2017

Через час или два приземлится борт, начальство под телекамеры раздаст мужичкам огонь, и они лампадами повезут его по Москве, Подмосковью и в соседние области. Тогда уж и всех остальных пустят внутрь. Легко найти репортаж: люди едут во Внуково отовсюду — "Приезжаем шестой уже год", "Верим в народ, в страну".

Ничего, ничего, без паники. Полицейский делает знак:

— Третья дверь на выход работает.

Надо снова проталкиваться, волоча чемодан за собой. Так завершается поездка в Литву.

— Какие эмоции вызывает у вас это место? — спрашивает по-английски девушка-корреспондент зарасайской газеты. Она единственная из пришедших на встречу с тобой и Томасом, переводчиком и издателем, не понимает по-русски.

— Для меня Зарасай — не место даже, а время. — Чтоб не искать слова: — Paradise lost, потерянный рай.

Девушка настораживается: товарищ скучает по СССР? — О, нет! Лишь по тем временам, когда были живы родители.

— Вы, что же, впервые в свободной Литве?

В свободной — впервые. Хорошо не чувствовать себя оккупантом. Пробежался по Вильнюсу, все понравилось, но тянуло сюда. Смотришь по сторонам: новая библиотека у озера (весь город на берегу), кафе начала семидесятых, с колоннами, неработающее (там давали комплексные обеды), костел. Памятника вооруженной девушке (Мельникайте) словно и не было. И природа, как обычно в таких городках, привлекательней построенного людьми.

— Почему было не приехать раньше?

Ответить нечего, только плечами пожать. Отец отсюда писал, почти сорок уже лет назад: "Здесь тихо и бесконфликтно. И в доме, и в городе, где сейчас мало людей, и, наверное, потому со мной вежливы даже на почте. И сам порой себя чувствуешь не занюханным москвичом с перегруженной совестью, и мир видишь иначе — ощущаешь его пронзительность".

А вот и собственная твоя дневниковая запись пятнадцатилетней давности: "Хочу в Зарасай, где провел столько времени — каждое лето, подряд столько лет. И все-таки еду туда и сюда, только не в Зарасай. Это и означает — жить не своей жизнью".

Тут ветрено, чисто — почвы песчаные, да и местные жители склонны поддерживать чистоту. Пустынно.

— Просторно, — улыбается девушка-корреспондент.

Да. Вы прощаетесь:

— Приезжайте летом, с компанией.

Неплохо бы. Но из тех, с кем вы ездили в Зарасай, один — в Сан-Франциско, другой — в Амстердаме, с кем-то пришлось рассориться, а несколько человек, включая родителей и сестру, умерли. И ты отправляешься на полуостров, он находится в двух километрах, с южной стороны озера, дорогу ты помнишь — ни навигатор, ни провожатые не нужны.

"Здесь дом стоял..." — двухэтажный, каменный. И следа не осталось, снесли. После смерти хозяев (о которой ты знал) дети делили наследство, дом продали, а покупателям он не пришелся по вкусу, и его уничтожили, со всеми пристройками, сровняли с землей. Хотели сделать что-то свое, но, видно, деньги закончились. Так расскажут соседи, они даже помнят немного вашу семью.

Странно, дом-то был крепкий. С огромным балконом, на него выносили обеденный стол. "Так вот с кем мы дело имеем..." — сказала мама без выражения, — гость ваш, сосед, похожий на Сергея Рахманинова, тоже москвич, сообщил за чаем, что он парторг своего института. Мама была молчалива, особенно в сравнении с отцом, но могла произнести и что-то такое, неудобное, в сторону. Она здесь бывала только в июле и августе, а отец — во всякое время. Летом жил наверху, а зимой — тут приблизительно, где теперь стоишь ты. "И вот сейчас выпархивает птица / Сквозь пустоту тогдашнего окна..."

Стихи стихами — исчезновение дома вызывает растерянность: камни, как выясняется, тоже недолговечны. Печально, хотя, разумеется, есть вещи и пострашней, да и ты не Набоков, не Пруст. Походи между сосен по мягкому мху, подойди к воде. Ни высокие старые сосны, ни худенькие деревца возле берега, ни заросли камышей никуда не девались — вот они, тут как тут.

Такое воспоминание: семьдесят восьмой год, август, — тебе, значит, скоро пятнадцать. С Харитошей, дружком на всю жизнь, одноклассником, вы спустили на воду яхту "Дельфин", гэдээровскую, клееную-переклеенную (тогда было принято вещи чинить), два шверта по бокам — препятствуют дрейфу, дают курсовую устойчивость. Вы отплываете в путешествие по Зарасайскому озеру — ты на стакселе, Харитоша на гроте и на руле. Крутой бейдевинд — готовься откренивать! "Мамаша — до свидания, подруга — до свидания, / Иду я моряком в Балтийский флот". Но у вас оторвался шверт, и вы никак не можете вывести лодку из бухты, волны относят вас к берегу. Вяло, по очереди вы пробуете грести. Отец наблюдает с мостков: он уже не-

сколько раз влезал в холодную воду, выталкивал вас из зарослей. Стоп. У Харитоши идея: “Неплохо бы раздобыть эпоксидки. Шверт присобачить, черт бы его...” — “Ах, эпоксидки!..” Стоя по пояс в воде, отец произносит длинную речь. “Засранцы” — самое теплое слово, которое он подобрал.

Эпоксидка становится именем нарицательным для неуместных идей, а лодку свою ты увидишь — на киноленте, когда начнешь разбирать архив. Начало шестидесятых, к “Дельфину” прицеплен мотор, мачта убрана, отец на корме, мама на водных лыжах катается по Оке. После смерти отца ты стал импульсивен, деятелен, пришло теперь время принять на себя и другие обязанности: вставлять фотографии в рамки, приводить в порядок архив.

После того что случилось с домом, к исчезновению баньки ты совершенно готов — она была ветхая, деревянная. Мылись в субботу, а в пятницу носили из озера воду, заготавливали дрова. “Хорошо поработали”, — говорил ты десятилетним мальчиком Йозасу, высокому худому хозяину с огромными, очень сильными, черными от работы руками, тебе хотелось к нему подольститься. “Да, дали просраться”, — отвечал он мечтательно. Йозас курил сигареты без фильтра: запах горелой спички и прочее — если захочешь, то вспомнятся и банные приключения, но опять же это путевые заметки, не фильм “Амаркорд”.

Итак, ни дома, ни баньки, и даже мостки заменили на нечто безвкусно-фундаментальное. Не застревай тут, на полуострове, бери с собой Томаса и поезжайте на Свенту, но перед этим — в лес.

Женщина-библиотекарь нарисовала план: шоссе на Дягучяй, поворот на Дусетос, потом, после второй автобусной остановки высматривайте указатель. “Место гибели восьми тысяч евреев, расстрелянных немецкими фашистами 26 августа 1941 года”. Слово “евреи” на обелиске казалось невозможной смелостью, во времена твоей юности это слово употреблялось только в особых случаях — не советскими же гражданами было их называть. Слева и справа — ров, поросший травой, двести тысяч литовских евреев лежат в таких рвах.

Десоветизация коснулась и памятника: русскую надпись убрали. Правильно ли? — решать не тебе, ты бы ее сохранил. Теперь тут две надписи — идиш с литовским. “На этом месте нацистские убийцы и их пособники зверски убили восемь тысяч евреев — детей, женщин и мужчин. Священна память невинных жертв” — идиш. В литовском варианте к пособникам добавлено уточнение — “из местных”.

Были и те, кто спасал. И кто сначала расстреливал, а позже спасал, и даже наоборот — в это трудно поверить, однако бывало и так.

Порядок поддерживается образцовый: ограда, аккуратный бордюр, на обелиске Звезда Давида, на постаменте свечи, флаги Израиля, камушки, кто-то принес небольшой самодельный крест. Этого прежде не было.

— Терпеть, оплакивать, — говорит Томас, — удел литовцев.

Все знают здесь анекдот про то, что последней женой непременно должна быть литовка: будет кому за могилкой смотреть. Нет, это не “женщины сырой земле родные”, напротив — поиски бытового выхода из любой, самой страшной, жизненной ситуации.

По дороге в гостиницу вспоминается невысокий мрачный старик лет шестидесяти, “из местных”, с почерневшим от пьянства лицом, слесарь или электрик, ездил на мотоцикле с коляской, сколько-то лет отсидел: “Поляко́в — к стенке. Русских — к стенке. Жидов... — он поднимал глаза на отца, — жидов через одного”.

Теперь бы это с рук ему не сошло, а тогда, хоть и без умиления, терпели: ведь оккупанты. Žydai — другого слова в литовском нет. Старик этот тоже смотрел на себя как на жертву, со всех возможных сторон. Радио “Свободная Европа” вплоть до середины пятидесятых передавало им, лесным братьям, утешительные сообщения: держитесь, ребята, осталось немного, скоро опять мировая война.

На Свенту в прежние времена выезжали на целый день — с пледами и едой, с книжками, с кружками для черники, корзинами для грибов, с волейбольным мячом, и машина была такой, что через дыры в полу виднелся асфальт, и коробка передач была, разумеется, механической. Как же вы подняли на смех маму, когда она, позже уже, с наступлением свободы, приехала из Америки и сообщила, что машины теперь не имеют педали сцепления — такого не может быть! — и она согласилась: вам лучше знать. И как бы хотелось теперь поделиться с отцом простой радостью — от совершенства автомобиля, пусть и взятого напрокат. Дорогу можно не спрашивать — ее указывает навигатор. Он предлагает Свентское озеро, Sventes ezers, — то, что надо. У тебя самого на обложке “Maksimas” написано.

Это что же, граница? Разве Свента находится в Латвии? Конечно, вы ведь ездили в Даугавпилс, когда зачем-нибудь нужен был настоящий город. Там Ленин возле вокзала в шапке-

ушанке стоял в любую жару, и большая тюрьма. ЛитССР, ЛатССР — границы носили характер не слишком серьезный. А вот и дорога знакомая, с гравием, тут ты учился водить. И лес — больной, неухоженный. Все знакомо: дорога и лес.

Туристов, видимо, мало, и нет запрета на то, чтоб подъехать к воде. Многолюдно на Свенте и не было — одна из причин любить ее, — раньше, однако, здесь был заповедник: никаких костров и машин. А все остальное по-старому: вот он — песочек, вот плоскодонка с черным, блестящим, жирно просмоленным дном, а вот и мостки, подгнившие, тебе так не хватало мостков. Пробуешь по ним походить и оказываешься по щиколотку в воде. Сушишь ноги, оглядываешься.

“Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? / Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек”. Не отсюда ли, прячась за теми деревьями, ты оглашал окрестности ревом трубы? “Поэма экстаза”, “Гибель богов” — этот рев ты считал музицированием. “Неритмично, зато фальшиво”, — друг-пианист, тот, что теперь в Амстердаме, уговорил оставить трубу, перейти на флейту — тихий, чувственный инструмент, — полюбить ее не удалось. Ощущение счастья все равно как-то связывается с трубой.

О тайнах счастия. Последнее написанное отцом письмо заканчивается так: “Собрались вместе — говорим или молчим, и нет уже чувства того, что жизнь состоялась или не состоялась. Иногда я думаю: может быть, мы как раз счастливы?” Пытаешься рассказать Томасу о родителях, но как сообщить тайну личности? — это даже сложнее, чем переводить стихи.

“Нас могут ждать всякие потрясения. Каждого человека они могут ждать, нас тем более. Надо действовать так, чтобы мы их меньше боялись”, — отец, например, хорошо помнил, как в какой-то момент (дело врачей и вокруг) он не мог найти самой простой работы, как почти что с надеждой ждал депортации на Дальний Восток: лишь бы всем вместе, лишь бы рядом были свои. Письма его носили характер скорей назидательный, он спешил тебе что-то важное сообщить, а для мамы это был способ продлить молчание. “День провела, как в поезде: просыпалась, засыпала и ничего не делала... А болтаю я просто так, нельзя же молчать в письме”.

Некоторое время постоять еще у воды, выкурить сигаретку, повспоминать о чем-то необщем, съесть мандарин. Мертвовато тут, тихо — кладбищенской тишиной.

И лишь вернувшись в гостиницу и изучив обычную карту, бумажную, ты поймешь, что ошибся. Свентес, Швянтас, Швянтойи, Святое озеро и Святая река — названия эти встречаются и по ту, и по эту сторону от латвийской грани-

цы. Озеро Швянтас — вот что вы звали Свентой, вот куда ты хотел попасть. Как же ты так обознался, обдернулся? Разница в птичке, гачеке: Šventas ežeras, ехать на юг, на Турмантас, ни в какую ни в Латвию.

Томас скажет:

— А вы все узнали, Максим: и дорогу, и озеро.

Да, узнал.

По пути в Вильнюс вы сравниваете впечатления. Для Томаса кульминацией вашей поездки стал грохот грузовиков по булыжнику возле костела, ветер и град, а ты и внимания не обратил. Странно с этими воспоминаниями: бывает, послушаешь целый концерт, а всего-то потом и вспомнишь, что на дирижере носки были красные.

Аисты и холмы, и много воды, небо напоминает голландское, но пейзаж выразительней — из-за холмов. Как бы жилось тут тебе? Да, провинция, но не провинциально, не чересчур. Просто такая страна в Восточной Европе — во многих отношениях только завидовать. Все здесь наладится потихоньку, если не будет воздействий извне.

"Когда я была столпом общества..." — одна немолодая твоя приятельница с этого любит начать свою речь. Может, вправду была. И в Литве есть любители вспомнить о временах, когда Великое княжество простиралось до Черного моря (главным образом, за счет удачных женитьб), но здесь из былого величия не извлекают практических выводов. "Вы просто всего не знаете", — слышал такое и в Париже, и в Риме от антиевропейски настроенных русских людей. Только и разговоров: там-то и там нас не любят. Друзья мои, больше всего нас не любят дома, в Москве.

"Надо действовать так, чтоб мы меньше боялись..." Тогда тебе не было двадцати, теперь уже больше пятидесяти. Говоришь Томасу:

— Поразительным образом все вернулось. Мои заботы тридцати-с-лишним-летней давности были ровно теми же, что сейчас: 1) не замараться, не испаскудиться, 2) не сесть и 3) не пропустить момент, когда будет пора уезжать насовсем. И надежда прежняя, призрачная: вот проснемся однажды, а весь этот морок закончился.

Обстоятельства вынуждают, однако, не спать, поглядывать в разные стороны, крутить головой. Остроумный приятель твой скажет: у князя Андрея Курбского были похожие настроения. Для Курбского и закончилось все Литвой.

"Выходи к помойке", — пишет на телефон Bóris, друг Боречка, большой музыкант, скрипач, недавно он перебрался сюда

из Лондона. Мужественно сражается с литовскими суффиксами — žmogus, žmonija, žmogiūkštis, žmogiškumas (человек, человечество и т. д.), — хотя в Литве, говорят, вполне можно обойтись английским и русским. Кстати, птички над буквами, гачеки, изобрел Ян Гус.

Боречке хочется, чтобы город тебе понравился, он тебя водит туда и сюда, извиняется за всякие некрасивости, вроде той же помойки, подумаешь! Жизнь не богатая, но и не нищая, а главное — запретов, ограничений, шлагбаумов и другого мучительства меньше, чем ты привык за последние годы в Москве. Вильнюс хорош: чисто, но не прилизано. Там, где тебя поселили, — помесь Серпухова с Парижем, а старый город — очень особенный, ни на какой другой не похож.

— Всюду масса проблем, — улыбается хозяин артистического кафе.

Опытный человек, он успел пожить и в Израиле, и в Америке, чуть ли даже не в Иордании, и знает, о чем говорит. А ждет ли он, например, что спецслужбы (кто знает, как они называются?) отожмут у него кафе, и спасибо, если в тюрьму не посадят? И никакая Amnesty International ухом не поведет. Он искренне удивлен: нет, ничего подобного ждать не приходится, какое все-таки счастье, что распался Советский Союз! Ты тоже мечтал об этом, еще до всякой Литвы, еще когда восьмилетним мальчиком читал Диккенса, “Пиквикский клуб”. И знал, что есть такой город Лондон, в книгах, на картах, но увидеть его — не мечтай, сынок.

— Видно, что автор мало знаком с теорией прозы Виктора Шкловского, — произносит один из слушателей, негромко, однако отчетливо. Здоровенный литовец, работает в Вильнюсской обсерватории. Трудно не быть высокомерным, если работаешь в обсерватории.

Разговоры, чтения — по-русски. Для кого тогда, спрашивается, было книжку переводить? Ответ известен: для автора. — Поэтому кто у нас пойдет в магазин? — Это, правда, тебе было сказано совсем в другом месте, хотя и по сходному поводу.

Ужупис, район свободных художников, с шуточной конституцией и правительством (Томас в нем занимает немалый пост) — здесь ты прочтешь свой рассказ “Фантазия”:

“— Хьюстон... — произносит Ада задумчиво. — Мы, Андрюш, в Вильнюсе квартиркой обзавелись. <...> Вильнюс, рассуждают они, от всего не спасет. Впрочем, с израильским паспортом... — Ого, у них и израильский паспорт есть?” — и слушатели заулыбаются, и в конце подойдет москвич, твоих приблизительно лет, выпускник физматшколы и доктор на-

ук, — окажется, что квартирка, в которую тебя поместили, — его, он только что не помашет у тебя перед носом лессе-пассе, израильским паспортом, но у него он есть. Значит, рифма найдена, число в ответе получилось целое, не какая-нибудь иррациональная галиматья.

— Приезжайте почаще, а то и давайте уже насовсем. Поверьте, тут есть, что любить.

И дружеские враки будут, и бокал вина — не один. "Вы просто всего не знаете", — тут никто ничего подобного не говорил. В последний день пребывания в Вильнюсе начинаешь встречать знакомых на улице. Вильнюс способен отвлечь и развлечь — ровно настолько, насколько надо. "Разве мне может быть грустно, оттого что тебе хорошо?" Разделить чувство радости — для этого человеку идеально подходят родители. Все, займи свое место и стань пассажиром, сядь ровно, ремень пристегни.

Мечты отпадают одна за другой — некоторые оттого, что сбылись, но в основном за ненужностью. Отцу хотелось, чтоб ты стал доктором медицинских наук, — зачем? Или: присмотришь было красивое кладбище над Окой, на другой стороне, условишься обо всем с женщиной, которая им заведует, но вдруг это станет совсем ни к чему — тихие, уютные кладбища есть и здесь, под рукой, на твоем берегу.

Там есть, что любить, — это точно. И тут тоже есть, еще как! — только б найти просвет между темными, твердыми дядьками, заслонившими выход, выбраться на простор. Но о дядьках все уже сказано. Вспомни тех, кого любишь, — хотя бы священника, который всех твоих родственников хоронил. "Аристократизм и простота, в нем есть лучшее, что есть в русских людях". Об этом и думай, на воду смотри, вспоминай Литву.

Сильно за полночь ты окажешься дома. Останется выйти в сеть и вместе с родными прочесть из первой главы Иоанна, с начала и по семнадцатый стих — на славянском, английском, немецком, русском. Такая у тебя будет Пасха в этом году.

Таруса, апрель 2017 года

Ада Леверсон
Полное собрание пародий на Оскара Уайльда

Перевод с английского и вступление Михаила Матвеева

В 1895 году Бернард Шоу в своей рецензии на пьесу Уайльда “Идеальный муж” воскликнул: “...я в Лондоне единственный человек, который неспособен сесть и, не раздумывая, написать оскар-уайльдовскую пьесу”.

В 90-е годы XIX столетия Оскар Уайльд был в зените славы и литературного успеха. Его стилю, его манерам, его произведениям подражают, множество пародий на “Портрет Дориана Грея” и на уже написанные им к этому времени пьесы появляются одна за другой. Мнимая легкость и кажущаяся очевидность литературных приемов Уайльда вдохновляли чуть ли не всех и каждого попробовать себя в сочинении добродушных, но порой и злых, талантливых и — часто — безвкусных пародий на Уайльда. Уайльд доброжелательно и с пониманием (иногда снисхождением) относился к пародиям на себя и свои вещи, но из многочисленных авторов высочайшей оценки Уайльда удостоился лишь один — автор небольшого этюда “Утренний прием”, напечатанного в “Панче”15 июля 1893 года.

© Михаил Матвеев. Перевод, вступление, 2017

Уайльда настолько развлекла эта анонимная пародия, что он выразил желание познакомиться с ее автором. А когда такая встреча состоялась, Уайльд был поражен, что автором оказалась женщина — Ада Леверсон, и он не мог не выразить ей свое восхищение, назвав ее самой остроумной женщиной в мире, она же всегда считала Уайльда самым остроумным человеком на планете.

Такова беллетризованная версия этого знаменательного для обоих события, рассказанная Осбертом Ситвеллом[1]. Сама Ада Леверсон вспоминает, что познакомились они задолго до опубликованных ею пародий еще в 1892 году на вечере у Освальда Кроуфорда. "Когда я познакомилась с ним, — вспоминала она, — старые легенды, относящиеся еще к его ученическим годам, продолжали окутывать Оскара Уайльда своей дымкой, и я была немало удивлена, встретив его не бледным и томным юношей в коротких штанах и с лилией в руке... Он уже давно оставил свои эстетские позы 80-х годов..."[2].

Ада Леверсон (урожденная Беддингтон) — несомненно, женщина, стоящая всяческого внимания. Она родилась 10 октября 1862 года. В девятнадцать лет вышла замуж за богатого лондонского ювелира Эрнеста Леверсона. Позднее, уже в XX веке, ей предстоит стать довольно известной романисткой, чей стиль будут сравнивать со стилем Джейн Остин, а пока — в 90-е годы — она пишет скетчи и этюды для "Блэк энд Уайт" и "Панча" в манере, в которой позднее критики найдут сходство с манерой Бирбома и Саки, принимает деятельное участие в создании знаменитого альманаха "Желтая книга". Она — центр модного литературного кружка. "Для молодого человека 90-х самым важным событием в жизни, — вспоминает издатель Грант Ричардс, — была встреча с Адой Леверсон"[3]. Среди друзей Ады — писатели, издатели и художники: Обри Бердслей, Макс Бирбом, Герберт Бирбом Три, Джон Грей, Джон Лейн, Чарльз Рикеттс, Роберт Росс, Уилл Ротенстайн, Уолтер Сикерт,

1. Sitwell, Osbert. Noble Essences or Courteous Revelations. — London: MacMillan & Co. Ltd, 1950.
2. Цит. по: Жак де Ланглад. Оскар Уайльд, или Правда масок / Перевод В. Григорьева. — М.: Молодая гвардия, 1999.
3. Цит. по: A. Kingston. Oscar Wilde as a Character in Victorian Fiction. — N. Y.: Palgrave Macmillan, 2007.

Джон Сарджент, Чарльз Шеннон. И это далеко не исчерпывающий список близких Аде Леверсон фигур британского fin de siècle.

Но именно дружба с Уайльдом стала для Ады Леверсон фактом, украсившим и обогатившим ее литературную биографию.

От Уайльда Ада получила прозвище Сфинкс, и Уайльд всегда будет уверять ее: "Вы — самая замечательная Сфинкс в мире", "Вы — моя единственная Сфинкс", "Я очень рад, моя дорогая Сфинкс, что никакой другой голос, кроме Вашего, не достаточно музыкален, чтобы вторить моей музыке". "Дорогая Сфинкс", "Сфинкс современной жизни", — обращается он к Аде в многочисленных письмах и еще более многочисленных телеграммах. Количество телеграмм было настолько велико, что Ада собиралась издать том под названием "Избранные телеграммы Оскара Уайльда".

Их диалоги, сохраненные в памяти современников, могли бы, кажется, составить пьесу, не уступающую лучшим уайльдовым образцам. Примеры таких диалогов многочисленны, и мы не можем отказать себе в удовольствии привести в качестве примера хотя бы два из них.

Как-то миссис Леверсон, обнаружив в сборнике Грея "тоненькую речушку текста, петляющую среди незасеянных книжных полей", предложила Уайльду опубликовать книгу, состоящую из одних полей, полную прекрасных невысказанных мыслей. Уайльд одобрил этот план: "...книга будет посвящена Вам, а проиллюстрирует ненаписанный текст Обри Бердслей. Тираж будет состоять из пятисот подписанных экземпляров для близких друзей, шести экземпляров для широкой публики и одного для Америки"[1].

Или другой, менее изощренный диалог из той же воображаемой нами пьесы: "Оскар Уайльд рассказывал Аде Леверсон, что в прогулках по Парижу его сопровождал преданный ему парижский бандит с ножом в руке. "Я уверена, что в другой руке у него была вилка", — ответила Ада"[2].

Любопытно, что на рубеже тысячелетий, в 2000 году, в Ирландии состоялась премьера пьесы — с простым названием "Оскар и Сфинкс", в основу которой легли воспоминания Ады.

Но дружба Уайльда и Ады Леверсон не ограничилась обменом остроумными репликами, встречами в театральных ложах, приемами у Леверсонов, ужинами в "Кеттнерс" или у Виллиса. Ада стала, пожалуй, самым верным другом Оскара Уайльда. Супруги Леверсон не отвернулись от Уайльда ни во время, ни после суда над ним, когда блистательный Уайльд стал парией в английском обществе. Они помогали ему и деньгами, и участием, принимали в своем особняке на Кортфилд-гарденз. Уайльд сохранит благодарность своим преданным друзьям. 20 мая 1897 года он пишет из Дьепа: "Милая Сфинкс!.. В длинные темные дни и ночи моего заточения я час-

1. Цит. по: Ричард Эллман. Оскар Уайльд / Перевод Л. Мотылева. — М.: Издательство Независимая Газета, 2000.
2. К. В. Душенко. Мысли, афоризмы и шутки выдающихся женщин. — М., 2011.

то думал о Вас, и встреча подтвердила, что Вы все так же добры и прелестны. Прекрасное — всегда прекрасно... прошу передать сердечный привет дорогому Эрнесту, которого я был счастлив вновь увидеть. Вечно любящий Вас Оскар Уайльд"[1].

После отъезда Уайльда во Францию они не встречались. Еще во время процесса Уайльд спросил Аду: "Сфинкс, если случится худшее — Вы будете мне писать?", — и... Ада пишет ему в Париж: "Мой милый Оскар!.. Лишившись божества, Сфинкс умолкла и может только разбрасывать по иссохшей земле бессмысленные обрывки фраз. Прошу Вас, напишите. Вечно Ваша, милый Оскар, Ада"[2].

Уайльд никогда не обижался на пародии Ады, и все же ее "замечательные, остроумные, восхитительные [сатирические] эскизы — такие легкие и в то же время наводящие на размышления, исполненные esprit[3] и дружеской приязни" [4] остались в прошлом. И если в 1889 году Уайльд писал Уолтеру Гамильтону: "...я никогда не собирал пародии на мои стихи. Собирать эти однодневки — все равно что пытаться удержать пену в сите"[5] , то Аде он настойчиво советовал собрать ее пародии и издать отдельной книжкой. Уайльд высоко ценил этот жанр (в лучших его образцах) — неслучайно, если верить Питеру Акройду, он заметил: "... я пошел еще дальше и заключил, что чуть ли не все формы и обычаи в искусстве и жизни находят самое полное выражение в пародии" [6].

Четыре пародии Ады на Оскара Уайльда были опубликованы в "Панче" анонимно (как и многие другие ее пародии на Бирбома, Киплинга, Джорджа Мура, Обри Бердслея) в короткий период с 1893 по 1895 годы.

Пародийные приемы Ады Леверсон довольно просты, но просты в той же мере, как кажущаяся очевидность приемов Уайльда. Хотя она и использует популярный в модернистской литературе прием монтажа, компонуя цитаты из самых разных произведений Уайльда, меняя причину и следствие в его парадоксальных фразах ("...уродливое — источник всяческого прилежания" вместо "Прилежание — источник всего, что только есть уродливого"), вводя отрицания там, где их не было у Уайльда, результат всегда получается неожиданным и комичным. Создавая свои парадоксы фактически из трюизмов, Уайльд прибегает к тому же приему, который, собственно, и подвергается пародированию, и, тем не менее, Аде Леверсон удается избегать банальности. При этом становится ясно, какие этические и эстетические интенции вызывают у нее симпатию. Сочувствуя, к приме-

1. Цит. по: Оскар Уайльд. Письма / Перевод В. В. Воронина, Л. Ю. Мотылева, Ю. А. Рознатовской. — М.: Аграф, 1997.
2. Цит. по: Питер Акройд. Завещание Оскара Уайльда / Перевод Л. Мотылева. — Иностранная литература, 1993, № 11.
3. Здесь: остроумие (*франц.*).
4. Из письма Уайльда. Цит. по: A Kingston. Oscar Wilde as a Character in Victorian Fiction.
5. Цит. по: Оскар Уайльд. Письма.
6. Цит. по: Питер Акройд. Завещание Оскара Уайльда.

ру, некоторым сторонам эстетизма, эстетскую напыщенность она явно высмеивает.

"Утренний прием", считающийся пародией на "Дориана Грея", представляет собой пародию, пожалуй, на все лондонские спектакли 90-х годов. Лорд Генри, лорд Иллингворт, принцесса Саломея, а также персонажи Ибсена, Сарду, Пинеро и прочих драматургов и писателей обмениваются псевдоуайльдовскими репликами.

О пародии на поэму Уайльда "Сфинкс", пожалуй, следует сказать особо: вдохновленная, вероятно, всего лишь удачно найденной рифмой "Sphinx-Minx", она не оставила Уайльду выбора, и ему оставалось только соглашаться: "...в конце концов, она [Sphinx] действительно была блудницей [Minx]", — и в очередной раз расточать комплименты "своей единственной Сфинкс".

Хотя "Подслушанный фрагмент диалога" и "Как неблагоразумно быть найденным в саквояже" явно пародируют "Идеального мужа" и "Как важно быть серьезным", но и в них находится место и лорду Иллингворту и Дориану Грею. Что касается последней пародии, стоит вспомнить, что Обри Бердслей был полон решимости сделать к ней иллюстрацию. "Я, разумеется, сделаю небольшой рисунок с тем же названием[1], только если Вы дадите мне несколько советов", — писал он Аде Леверсон, принимая приглашение в ложу Леверсонов на премьеру "Как важно быть серьезным". Возможно, Ада предлагала Бердслею проиллюстрировать пародию для "Панча", но пародия в "Панче" вышла без иллюстраций.

"Герцог Бервикский поднялся и демонстративно покинул сад. Погода была по-прежнему восхитительна". Так завершается последняя опубликованная пародия Ады. В "Панче" она появилась незадолго до разразившегося скандала и суда над Уайльдом. Тучи над Уайльдом сгущались. Погода была уже не такой восхитительной, и "...пародия, муза насмешливая"[2], так развлекавшая Уайльда, больше не привлекала Аду.

Совету Уайльда, насколько нам известно, Ада не последовала, и ее пародии отдельным изданием так и не вышли — они остались на тесных страницах "Панча". Мы же предлагаем вниманию читателей (очень хочется сказать — без ложной скромности — впервые!) "Полное собрание пародий на Оскара Уайльда, принадлежащих перу Ады Леверсон".

1. Комментаторы считают, что имеется в виду именно "Как неблагоразумно быть найденным в саквояже".
2. "...пародия, муза насмешливая, всегда забавляла меня; однако тут нужны легкость, воображение и, как это ни странно, любовь к пародируемому поэту. Его могут пародировать только его же ученики – и никто больше". Из письма Уайльда Уолтеру Хамилтону. Цит. по: Оскар Уайльд. Письма.

— Здесь полно знаменитостей. Видите ту высокую женщину в черном, беседующую с маленькой старой леди? Это — миссис Арбетнот — женщина, стоящая внимания, а ее собеседница — тетка Чарлея. А тот спортивный молодой человек — капитан Коддингтон, на время сезона он в городе.

— А кто те двое мужчин, столь похожих друг на друга. Они такие высокие и мрачные, курят папиросы с золотым ободком и говорят эпиграммами? — спросил я. Мне захотелось узнать, что это за люди, а особа в серебряном домино[1] казалась хорошо осведомленной.

— А, это лорд Иллингворт и лорд Генри Уоттон. Они всегда говорят одно и то же. Они очень умны и столь же циничны. А те две леди, о чем-то оживленно болтающие друг с другом, известны как Нора[2] и Дора[3]. О каждой из них можно рассказать прелюбопытную историю.

— Хотя бы одну историю можно рассказать о каждом из здесь присутствующих, — заметил я.

— Ну, у Норы с мужем все не очень хорошо складывается. Он счел танец с юбками[4] отвратительным. Более того, он простил ей подделку его подписи в письме с отказом денег на свадебный подарок принцессе Мэй[5]. Человек, который может прощать подобные вещи, решила Нора, может простить что угодно[6]. Так что она ушла из Кукольного дома.

— И правильно сделала. А это не графиня ли Зика[7]? Я, кажется, узнаю аромат ее духов.

— О да! Это она. А рядом с ней красивая итальянская леди мадам Сантуцца[8]. Здесь можно встретить людей любого сорта. Вы знаете, миссис Тэнкерей[9] тоже здесь.

1. Вероятно, намек на книгу Марии Корелли “Серебряное домино” (1892), серии сатирических портретов ее знаменитых современников. Глава 10-я посвящена Уайльду. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Персонаж пьесы Ибсена “Кукольный дом”.
3. Заглавный персонаж пьесы Викторьена Сарду.
4. Танец получил распространение в конце XIX в. в Англии, длина юбки в таком танце достигала 12 метров.
5. Принцесса Мэй, Мария Текская. Вышла замуж за герцога Йоркского, будущего короля Георга V. Специально созданный комитет “Девушки Англии и Ирландии” собирал деньги на свадебный подарок.
6. Ср: “Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум...” (“Портрет Дориана Грея”). Цитаты из романа здесь и далее даны в переводе М. Абкиной.
7. Персонаж пьесы Викторьена Сарду “Дора”.
8. Персонаж оперы Пьетро Масканьи “Сельская честь”.
9. Паола Тэнкерей — героиня драмы “Вторая миссис Тэнкерей” (1893) английского драматурга Артура Пинеро.

"The unlovitable in pursuit of the indigestible," murmured Lord Illingworth.

— Принцесса Саломея! — возвестил слуга.

Казалось, чуть слышный ропот удивления пронесся по залу, как только прекрасная принцесса предстала собравшейся публике.

— Что она тут делает? — спросила Порция[1].

— Это так, пустяки, — сказал мистер Уокер, Лондон[2].

— А я думала, что в английском обществе ее не принимают, — смущаясь, произнесла леди Уиндермир.

— Могу вас уверить, дорогие мои, — воскликнула тетка Чарлея, — что ее не принимают и в Бразилии, где полно диких обезьян.

— Вреда от нее не будет. Да, она весьма своеобразная особа и очень любит блюдо из кабаньих голов. Но это пустяки, — сказал мистер Уокер.

— Верный путь к несварению желудка, — пробормотал лорд Иллингворт, зажигая папиросу.

— Это рыба под майонезом? — спросила принцесса Саломея капитана Коддингтона, который сопроводил ее к буфету. — Полагаю, это рыба под майонезом. Я уверена, что это рыба под майонезом. И это лосось, розовый, как ветки кораллов, которые рыбаки находят в сумерках моря и преподносят царям[3]. Он еще более розовый, чем розовые розы, которые цветут в саду царицы. Розовые розы, которые цветут в саду аравийской царицы, не такие розовые.

— А вот тот выходец из Индии? — спросил я. — Кто он? Он пьет бренди с содовой и выглядит таким утомленным.

— О, это — простой молодой человек. Он с гор[4]. Странно, но я испытываю к нему большую симпатию. И, между про-

1. У Оскара Уайльда есть сонет "Порция", посвященный Эллен Терри.
2. "Уокер, Лондон". Таково название пьесы Джеймса Барри, создателя Питера Пена. Персонажа такого в пьесе нет. Но раз уж он мистер, то само название пьесы должно стать персонажем этюда Ады Леверсон. О пустяках же говорит на протяжении всей пьесы персонаж Джаспер Фиппс.
3. "Твой рот, как ветка коралла, что рыбаки нашли в сумерках моря и которую они сберегают для царей". О. Уайльд. Саломея. Перевод Бальмонта.
4. Намек на сборник рассказов Р. Киплинга "Простые рассказы с гор". В книге "Серебряное домино" Корелли пишет: "...я каждый раз плачу, когда переворачиваю священные страницы 'Простых рассказов с гор', поскольку я знаю, что на них я найду все, что уже было и что еще будет в литературе".

чим, знаю почему. И почему на мне серебряное домино. Но вы этого не знаете.

— Поговорим об этом в другой раз, — сказал я. — Давайте заглянем в курительную[1]. Там мы наверняка найдем Выдающегося Человека, Обычного Человека, Поэта, Журналиста и Всего-Лишь-Юнца, и они все будут говорить восхитительные вещи и непременно на самые животрепещущие темы.

— Это все Барри, — обронил Всего-Лишь-Юнец в своей обычной несносной манере.

Присутствующие попытались втянуть в разговор лорда Иллингворта.

— Каких женщин вы считаете неиспорченными? — спросил Журналист.

— Женщин, которые восхищаются испорченными мужчинами, — ответил лорд Иллингворт,

— А испорченными мужчинами?

— Мужчин, которые курят папиросы с золотым ободком.

— И кого же вы предпочли бы? Или из двух зол... — спросил Всего-Лишь-Юнец с вызовом.

— ...конечно выбираем лучшее. Женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Но всякое искусство тут совершенно бесполезно.

— Послушайте! — воскликнул лорд Генри, доставая из кармана своего друга золотую спичечницу с затейливой резьбой и своими инициалами, выложенными хризопразами и перидотами. — Послушайте. Вы же прекрасно знаете, Иллингворт, что это мои вещицы. Не далее как вчера я говорил Дориану, вы постоянно заимствуете то мои безделушки, то мои слова.

— Так что с того? Только скучные и закоснелые люди против заимствований. Когда человек говорит, что жизнь исчерпала его...

— ...знайте, что он исчерпал жизнь.

— Женщины — загадки, а вовсе не сфинксы.

— И это высказывание тоже мое, — уверенно заявил лорд Генри.

— Было бы полезно завести небольшую книжицу для записи ваших изречений.

— Очень полезно. И я готов простить того, кто создает нечто полезное, если только он не испытывает страстной любви к своему творению.

1. Барри Пейн вел колонку "В курительной". Там общались между собой некие абстрактные персонажи: Выдающийся Человек, Обычный Человек, Поэт, Журналист и Всего-Лишь-Юнец.

Ада Леверсон. Полное собрание пародий на Оскара Уайльда

— Это — Новый Юмор, не так ли?[1]

А вы — Новый юморист? — заметил Уокер насмешливо. — Здесь кроется внутреннее противоречие! Ведь суть Шутки в том и состоит, что она должна быть старой. Где вы найдете что-нибудь более забавное, чем загадки. "Что общего между благородным человеком и книгой?" или "Что общего между леди Л. и Луной?" Нет, не стоит продолжать — мы обязаны вернуться к Старому Доброму Юмору. Что там за шум?

— В дамской комнате разгорелся спор о шали, — сообщила Хильда Вангель. — Это что-то невероятное!

— Похоже, спор еще не закончился. Но это пустяки, — сказал Уокер.

Оказалось, тетка Чарлея обвинила принцессу Саломею в том, что та взяла ее шаль. Принцесса с негодованием бросила в тетку Чарлея ее шаль и при этом позволила себе оскорбительные высказывания.

— Ваша шаль мне не нужна. Она отвратительна. Она покрыта пылью[2]. Это не шаль, а кусок какой-то клетчатой ткани. Он похож на изношенную шаль страдающей героини мелодрамы, которая собирается броситься с моста при лунном свете. Это — шаль обманутой героини. Никогда не видела ничего более отвратительного, чем эта ваша так называемая шаль!

— Неслыханно! Как вы посмели говорить со мной в таком тоне! — в гневе воскликнула тетка Чарлея. — Я гвоздь сезона, а вам даже въезд в страну запрещен[3].

Вторая миссис Тэнкерей попыталась вмешаться, но ее мнение не внесло гармонии в сложившуюся ситуацию. Ссора вспыхнула с новой силой, когда капитан Коддингтон заявил, что духи графини Зика здесь совершенно не к месту, оскорбив ее тем самым до глубины души.

В дамской комнате всегда что-нибудь такое происходило. Но Нора скоро взялась за свой тамбурин, а Уокер притворился, что хочет спрятаться за веером леди Уиндермир.

Наконец нам удалось успокоить возмущенных леди, прием заканчивался.

— Действительно сегодня общество оказалось довольно пестрым, — сказал я. — Мне нравятся утренние приемы. По-

1. Похожий вопрос возникает у персонажа пьесы Б. Шоу "Сердцеед" (1893). В ответ он получает такую фразу: "Вы забили себе голову Новым Юмором и Новой Женщиной, Новым Тем, Новым Этим и Новым Чем-то Еще...". Сам Шоу и тот же Ибсен — представители Новой Драмы.
2. "Твое тело отвратительно. Твои волосы ужасны. Они покрыты грязью и пылью", — восклицает Саломея в пьесе Уайльда, обращаясь к Иоканаану.
3. Пьеса "Саломея" была в Англии запрещена.

кидая их, я чувствую, что стал чище и лучше, а мои глаза увлажняются слезами от избытка этого чисто английского чувства...

— Черт побери! — не выдержало Серебряное Домино. — Замолчите, ради бога! Вам следует выпить.

— Чем меньше мы будем стараться сохранить достоинство, тем наши скромность и такт покажутся несомненнее[1], — пробормотал лорд Иллингворт. — Нам пора. Всего доброго, Генри. Это был чрезвычайно интересный день.

"Панч", 15 июля 1893 г.

Блудница

Поэт. Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились встретиться со мной. Я хотел бы задать пару вопросов о вашей долгой жизни. Вы, должно быть, прожили интересную жизнь.

Сфинкс. Вы очень любопытны и чрезвычайно настойчивы. Я всегда старательно избегала каких бы то ни было интервью. Ну что ж, спрашивайте.

Поэт. Вы, я полагаю, иероглифические письмена можете прочесть на обелиске[2]?

Сфинкс. Письмена? Конечно, могу, я читаю весьма бегло. Но я никогда не делаю этого. Уверяю вас, в них нет ничего занимательного.

Поэт. И к вам действительно являлись гиппогрифы и василиски?

Сфинкс (*скромно*). Когда-то я вращалась в куда более респектабельном обществе. Как говорится, "знавала лучшие дни".

Поэт. Доводилось ли вам беседовать с Тотом?

Сфинкс (*надменно*). Что вы! Конечно, нет! Как вы могли такое подумать! (*Имитируя.*) Тот, он был не флишком фриятным феловеком. Я не могла позволить себе такого знакомства.

1. Искаженная цитата из эссе "Критик как художник": "...достоинства его мемуаров найдут тем несомненнее, чем меньше скромности и такта он проявит". Эссе цитируется в переводе А. Зверева.
2. Переводчик использует лексику собственного перевода поэмы О. Уайльда "Сфинкс" (Иностранная литература, 2012, № 8).

Поэт. Вы столь разборчивы?

Сфинкс. Нужно соблюдать осторожность, общество так склонно к злоречию.

Поэт. Да, весьма склонно. А вы не могли бы спеть что-нибудь для меня? О "желтой барке Адриана", например?

Сфинкс. Вы должны извинить меня. Я сегодня не в голосе. Между прочим, "желтая барка", как вы ее называете, была просто жалкой посудиной. Такому суденышку просто нечего было бы делать на королевской регате в Хенли.

Поэт. Бог мой! А правда ли, что вам доводилось играть в гольф среди Пирамид?

Сфинкс (*решительно*). Что вы! Это совершенно не соответствует действительности. Поразительно, до чего живучи нелепые слухи!

Поэт (*мягко*). Да, такое случается. А не расскажете ли, что за история вышла с Адонисом?

Сфинкс. Уверяю вас, все это не больше, чем сплетня. Никакой истории не было.

Поэт. А с Аписом?

Сфинкс. О, цветы Апис мне действительно посылал. Не буду отрицать. В газетах даже появились заметки — иероглифические! — об этом событии. Вот собственно и все. Но они были опровергнуты.

Поэт. Вы, как мне кажется, хорошо знали Амона?

Сфинкс (*искренне*). Да, мы были хорошими друзьями. Мы часто виделись. Он, бывало, заглядывал ко мне на чай — и был весьма занятен. Но я уже давненько с ним не встречалась. У него, к сожалению, был один недостаток. Он курил в гостиной. И хотя, надеюсь, я не слишком привержена условностям, но такого позволить ему не могла.

Поэт. Как они, должно быть, обрадуются, увидев вас вновь! Почему бы вам не отправиться на зиму в Египет?

Сфинкс. Ни в коем случае! В Каире гостиницы ужасно дороги.

Поэт. Правду ли говорят, что вы рыбачили с Антонием?

Сфинкс. Тут, знаете, главное не преступить границу! Клеопатра отличалась несносным характером. Она была ужасно ревнива и вовсе не так уж красива, как вы, возможно, предполагаете, хотя и осталась в памяти людской как "непревзойденный образчик египетской красоты!".

Поэт. Я должен искренне поблагодарить вас за вашу любезность, с которой вы ответили на мои вопросы. И те-

перь вы позволите мне высказать одно наблюдение? На мой взгляд, вы вовсе не царица Нила.

Сфинкс (*с негодованием*). Так кто же я тогда?

Поэт. Вы не царица, вы — блудница.

"Панч", 21 июля 1894 г.

Подслушанный фрагмент диалога

Лорд Иллингворт. Мой дорогой Горинг, уверяю вас, хорошо завязанный галстук — это первый важный шаг в жизни[1].

Лорд Горинг. Дорогой Иллингворт, пять удачно подобранных бутоньерок[2] за день гораздо важнее. Они нравятся женщинам, а женщины правят обществом.

Лорд Иллингворт. Вы, видимо, имеете в виду женщин, не стоящих внимания?

Лорд Горинг. Дорогой Джордж, мужчина живет интеллектом, увлекаемый его круговоротом. Женщина живет чувством, неуклонно двигаясь вперед к намеченной цели. И мужчины и женщины вращаются в кругу своих устремлений, хотя и тем и другим следовало бы согласовать свои движения, что, как уверяет Платон, сообщает гармонию жизни[3]. Но, боюсь, я отнимаю ваше время?

Лорд Иллингворт. Нисколько. Только боги могут отнять у нас то, что дают...

Лорд Горинг. О да. В наше время многие молодые люди, вращающиеся в свете, считают, что прекрасный профиль — это уже более чем достаточно для профессии. В этом есть нечто комичное.

Лорд Иллингворт. Вероятно, они имеют в виду тот свет, надо полагать? Что слышно о чилтернских тысячах?

Лорд Горинг. Решительно ничего, Джордж. Вы ведь не так давно видели Уиндермира? Дорогой Уиндермир! Я бы не хотел быть на него похожим.

1. Цитаты из пьесы О. Уайльда "Женщина, не стоящая внимания". Перевод Н. Дарузес.
2. У Уайльда: "Хорошо подобранная бутоньерка — единственная связь между искусством и природой". "Заветы молодому поколению". Перевод К. Чуковского.
3. У Уайльда: "Платон говорит, что ритмичные, согласованные движения в танце сообщают гармонию, ритмичность и жизни духа" ("Критик как художник").

Лорд Иллингворт. Бедный Уиндермир! Что он только не творит по утрам, а вечером говорит вещи, которые невероятными никак не назовешь[1]. Кстати, вы действительно понимаете то, что я говорю?

Лорд Горинг. Только, если невнимательно вас слушаю.

Лорд Иллингворт. Передайте мне спички, пожалуйста! Сегодня папиросы все чаще называют сигаретами.

Лорд Горинг. Дорогой Джордж, они отвратительны. Они не доставляют мне никакого удовольствия[2].

Лорд Иллингворт. Вы — многообещающий ученик. Единственная польза от ученика лишь в том, что он стоит позади твоего кресла в минуту твоего триумфа и кричит, что как раз не ты, а он — именно он — бессмертен[3].

Лорд Горинг. Вы совершенно правы. Но время от времени стоит вспоминать, что тому, что следует знать, научить невозможно.

Лорд Иллингворт. Несомненно, уродливое — вот источник всяческого прилежания.

Лорд Горинг. Джордж, вы говорите восхитительные вещи, но ваши мысли ужасно спутанны. Вы неискренни.

Лорд Иллингворт. *Если* человек говорит *правду*, рано или поздно его выведут на чистую воду.

Лорд Горинг. Очень может быть. Небо, оно напоминает твердый, пустой внутри сапфир. Спать уже поздно, пойду в Ковент-Гарден, полюбуюсь розами. Доброй ночи, Джордж! Это был такой приятный вечер!

"Панч", 12 января 1895 г.

1. У Уайльда: "Гарри днем занят тем, что говорит невозможные вещи, а по вечерам творит невероятные вещи" ("Портрет Дориана Грея").
2. У Уайльда: "Папиросы — это совершеннейший вид высшего наслаждения, тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворенными" ("Портрета Дориана Грея").
3. У Уайльда: "Даже от ученика может быть польза. Он стоит за твоим троном и в минуту твоего триумфа шепчет тебе на ухо, что ты — да, да! — бессмертен". Цит. по О. Уайльд "Музыка будет по-немецки, вы все равно не поймете". Перевод К. Душенко.

Как неблагоразумно быть найденным в саквояже

Легкомысленная трагедия для замечательных людей.

(Фрагмент, найденный где-то между театрами “Сент-Джеймс” и “Хеймаркет”.)

Тетя Августа (тетя).
Кузина Сесили (воспитанница).
Элджи (легкомысленный человек).
Дориан (человек-бутоньерка).
Герцог Бервикский.

Время — на днях. Действие происходит в саду. Сцена начинается в семейном кругу, там же и заканчивается.

Элджи (*поедая сэндвичи с огурцом*). Вы знаете, тетя Августа, боюсь, сегодня я не смогу присутствовать на вашем обеде. У моего бедного друга Бенбери опять обострение, и мое место рядом с ним.

Тетя Августа (*пьет чай*). Нет, нет, Элджи! Это доставит мне массу неудобств. Кто же мне поможет в составлении музыкальной программы?

Дориан. Я вполне могу с этим справиться, тетя Августа. Я знаю о музыке все. У меня есть редкая коллекция музыкальных инструментов. В длинной зале с решетчатыми окнами я каждую среду устраиваю необыкновенные концерты, на которых лихие цыгане исторгают дикие мелодии из своих маленьких цитр, а смуглые алжирцы монотонно бьют в медные барабаны. Кроме того, я сам положил себя на музыку. И это никак не повредило моей внешности. Я все такой же. Я даже более такой же, чем всегда.

Сесили. Ты сегодня собираешься пообедать у Виллиса с мистером Дорианом, кузен Элджи?

Элджи (*уклончиво*). Но намного приятнее мне находиться здесь, подле тебя, кузина Сесили.

Тетя Августа. Дорогой мой! У нее великолепный профиль, она вполне может рассчитывать на успех в обществе. И мистер Дориан из прекрасной семьи. Какое это благо,

что он не воспитывался в саквояже, как многие современные молодые люди.

Элджи. Все женщины, тетя Августа, со временем становятся похожи на своих теток. В этом их благо. Ни один мужчина не бывает похож на своего дядю[1]. И это — самая большая трагедия современной жизни.

Дориан. Чтобы быть по-настоящему современным, достаточно не иметь души. Чтобы быть настоящим варваром, достаточно не иметь папирос. Чтобы быть настоящим греком...

Герцог Бервикский поднимается и демонстративно покидает сад[2].

Сесили (*что-то записывает в своем дневнике и затем мечтательно зачитывает вслух*). "Герцог Бервикский поднялся и демонстративно покинул сад. Погода была по-прежнему восхитительна"...

"Панч", 2 марта 1895 г.

1. У Уайльда: "Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей. В этом их трагедия. Ни один мужчина не бывает похож на свою мать. В этом его трагедия" ("Как важно быть серьезным". Перевод И. Кашкина).
2. У Уайльда: "Рассказывали также, что, когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилл-клуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен встали и демонстративно вышли" ("Портрет Дориана Грея").

Среди книг

с Булатом Вафиным

Занимательная апиология, или Взбунтовавшаяся Золушка

Laline Paull *The Bees.* – London: Harper Collins Publishers, 2014

"Политический триллер про пчелиное сообщество", "оруэлловский мир в микрокосме пчелиного улья", "Скотный двор про пчел", "антиутопия с экологическим уклоном" — такими определениями встретили литературные критики дебютный роман Лалин Полл "Пчелы", впервые увидевший свет в 2014 году и снискавший популярность у себя на родине — в Великобритании. Все эти определения правильны, но неполны. Антиутопия, триллер, приключение, экологическое произведение, ода материнской любви — словно кусочки пазла, все эти элементы собираются в стройную картину, группируясь вокруг главной героини — пчелы Флоры 717.

Родившись пчелой-уборщицей (самая низшая каста пчелиного сообщества в романе) и обреченная всю свою жизнь провести за очисткой улья от мусора и нечистот, Флора 717, тем не менее, не похожа на своих сородичей. Она крупнее, темнее, наделена живым, пытливым умом и, в отличие от других представительниц своей касты, умеет говорить. Нетрудно догадаться, к чему это может привести в коллективистском обществе, где любое отклонение от стандартов считается "уродством" и "грехом" и члены которого постоянно повторяют излюбленную мантру "Принимай, повинуйся и служи".

Почти с первых же страниц произведение настраивает нас на серьезный лад. Сцена убийства молодой пчелы с деформированными крыльями не оставляет сомнений — перед нами отнюдь не добрая диснеевская сказка про милых антропоморфных насекомых, а жестокий мир с тысячелетней историей и сводом свято чтимых законов. Мрачные описания убийств, жертвоприношений и схваток с внешними врагами встретятся не раз и не два. Своеобразным апофеозом служит сцена массового уничтожения трутней, описанная в пугающих натуралистических подробностях (и вставляющая в картину романа еще один пазл — тему феминизма и матриархального общества).

Повествование с самого начала берет читателя за грудки и не отпускает до самой развязки. Динамичные сюжетные сцены периодически сменяются описаниями, давая передышку и снабжая новыми подробностями о пчелином мире. Мы завороженно наблюдаем, как Флора стремительно продвигается по пчелиной "карьерной лестнице", переходя в ранг нянек, заботящихся о потомстве, сталкивается с надменными и вечно голодными тунеядцами-трутнями, храбро защищает улей от злобных ос, добивается аудиенции у самой Королевы и, наконец, в первый раз в жизни покидает родной дом в поисках нектара в роли пчелы-сборщицы. В какой-то момент героиня делает совершенно неожиданное открытие, которое входит в противоречие с ее беззаветной преданностью родному улью и заставляет совершать немыслимые вещи, превращая борьбу за жизнь в нечто большее.

Где-то к середине произведения в сюжет незаметно и вполне органично вплетается экологическая тема. Опасность угрожает улью как снаружи, так и изнутри. По мере того как обстановка накаляется, мы вместе с героиней понимаем, что в пчелином королевстве что-то основательно прогнило, причем как в прямом, так и в переносном смысле.

Наблюдая за приключениями Флоры, невольно забываешь, что речь идет о насекомых. В этом и кроется секрет магии романа — Полл удалось создать мир, одновременно чуждый нашим человеческим представлениям и узнаваемый. Общение с помощью вибраций, запахов и прикосновений, танцы, указывающие, куда лететь за нектаром, избавление от трутней ради выживания всей колонии зимой, феромоны Королевы, дающие рабочим пчелам энергию, но делающие их неспособными откладывать яйца, — все элементы жизни пчел имеют под собой реальную биологическую основу. При этом насекомые испытывают вполне человеческие эмоции, делая все происходящее на страницах романа еще более убедительным. Пчелы в произведении Лалин Полл антропоморфны ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы заставить нас сопереживать им, во всем остальном автор старается следовать научной достоверности (кубки для нектара и напомаженный мех трутней не в счет — общей картины они не меняют).

Впрочем, время от времени граница между реальностью и художественным вымыслом все же угрожающе истончается (Действительно ли пчелиная иерархия настолько сложна? Правда ли, что вышки сотовой связи губительно влияют на пчел?), но лихо закрученный сюжет увлекает все больше, не оставляя времени на вопросы.

Отдельного упоминания заслуживает описание улья. Автор отмечает, что вдохновлялась планировкой Кносского дворца на острове Крит, и этому вполне веришь, читая описания многочисленных переходов, лестниц и дверей, гигантского (по меркам насекомых) Зала прибытий, с многочисленными рядами восковых

ячеек, из которых появляются на свет новые пчелы, и огромного Обдувочного зала со стенами, сложенными из медовых кубков.

Роман Лалин Полл заставляет посмотреть на пчел если не с любовью, то, по крайней мере, с любопытством. За политическими интригами и неурядицами улья просматривается наш собственный мир, и удивительная схожесть таких внешне разных сообществ — человеческого и пчелиного — ощущается особенно остро. И в этом, пожалуй, главная заслуга романа.

Среди книг

с Жанной Перковской

Измерение, по которому движется наше сознание

Laurence Scott *The Four-Dimensional Human.* – London: William Heinemann, 2015

Книга-первенец современного британского автора Лоуренса Скотта, сделавшая его лауреатом премии Королевского общества литературы "Jerwood Award" в области нон-фикшн и вошедшая в короткий список премии Сэмюэля Джонсона, полна сюрпризов. Интригуют уже сами заголовки и подзаголовки: "Пустой экран", "Дверной глазок, вывернутый наизнанку", "Сберегая время, убивать его", "Совсем иное жужжание — Жизнь пчелиного улья", "Сталкеры и шпионы" и, конечно же, заголовок книги "Четвертое измерение"... Однако начинать читать книгу с какой-нибудь отдельной главы, как бы ни хотелось вам поскорее узнать, что скрывает загадочная формулировка, не стоит: Л. Скотт — университетский преподаватель, и его повадка "консолидировать знания" все равно заставит вас вернуться на старт, к предисловию, чтобы вникнуть в историю того или иного вопроса — а их в книге поставлено немало.

Что же исследует автор? Вопрос-"затравка" — "Как человеку живется в цифровом мире?" — вынесен на обложку. Далее ставятся более частные вопросы: какие новые ощущения доступны человеку, живущему одновременно в реальном и в виртуальном мире? Что происходит с нервной системой, когда мы, сидя перед монитором, то ликуем, то огорчаемся, то предвкушаем

новые сетевые удовольствия, то разочаровываемся в них? Как течет время в этом четвертом измерении? Можно ли сохранить индивидуальность в сетях и не поддаться диктату "цифрового" социума? Далеко не везде можно найти ответ, да мы этого и не ждем, завороженные плавным течением авторской мысли.

Трактовка цифровых технологий у Лоуренса Скотта чрезвычайно образна. Так, скайп — это "попытка поместить одно пространство внутрь другого", наушники, с которыми так неразлучны подростки, — "устройство телепортации", а то и "капсула", изолирующая от всего, что происходит вокруг. А наша жизнь в сети — иллюзия "вездесущности" (примечательно, что термин этот обычно соотносится со сферой религии, а вовсе не хайтека)...

Не будем, однако, думать, что автор — зануда, читающий нотации интернет-зависимым студентам. Он признается в том, что и его не обошли стороной веяния времени, а попутно сообщает и еще кое-какие подробности о себе, вовсе не создающие образ "человека серьезного и во всех смыслах положительного": представьте себе, предлагает автор, что вы — британец и приглашены на костюмированный бал "в русском духе": кем вы нарядитесь? Л. Скотт примеряет на себя образ Григория Распутина... А и в самом деле, думаете вы: нечто магнетическое в его натуре есть. Это умение внедряться в чужие мозги, ошарашивать... Уж и книга прочтена, а "под сомкнутыми веками" продолжается процесс ее осмысления. Откуда эта неотвязность? Не оттого ли, что Лоуренс Скотт "прорубается" к нашему сознанию не один? На каждом этапе проходки он отыскивает себе помощников, которые "крепят шахту": тут вы найдете цитаты из Маркса и Энгельса, Марселя Пруста и Вирджинии Вулф, встретите имена Зигмунда Фрейда и Славоя Жижека, ссылки на Дрю Годдарда и Джосса Уидона (глава "Хижина в лесу" названа в честь их триллера, в котором компанию парней и девушек, решивших отдохнуть в идиллическом домике среди леса, методично истребляют потусторонние силы зла, отслеживая их перемещения по виртуальным каналам) — вообще, аллюзий в книге столько, что иноземный читатель, если он не свой в британской среде, затратит немало времени, изучая авторские сноски, чтобы наработать background, который позволит ему воспринимать произведение так же, как и соотечественники автора. А сколько намеков остается скрытых для постороннего глаза! Но огорчаться не следует — одолев эту книгу со всем старанием (а она того стоит), любой из нас с гордостью ощутит себя вместилищем "энциклопедии британской жизни".

Но что же все-таки это такое — четвертое измерение? Помочь человечеству познать его пытался еще Герберт Уэллс, и Лоуренс Скотт приводит его высказывание: "Под четвертым измерением подразумевается время, хотя некоторые люди, толкующие о четвертом измерении, не понимают, о чем говорят. Это про-

сто иной взгляд на время. Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что по нему движется наше сознание...".

Здесь Лоуренс Скотт, "мыслитель нового поколения-2011", словно принимает эстафету от великого фантаста: настали новые времена, и теперь наше сознание "движется" уже в новых условиях, когда пространство утрачивает свои физические свойства, а "виртуальная реальность" их, наоборот, обретает. "Атмосфера четвертого измерения удушлива", — утверждает автор, называя сеть "местом заточения". Он пишет об "ощущении каждодневного праздника и всеобщей дружбы, столь точно имитирующей реальную близость, что мало кому удается осознать, чего все это стоит на самом деле", и о комплексе неполноценности, одолевающем нас, когда мы принимаем за чистую монету отлакированный виртуальный облик других сетевых "сидельцев", и о клаустрофобии человека, встретившего в сети препятствие, и о "релаксации, от которой сердце вот-вот выскочит из груди"... Все это — ощущения, многим до боли знакомые.

В книге приводятся слова одного из персонажей пьесы современного британского прозаика, драматурга и актера Алана Беннетта "Любители истории":

"Лучшее в чтении — это когда ты внезапно набредаешь в книге на то, о чем ты и сам смутно догадывался, на то, что испытывал сам (это может быть какая-то мысль, чувство, ощущение, взгляд на те или иные вещи). И вдруг — вот оно, сказанное кем-то еще, тем, кого ты никогда не встречал, а возможно, и тем, кого уже давно нет в живых. Это словно кто-то протягивает тебе руку и пожимает твою".

Именно такое впечатление остается и после прочтения книги Лоуренса Скотта.

Среди книг

с Алиной Поповой

“Перевод... предполагает полиавторство, растянутое во времени”

Михаил Яснов *Обломки опытов. Из французской поэзии.* — М.: Центр книги Рудомино, 2016. — 768 С.

Собрание стихотворных переводов Михаила Яснова из французской поэзии XVI–XX веков “Обломки опытов” — своего рода попытка ответить на вопрос, каким должен быть поэтический перевод сегодня и для чего он теперь, собственно, нужен. Представлять Яснова как переводчика и поэта, очевидно, не требуется, хотя те, кто еще не знает, что переводчик он блестящий, убедятся в этом, просто открыв книгу: она настолько разнообразна, что читатель, у которого нет другого алгоритма, скорее всего, найдет в ней стихи по вкусу простым перелистыванием. Но таких наивных читателей мало, а умудренный опытом поэт-переводчик заложил в книгу иные механизмы, о которых и хотелось бы поговорить.

Особенность нынешнего момента в том, что переводчики, вопреки всему продолжающие переводить поэзию, еще остались, сборники стихов, в том числе и бумажные, по-прежнему выходят, профессиональные и любительские переводы публикуются в интернете, хотя знание языков, которое, вроде бы, крепнет, позволяет людям прочесть стихи и в оригинале... Однако, несмотря на все это, шансов встретиться с новым для себя поэтом просто так, особенно если он иностранный и особенно если несовременный, у читателя мало. Под “просто так” мы подразумеваем, что читатель — не студент и не специалист. Еще во времена “Библиотеки всемирной литературы” народная молва пессимистически окрестила пухлые сборники переводной поэзии — “братской могилой”. Тем не менее из-за редкости появления таких изданий читательское внимание им все же было гарантировано, и шанс выудить оттуда конкретного поэта и полюбить его — имелся.

Сегодня текстов так много, что привлечь внимание к своим “подопечным” — задача самого переводчика. Михаил Яснов показывает отличный пример такого пробуждения читательского интереса. Не один том переводной поэзии снабжен его предисловиями, послесловиями, комментариями — живыми, ненапыщенными, нимало не похожими на

скучное литературоведение с объяснениями того, "что хотел сказать автор": таковы его Аполлинер, Рембо, сборники "Про́клятых поэтов", бельгийских символистов... В чем же особенности нынешнего тома? Уже на обложке состав книги заявлен так: "Переводы, комментарии, заметки на полях", и это не случайно. В солидных переводных сборниках предисловие и комментарии имеются почти всегда, но если раньше они зачастую воспринимались как необходимость, часть безликого "справочного аппарата", то сегодня становится ясно, что не только сами переводы, но и комментарии с предисловием — продукт творческий и сугубо индивидуальный.

Итак, книгу открывает внушительное предисловие переводчика, озаглавленное, по сонету Гийома Кольте, "Дом Ронсара". Предисловие посвящено ключевым вопросам, вокруг которых выстроен этот том: о традиции отношения к французской поэзии в России, о роли переводчика, о том, как мы читаем стихи и надо ли этому учиться, о том, что увлекает самого автора в переводческой работе.

Поэт, переводчик и читатель Яснов рассказывает в предисловии не только о бытовании самой французской поэзии, выделяя приоритеты каждой эпохи и обращая внимание на переклички и подхваты. Кроме того, он представляет свою версию истории переводческих и читательских интересов — в их временно́м развитии и в сопоставлении с эпохой, царившей в это время на дворе. Очень ценное отличие "Обломков" в том, что М. Яснов стремится зафиксировать историю взаимодействия культур — через время и перевод — и дает ее не только как хронологию обращений переводчиков к тому или иному важному произведению ("переводческий горизонт", как назвал это Антуан Берман в программной для теории перевода книге "Pour une critique des traductions: John Donne" — "О критике переводов: Джон Донн"), но и как историю возникновения в культуре-приемнике вспышек интереса к разным периодам и слоям иностранной поэзии и культуры.

Интерес поэта-переводчика к синхронности или асинхронности времени в литературе, к "вертикальным" перекличкам через эпохи прослеживается и в эссе об авторах, которые в книге снабжены выразительными портретами и, что важнее, принимают форму не просто кратких автобиографических справок, а скорее аналитических заметок.

Перевернув последнюю страницу предисловия, мы получаем возможность оценить, насколько поэт-переводчик действительно следует принципам, которые там представлены. Во-первых, обращает на себя внимание подбор авторов, среди которых, наряду с Ронсаром, Лафонтеном, Вольтером, Парни, Шенье, Нервалем, Готье, Бодлером, Верленом, Рембо, Валери и Аполлинером, читатель, скорее всего, встретит несколько поэтов, чьи имена ему не знакомы. Вообще говоря, новых, ни

разу не публиковавшихся переводов в книге немного, но именно этот корпус текстов, собранный вместе и снабженный оригиналами и комментариями переводчика, обладает бесспорной ценностью, давая цельный авторский взгляд на три значительных периода французской поэзии: XVI–XVII века – от поэзии плеяды до эпохи Лафонтена, XVII–XVIII (поэзия барокко и рококо) и XIX – начало XX века (проклятые поэты от Бодлера до Рембо и поэзия "Belle époque"). Том заканчивается на пороге XX века – переводами из Валери и Аполлинера, ведь именно они, по слову переводчика, "представляются двумя главными фигурами эпохи, с которых начинает отсчет новейшая поэзия".

Условно переводы, включенные в том, можно разделить на новые прочтения знаменитых текстов – вроде "Оды" Сапфо в переложении Никола Буало, "Бабочек" Нерваля или "Спящего в ложбине" Рембо (как писал Жак Шарпантро в переводе того же Яснова: "А бабочки Нерваля в си́ни Слетают к спящему в долине"), и французские тексты, к которым переводчик привлек внимание российского читателя первым, такие, как цикл Бодлера "Бельгийское чудо", выборки из не самых известных французских поэтов XVI-XVIII веков и, конечно, любимые "проклятые", особенно Тристан Корбьер, но также и Шарль Кро, Морис Роллина, Жан Ришпен и Жермен Нуво, о творчестве которых мы получили более полное представление именно благодаря Яснову.

Для кого-то наверняка станут открытием фривольные стихи Вольтера, мадригалы и рондо Антуанетты Дезульер или лирические элегии Андре Шенье. Словом, перед читателем открывается тот самый калейдоскоп фрагментов, из которого постепенно и складывается собственное заинтересованное отношение читателя к поэзии определенной эпохи, литературного течения или конкретного поэта.

Кстати, название тома "Обломки опытов" сам Михаил Яснов объясняет так: "Почему 'Обломки'? Это же томбилингва. Сначала я придумал французское название 'Les Épaves des épreuves', а потом перевел его на русский. Похожая игра звуков получилась в названии "Обломки опытов"... А обломки это или фрагменты – кто ж его знает? Я мечтал, что на обложке будет какая-нибудь картина с кораблекрушением..." " – А как выбирались эти стихи? – Это то, что мне самому больше нравится. Но обычно так получается, что совпадает то, что я считаю главным у того или иного поэта, и то, что меня больше всего привлекло для перевода". Между прочим, "Épaves" (обломки) – название цикла стихов Бодлера из "Цветов зла", составленного из текстов, вынужденно исключенных автором из первого издания книги по требованию цензуры.

Чтобы дать некое представление об этом калейдоскопе фрагментов, выловленных в вавилонском кораблекрушении несопоставимости культур и языков, позволю себе

просто перечислить и процитировать отдельные переводы и комментарии.

Вот, например, история двух сонетов Жака Валле де Барро (1599–1673), которую переводчик рассказывает в примечаниях. Первый из них ("Ты милостив, Господь, ты справедлив и благ...") "через полвека после смерти автора оказался в поле зрения Василия Тредиаковского, <...> появление перевода Тредиаковского в 1732 году считается годом рождения сонета на русской почве". Яснов цитирует полностью перевод Тредиаковского "Боже мой! твои судьбы правости суть полны!" и продолжает: "еще через четверть века к нему [сонету. — *А. П.*] обратился Александр Сумароков" — дается перевод Сумарокова (1756): "Великий Боже! Твой исполнен правдой суд..." Вот так, сопоставляя французский оригинал и три русских перевода знаменитого сонета, читатель, вслед за переводчиком, может сделать свои выводы и о взаимодействии двух культур, и о развитии русского языка, стихосложения и поэтического перевода... А вот о другом сонете де Барро — "Не быть судьей, кюре, не помышлять жениться" — Яснов пишет, что он является "точной копией сонета Николя Воклена Дезивето, старшего современника де Барро 'Иметь не больше слуг, чем денег, и стремиться...', который, в свою очередь, <...> был копией сонета Кристофа Плантена. Бродячий сюжет? Реминисценция? Плагиат? Нет ответа". В примечании к упомянутому стихотворению Дезивето (1567–1649), соответственно, приводится оригинал и перевод сонета Плантена (1514–1589), который, кстати, прославился не как поэт, а как известный издатель и типограф: "Держать добротный дом, чтоб взгляды привлекал он..." и комментируется эта аллюзия: "Дезивето оживил Плантена, — пишет Яснов, — (по крайней мере, по-новому интерпретировал, но уж больно все в сонете <...> звучало злободневно)".

Вот так, пластами контекстов, через "злободневность", сохраняющую почему-то актуальность, через подхваты и ауканья, Яснов создает русский образ французской поэзии, позволяющий читателю не понаслышке, а самому попробовать "на зуб" ее излюбленные сюжеты, намеки, каноны и пересмешки. Ведь не зная источника реминисценций (или пародии?), невозможно оценить по достоинству и произведение, обыгрывающее этот источник. В комментарии к стихотворению Верлена "Пасха" Яснов указывает, что именно оно стало одним из источников поэмы Блеза Сандрара "Пасха в Нью-Йорке", и, чтобы у читателя была возможность не поверить ему на слово, приводит фрагмент поэмы в своем переводе.

Судя по всему, переклички и "контекстный подход" становятся для Яснова не просто дополнением к переводимым текстам, но зачастую и причиной перевода. Так, басня Лафонтена "Дуб и тростинка" выбрана, по всей видимости, из-за поэтической переклички с Ж. Ануем, который переина-

чил тексты Лафонтена на свой лад в сборнике 1962 года. Оригинал и перевод басни Ануя, конечно, приводятся в комментарии.

Перечисляя истоки знаменитого стихотворения Аполлинера "Мост Мирабо", в числе которых ритмика старинной французской песни, Яснов замечает: "Соглашусь с А. Гелескулом, который писал: 'Для перевода неподатливей всего песни: у них слишком глубокие корни и при пересадке легко обрываются'". Об этом думаешь, читая ясновские переводы из Верлена, скажем, "Поднимайся, песня-птица..." — явно перекликающийся с чем-то из нашего песенного багажа...

В примечании к "Вечерней молитве" Рембо, Яснов цитирует комментарий Р. Тименчика к строке Мандельштама "Власть отвратительна, как руки брадобрея", пришедшей из этого стихотворения в перевода Б. Лившица, и дает свою интерпретацию сонета ("Как падший ангел у цирюльника в руках..."), в которой открывающий его образ, ставший теперь фрагментом не только французской, но и русской поэзии, получает несколько иное толкование.

Читая комментарии, понимаешь, что книжка представляет собой не линейную структуру, а гипертекст, вроде "Сада расходящихся тропок" из Борхеса, где читатель сам определяет свой маршрут и может двигаться, например, от комментариев, которые составляют почти десятую часть всей книги, к основным переводам (если, скажем, Ануй окажется для него более притягательным, чем Лафонтен — и сработает актуализатором). Если искать в "Обломках опыта" недостатки, можно попенять редакторам за то, что не снабдили комментарии прямыми отсылками к комментируемым строкам и фрагментам: для любителей движения по тексту "вспять" очень пригодились бы в комментариях номера страниц.

Заметим, что предложенная переводчиком игра с поиском перекличек — а она действительно системно проводится по всей книге — затягивает, и вот читатель уже вглядывается в стихотворение Тристана Корбьера "Конец", написанное как отклик на "Oceano nox" Виктора Гюго, и отчетливо слышит знакомую интонацию: переводчик, намеренно или нечаянно вставляет в текст, далекий от символизма, написанный куда более простым и разудалым слогом, образы и звучание голоса Цветаевой, переводящей Бодлера:

Итак, любой моряк, от кэпа до
салаги, —
Ушел в свой Океан, чтоб кануть
без следа.
Туда, в далекий путь, под ветер
полный влаги,
Навечно умереть — как вечно
жить... Туда!

Осталось добавить, что сборник открывается стихотворным посвящением поэта-переводчика своей наставнице Эльге Львовне Линецкой — о любви к языку и его хранителям, о сродненности классической французской поэзии и, соответственно, ее переводчиков, с александрийским

стихом и о том, что с ним приключилось в конце XIX века, о смысле работы и жизни переводчика (“Неприметно, но бесповоротно от нас удаляется эпоха пристального чтения поэтического прошлого, а в этом контексте каждый новый перевод, каждая новая интерпретация работают на защиту классической культуры”):

Он все еще звучит из глубины
столетий —
александрийский стих с цезурою
на третьей
таинственной стопе: вся боль
страстей земных
укладывается в александрийский
стих.
Живет античный мир в его
привычной шкуре.
В незамечаемую сбивку на
цезуре,
как в щелочку, гляжу, пытаясь
рассмотреть
тот вечный двигатель, прядущий
жизнь и смерть,
чья вещая душа погребена в
руинах.
Но есть еще одно нутро в
александринах:
в их смертном бытии остались
на века
достоинство и честь родного
языка...

Авторы номера

Эрнан Ривера Летельер
Hernán Rivera Letelier
[р. 1950]. Чилийский писатель. Кавалер Ордена Искусств и литературы Франции [2001], лауреат премии издательства Альфагуара [2000].

Автор романов *Королева Елизавета пела ранчерас* [*La Reina Isabel cantaba rancheras*, 1994], *Поезда идут в чистилище* [*Los trenes se van al purgatorio*, 2000], *Святая Мария черных цветов* [*Santa María de las flores negras*, 2002], *Песня для хождения по водам* [*Canción para caminar sobre las aguas*, 2004], *Фантазер* [*El Fantasista*, 2006], *Меня зовут Маларроса* [*Mi nombre es Malarrosa*, 2008], *Искусство воскрешения* [*El arte de la resurrección*, 2000,] и др. В *ИЛ* напечатан его роман *Фата-моргана любви с оркестром* [2013, № 3].
Перевод романа *Гимн ангела с поджатой ногой* публикуется по изданию *Himno del ángel parado en una pata* [Santiago de Chile: Alfaguara, 2010].

Петр Мицнер
Piotr Mitzner
[р. 1955]. Польский поэт, эссеист, литературовед. Редактор журнала *Новая Польша*, профессор Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. Лауреат премий *Фонд культуры* [1999] и журнала *Зешиты литерацке* имени Юзефа Чапского. Обладатель Серебряного Креста Заслуги [2005] и Кавалерского креста Ордена Возрождения Польши [2009].

Автор многих поэтических книг, среди которых: *Мышосыр* [*Myszoser*, 2000], *Пустошь* [*Pustosz*, 2004], *Предполагаемый субъект* [*Podmiot domyślny*, 2007], *Дом под сознанием* [*Dom pod świadomości* , 2008], *Невидали* [*Niewidy*, 2009], *Точка* [*Kropka*, 2011], *Ку-ку на суку* [*W oku Kuku*, 2012], *после точки* [*i Po kropce*, 2013], *Избранное* [*Wybiór*, 2015], *польский Пан* [*polak Mały*, 2016] и *Клерк в колодце* [*Klerk w studni*, 2017]. Стихи переводились на русский, французский, чешский, албанский, литовский, испанский, болгарский языки, а также на иврит.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Джон Ле Карре
John le Carré
[р. 1931]. Английский писатель. Работал в МИ-5 и МИ-6 английской разведки. Лауреат премий Сомерсета Моэма [1964], *Эдгар* [1965], *Золотой кинжал* [1965 и 1977] и многих других престижных премий. Обладатель медали Гёте [2011].

Автор двадцати двух романов, в том числе *Звонок покойнику* [*Call for the Dead*, 1961; рус. перев. 1993], *Шпион пришедший с холода* [*The Spy Who Came in from the Cold*, 1963; рус. перев. 1991], *Достопочтенный школяр* [*The Honourable Schoolboy*, 1977; рус. перев. 1998], *Маленькая барабанщица* [*The Little Drummer Girl*, 1983; рус. перев. 1993], *Хрупкая истина* [*A Delicate Truth*, 2013].
Публикуемые мемуары *A Sting in the Tale* взяты из издания *Observer Monthly* [7 December 2003].

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского и польского языка.

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Р. Линда, А. Милна, Г. Грина и др., рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта,

ков. Обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2009]. Лауреат премии Норы Галь [2015].

М. Спарк, М. Фостер *Записки викторианского джентльмена* и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12] и *Национальные предрассудки* [2007, № 8], главы из книги *Западный канон* Х. Блума [1998, № 12], фрагменты книг Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], Г. К. Честертона *Джордж Бернард Шоу* [2010, № 8], У. Льюиса *Лев и лис* [2016, № 5] и У. Чернейка *Вступление к историческим пьесам Шекспира* [2016, № 5], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12], повесть *Горькая правда* [2009, № 4] и главы из книги *Автора на сцену!* [2011, № 1] Д. Лоджа, миниатюра *О сиротах* М. Этвуд [2011, № 5], роман А. Беннетта *Голы и босы* [2012, № 4], фрагмент книг С. Гринблатта *Свобода Шекспира* [2014, № 5] и Д. Роу *Шекспир и Макиавелли* [2016, № 5] и др.

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио Свобода. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света.*

Илья Леонидович Фальковский
[р. 1972]. Литератор и художник. Лауреат премии Кандинского в номинации *медиа-арт* [2008]. В последнее время живет в Китае. Преподает русский язык и культуру в Частном университете Хуалянь [Гуанчжоу].

Автор нескольких книг нон-фикшн, посвященных зарождению молодежного антифашистского движения [*Дать 3,14здыі*, 2004], нацистскому подполью [*Гражданская война уже началась*, 2013] и его жертвам [*Незаметные убийства*, 2014], а также автобиографической прозы *Книга живых* [2015]. Статьи, рассказы и пьесы в разное время публиковались в *Забриски Райдере*, *Philologica*, *НЛО*, *Соло*, *Митином журнале*, *Майских чтениях*, *Аванпорте*, *Независимой газете*, *Русской мысли*, *Литературной газете*, *Артхронике*, *Диалоге искусств* и др.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

Автор книг *Редьярд Киплинг* [2011], *Сомерсет Моэм* [2012], *Оскар Уайльд* [2014], *Фицджеральд* [2015], *Генри Миллер* [2016], *Грэм Грин* [2017]. В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, Н. Уэста, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта, Д. Китса, В Набокова, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Андрей Васильевич Шарый
[р. 1965]. Журналист, эссеист, сотрудник радио *Свобода*.

Автор посвященных проблемам бывшей Югославии книг *После дождя. Югославские мифы старого и нового века* [2002], *Трибунал. Хроника неоконченной войны* [2003], *Молитва о Сербии. Тайна смерти Зорана Джинджича* [2005], сборника путевых заметок *Четыре сезона* [2006], сборника эссе *Петербургский глобус* [2011]. В *ИЛ* опубликованы его статьи *Фантомные боли* [2006, № 10] и *Мы как герои, герои как мы. Опыт возвращения в советское детство* [2010, № 6], а также фрагменты книг *Московский глобус* [2012, № 8, совместно с О. Подколзиной] и *Дунай: судьба реки* [2014, № 2].

Максим Александрович Осипов
[р. 1963]. Писатель, врач-кардиолог, основатель "Общества помощи Тарусской больнице". Лауреат нескольких премий, присуждаемых за малую прозу. Живет в Москве и в Тарусе.

Рассказы, повести, очерки и пьесы Осипова составили четыре сборника: *Грех жаловаться* [2009], *Крик домашней птицы* [2011], *Человек эпохи Возрождения* [2012] и *Волною морскою* [2014]. В издательстве Corpus готовится к публикации пятый сборник – *пгт Вечность* [2017]. Сочинения Осипова переведены на двенадцать языков. Сайт автора: www.maxim-osipov.ru.

Ада Леверсон
Ada Leverson
[1862–1933]. Английская писательница, близкий друг Оскара Уайльда. Сотрудничала с *Панчем* и другими лондонскими изданиями, принимала участие в создании знаменитого альманаха *Желтая книга*.

Автор шести романов, в том числе *Предел* [*The Limit*, 1911], *Райская птица* [*Bird of Paradise*, 1914], *Любовь со второго взгляда* [*Love at Second Sight*, 1916]. Публикуемые тексты взяты из журнала *Панч* [*Punch*, July 15, 1883; July 21, 1894; January 12, 1895 и March 2, 1895].

Михаил Львович Матвеев
[р. 1958]. Математик, IT-специалист, переводчик с английского. Лауреат премии *Иностранка* [2012].

В его переводе выходили стихи Л. Кэрролла, Т. Гуда, О. Нэша, а также книга Л. Кэрролла *Фантасмагория и другие стихотворения* [2008]. В *ИЛ* опубликованы его статья *В "Глоб" по Стрэнду – с Вудхаусом* [2008, № 10], переводы стихов О. Нэша [2012, № 4], поэмы О. Уайльда *Сфинкс* [2012, № 8], стихов Д. А. Линдона [2014, № 4], Дж. Аппдайка [2015, № 6], Т. Гуда [2016, № 2], рассказа Саки [2016, № 7].

Булат Джавдатович Вафин
[р. 1983]. Переводчик с английского, кандидат филологических наук, победитель конкурса пе-

В *ИЛ* публикуется впервые.

ревода современной британской прозы [2016]. Работает в IT-компании. Живет в Казани.

Жанна Владимировна Перковская [Гилева]
Переводчик со словенского, сербского, хорватского, македонского, польского, английского языков. Лауреат премии *Иноли́ттл* [2015], победитель конкурса перевода современной британской прозы [2016].

Составитель и переводчик *Антология словенской поэзии* [2008]. В ее переводе вышли книги М. Павича *Вывернутая рукавица* [2001, совместно с Е. В. Верижниковой], М. Ленарчича, словенского летчика, совершившего кругосветное путешествие на сверхлегком самолете, *Вокруг единого мира* [2012].
В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы стихи А. Ихана, А. Поповского, Ф. Прешерна, М. Есиха, С. Макарович, З. Кецмана и Т. Павчека, Б. Мозетича, а также рассказы Г. Петровича и Андреевского [в сооавторстве с Е. В. Верижниковой], М. Деклевы и В. Жабота, а также подборка современной сербской поэзии и эссе Б. А. Новака.

Алина Иосифовна Попова
Переводчик с французского и английского языков.

В ее переводе опубликованы эссе П. Валери, рассказы Д. Буланже, Э. Ионеско, А Мишо [*ИЛ*, 2000, № 8], романы Н. Мищель, Ж.-Ф. Туссена, стихи П. Реверди [*ИЛ*, 1999, № 12], А. Бретона, Р. Десноса, Б. Пере [*ИЛ*, 2002, № 5], Ж. Рубо [*ИЛ*, 2004, № 3], Л. Жанвье [*ИЛ*, 2010, № 4], *Хроники: из дневника переводчика* А. Марковича [совместно с Е. Баевской; *ИЛ*, 2016, № 12].

Переводчики

Дарья Синицына
Переводчик с испанского, галисийского и каталанского языков, преподаватель Кафедры романской филологии Филологического факультета СПбГУ, кандидат филологических наук. Лауреат премий *Иноли́ттл* [2010] и ИсЛа-HISPANICA [2016].

В ее переводах печатались произведения Г. Кабреры Инфанте, Э. Риверы Летельера, М. Делибеса, А. Сторни, Р. де Кастро, Ж. Кабре и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны фрагменты романа *Три грустных тигра* Г. Кабреры Инфанте [2010, № 10], романы Э. Р. Летельера *Фата-моргана любви с оркестром* [2013, № 3], Э. Альберто *Эстер где-то там, или Роман Лино и Ларри По* [2015, № 1], повесть М. Делибеса *Безумец* [2011, № 12] и др.

Игорь Белов
[р. 1975]. Поэт, переводчик.

Перевел с польского стихи М. Светлицкого, С. Баранчака, Б. Задуры, Я. Качмарского, М. Беджицкого, Ю. Чеховича, Ю. Тувима, Т. Гайцы, Д. Фокса, М. Сендецкого, С. Сташевского, Д. Сосницкого, М. Бялошевского, С. Пентака, Я. Джевуцкого, В. Шленгеля, Э. Ткачишина-Дыцкого и др., украинского — С. Жадана, Ю. Андруховича и др., белорусского — А. Хаданович и др. В его переводе опубликована книга М. Светлицкого *Сто стихотворений о водке и сигаретах* [2015].

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

Журнал выходит
один раз в месяц.

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 28, второй двор, звонить в домофон);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),
в интернет-магазине "Лабиринт" (http://www.labirint.ru)

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
20.07.2017
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 6126.
Тираж 2500 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

В оформлении обложки
использован фрагмент
картины испанского
художника
Хосе де Риберы
[1591—1652]
Св. Франциск Ассизский
[1636—1638].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Секретарь-референт
Ксения Жолудева.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

Менеджер по правам
Мильда Соколова.

“ИЛ” в 2018 году

В романе **“Разыскиваются...”** наблюдательная и ироничная НЕЛЛ ЗИНК, рассказывая историю одной, весьма своеобразной семьи на протяжении почти двух десятилетий (60—80-е годы), касается и сейчас остающихся чрезвычайно важными проблем (если не сказать болевых точек) американской жизни — таких, как раса, сословность, гендерность и сексуальность.

“Приключения фотографа в Ла Плате” — последний роман аргентинского писателя АДОЛЬФО БЬОЯ КАСАРЕСА, где автор затрагивает темные страницы истории Аргентины — массовое исчезновение людей, происходившее во второй половине XX века, и обращается к таким важным вечным темам, как искусство, дружба, коварство, предательство, смерть и любовь.

Главы из книги одного из известнейших современных немецких писателей ХАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА **“Большая смута”**. Книга посвящена событиям “бурных шестидесятых”, участником или скорее “включенным наблюдателем” которых Энценсбергер был: в Европе, Америке, на Острове свободы и в России.

Впервые по-русски — отрывок из культового романа ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА **“Финнегановы вспоминки”** — вавилонское столпотворение языков и смыслов на безбрежной территории джойсовской модернистской сатиры.

“Легко ли быть молодым?” — тематическая подборка стихов и рассказов современных писателей разных стран. Вопрос этот, как в одноименном документальном фильме 1986 года (режиссер Юрис Подниекс), рассказывающем о проблемах советской молодежи первых лет “перестройки”, — из категории “вечных” и повсеместных: он столь же актуален в Польше, Словении, Аргентине...

“Письма Жана Кокто к Жану Маре”. В письмах знаменитого писателя, поэта, драматурга, художника ЖАНА КОКТО к главному романтическому герою французского киноэкрана ЖАНУ МАРЕ, сыгравшему немало ролей в пьесах Кокто, читатель найдет не только личные, интимные мотивы, но и весьма любопытные суждения о проблемах мировой культуры и литературы XX века.

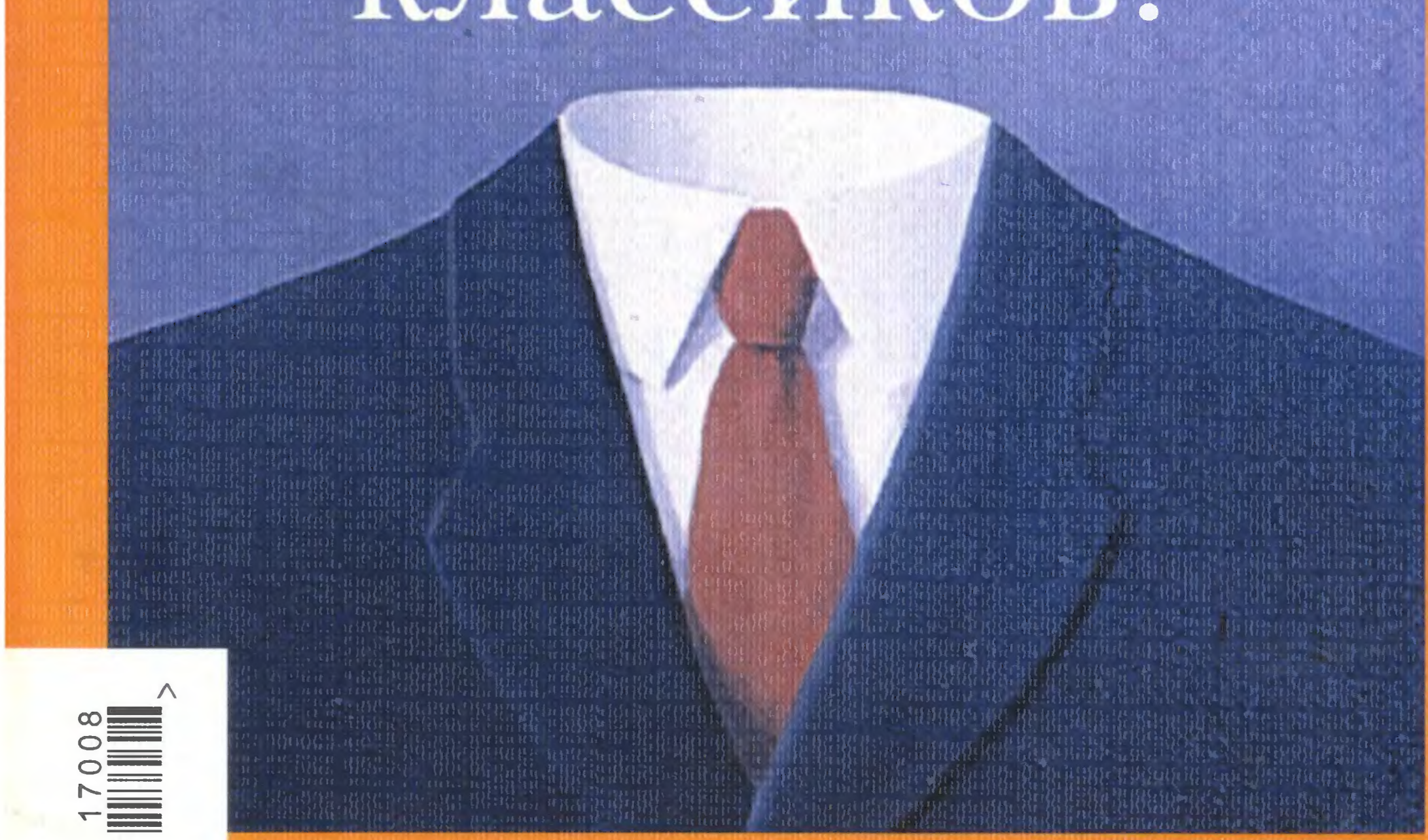
---

[9] 2017

РОМАН ЖАННЫ СЛОНЁВСКОЙ “ДОМ С ВИТРАЖОМ” / СТИХИ МИОДРАГА ПАВЛОВИЧА / ПЬЕСА БЕРТРАНА БЛИЕ “Я ИДУ ПО КОВРУ...” / “ТРИ ЭЛЕГИИ” ДЖОНА ДОННА В РУБРИКЕ “ПЕРЕПЕРЕВОД” / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: “И ВОТ СИЖУ Я МЕЖДУ ВСЕМИ СТУЛЬЯМИ. ДНЕВНИКИ 1945-1949” ВИКТОРА КЛЕМПЕРЕРА И ДР.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!



ISSN 0130-6545

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ИНДЕКС 70394

“ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2017, №8, 1–288

ISSN 0130-6545